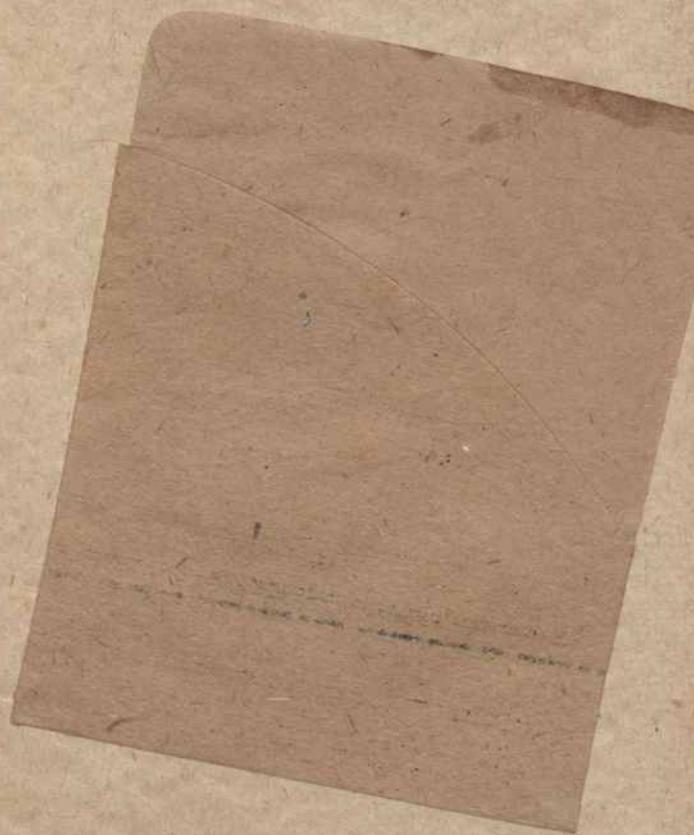


10к  
201794

М. Н. ПОВРОВСКИЙ

**ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ  
ВОЙНА**

---



137, 439

---

Проверено 1986 г.



М. Н. ПОКРОВСКИЙ

ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ  
ВОЙНА

М. Н. ПОКРОВСКИЙ



ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ  
ВОЙНА

И. М. ПОКРОВСКИЙ  
ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ  
ВОЙНА

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ  
ВОЙНА

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ

01794

137.439

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ - МАРКСИСТОВ

*В. Сигалин*  
1928

СОДЕРЖАНИЕ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

# ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ ВОЙНА

СБОРНИК СТАТЕЙ  
1915—1927

Проверено 1936

12715



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
АКАДЕМИИ  
1928

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ЕКАТЕРИ

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ПУБЛИЦИСТИКЕ  
МОНЕСТРАЛЬ-МАРИТИМЕ

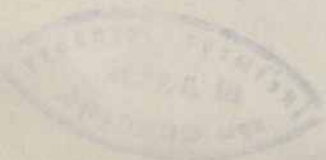
М. И. ПОРОВОСКИИ

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В О И Н А

ОБОЗРЕНИЕ СТАТИИ

1818—1927  
КАКОВАТО  
ИЗДАНИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ

Тип. «Эмес». Москва, Покровка, 9.



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие . . . . .	7
<b>Статьи 1915 года</b>	
К выступлению Турции . . . . .	19
Исторические задачи . . . . .	25
Лейб-гвардия Романовых . . . . .	32
Винновники войны . . . . .	36
<b>Статьи 1917 — 1919 годов</b>	
Демократический мир . . . . .	77
Новая речь Вильсона . . . . .	80
К вопросу о виновниках войны . . . . .	84
Три совещания . . . . .	101
Кто такой Пуанкаре . . . . .	110
<b>Статьи к юбилею 1914 года</b>	
Как возникла мировая война . . . . .	119
Как русский империализм готовился к войне . . . . .	148
Как готовилась война . . . . .	162
Царская Россия и война зимою 1914-15 гг. . . . .	169
Предисловие к сборнику Центрального Архива «Царская Россия в мировой войне» . . . . .	212
Предисловие к «Солдатским письмам» . . . . .	233
Предисловие к сборнику «Октябрь за рубежом» . . . . .	240
Памяти Куртинского расстрела . . . . .	244
Антанта . . . . .	250
<b>За последние годы</b>	
Выход России из войны . . . . .	263
Историческое значение Октябрьской революции . . . . .	284
Опубликование тайных договоров . . . . .	290



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Империалистская война у нас в СССР забыта больше, чем где бы то ни было, не только больше, чем в самом материальным образом несущей еще ее тяготы Германии, — но больше даже, чем в Соединенных Штатах, которых война коснулась раз в десять легче, чем старой России. Две революции, Февральская и Октябрьская, и гражданская война закрыли в памяти современников то, что было раньше, ибо все, более раннее, отрезано от последующего у нас так четко, как нигде в другом месте. Десятилетие 1914 года прошло у нас гораздо тусклее, чем другие юбилеи, потому что этот юбилей казался нам более «историческим». А история, как таковая, не в почете в наши дни, как никогда не бывает она в почете на фоне победоносной революции. Старое сожжено дотла: стоит ли вспоминать, из чего была сделана сгоревшая постройка?

Если бы мировой империализм выгорел так же чисто, как сгорел империализм русский, война 1914 года стояла бы на одном уровне с наполеоновскими войнами, которые нужны только учебнику, да и то лишь «в самом сжатом очерке». Но империализм всюду, кроме нашей страны, стоит еще на ногах, хотя и пошатываясь, и вот в чем первая причина, что империалистская война к западу от границы Союза все еще не далекое прошлое, а вчерашний день. А события последнего лета показали, что вчерашний день очень легко может опять стать сегодняшним. Сравнения нынешней обстановки с 1914 годом слышатся отовсюду — вплоть до речей политических деятелей, двумя великими океанами отделенных от коммунизма. И иногда приходится даже слышать, что положение острее, чем было в 1914 году. Новая империалистская война надвигается с такой быстротой, что ссылки на нее встречаешь не только в газетных статьях и парламентских речах, а в торжественных резолюциях чрезвычайного «деловых» собраний, как недавний всеиндийский конгресс. Собственно у нас говорят о ней меньше, чем в других местах — как и об ее покойной предшественнице. СССР меньше поддается предвоенной панике, чем, например, Голландская Индия, где уже с год назад центральные учре-

ждения начали переносить вглубь страны, подальше от морского берега, который вот-вот станет фронтом.

Но, не поддаваясь панике, готовиться все же нужно, и тут нельзя не вспомнить, что приемы империалистских зажигателей войн остались прежние и что механика их подготовительных действий в 1914 году, и ранее, может служить для нас весьма полезным «предметным уроком». Военное хозяйство, например, лучше всего изучать именно на примерах 1914—18 годов. Но нужно сказать, что материальная сторона войны стареет быстрее, чем ее политическая сторона. Между русско-японской войной и мировой войной прошло всего 10 лет, но ни газов, ни танков, ни авиации война в Манчжурии не давала предвидеть; и даже соотношение пехоты и артиллерии под Мукденом не предсказывало еще артиллерийской фаланги Макензена и галицийских боев весны 1915 года. Расчеты снабжения русской артиллерии снарядами строились именно на манчжурском примере, и он оказался совершенно не характерным.

Гораздо устойчивее работа дипломатии. Теперь совершенно ясно, что политическая подготовка 1914 года началась еще до японской войны, и что последняя, в известном смысле, была одной из аванпостных стычек империалистской. Две трети той комбинации держав, которая стала против Германии и Австрии в 1914—18 годах, была уже готова к 1904 году: Соединенные Штаты, Англия и Япония представляли уже единый фронт, Франция готовилась к нему примкнуть. Колеблющимся было только положение России, и как раз поражение на Дальнем Востоке разрешило эти колебания в определенном направлении. После англо-русского соглашения 1907 года антигерманская коалиция вполне готова, ее будущие военные вожди до мелочей разрабатывают план будущей кампании (как известно, нарушение бельгийского нейтралитета Германией было предусмотрено англо-французской военной конвенцией еще ранее 1912 года), и дипломатам оставалось только выбрать «удобный момент». Последние же дни перед катастрофой представляют собою в России, например, такую трогательную картину теснейшей кооперации министерств военного и иностранных дел, что в эти дни это было в сущности одно ведомство, с одним коллегиальным центром, состоявшим из Сазонова, Сухомлинова и начальника штаба Янушкевича. Чисто военный акт, всеобщая русская мобилизация 30 июля 1914 года, «развязавшая» войну, был, как известно, главным образом делом рук Сазонова, моральную же подготовку «общественного мнения» к войне взял на себя военный министр Сухомлинов.

Эта моральная подготовка сейчас, именно благодаря «предметному уроку» 1914 года, очень затруднена. Теперь

трудно встретить в Германии, Франции или Америке грамотного человека, который не знал бы, какая масса лжи была пущена в ход перед этим годом, и особенно перед самой войной, чтобы «мобилизовать сознания» раньше, чем будут мобилизованы тела. Истинная подкладка совершившегося или готовившегося совершиться скрывалась на правах важнейшего военного секрета, от нее всячески отводились глаза, и успех на этом поприще, нужно сказать, был очень большой—больше, чем потом на полях сражений. В 1914 году почти никто не знал—профессионалы войны и дипломаты не в счет, разумеется — истинных мотивов и истинного соотношения сил обеих, готовых схватиться коалиций. Кое-чего, истинной роли «несчастной Сербии», например, не знали даже и многие профессионалы—иначе Австрия сумела бы выдвинуть более солидную аргументацию, чем та, которой она оперировала летом 1914 года. Все это стало известно довольно много лет спустя, стало известно в тот период, когда у нас империалистской войной перестали интересоваться. Вот почему у нас до сего дня возможно появление таких книг, как «Европа в эпоху империализма» академика Е. В. Тарле, где можно прочесть, что «никто и никем не было доказано, что в заговоре (против австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда) принимали прямое участие сербской власти». Подчеркнутое мною слово «прямое» показывает, что академику Тарле прекрасно известна огромная теперь литература по этому вопросу и что он великолепно знает, что не прямое, т. е. неофициальное участие в заговоре ответственных сербских деятелей ни в ком ныне не вызывает сомнения. Но, конечно, приказа за подписью Пашича: «убить Франца Фердинанда», ни в каких архивах найти нельзя. И этого академику Тарле достаточно, чтобы повторять русскому читателю в 1927 году официальную версию Сазонова (недавно еще раз воспроизведенную последним в его предсмертной статье). А на случай, если среди читателей окажутся люди грамотные, «объективно» и оговорено: «прямого участия доказать нельзя». А что Пашич и его министры знали, что Франца Фердинанда убьют, и знали, кто убьет и когда убьет,—это же не «прямое».

Сербский инцидент, при всей своей кажущейся анекдотичности, имеет колоссальное значение, как пробный камень. Кто верит в райскую невинность сербского правительства 1914 года, тот логически обязан верить в таковую же райскую невинность русского, французского и т. д. правительств, а тогда не остается другого выхода, как признать правильной «ритуальную легенду»: «Германия напала». Академик Тарле и идет по этому, единственно возможному для него, пути. «Вся обстановка сложилась так»,—пишет

он,—«что соблазн поскорее начать (losschlagen) должен был неминуемо охватить в 1913 году (в конце его) или в 1914 году именно Германию и Австрию, а не Антанту. Так сложилась дипломатическая обстановка. Если бы мир продержался, например, до 1916 или 1917 года, то есть все данные думать, что не Германия, а Антанта сочла бы для себя более целесообразным выступить первой. Мораль и человеколюбие дипломатов и правителей обеих враждебных политических комбинаций стояли на одинаковом уровне. Но то обстоятельство, что так случилось, что выступила именно Германия, повлекло за собой для Антанты, наряду с некоторыми (особенно вначале) большими невыгодами, один бесспорный выигрыш: Антанта поспешила занять позицию защищающегося»<sup>1</sup>.

Видите, как «объективно»: просто, душа радуется... Академик Тарле забывает только упомянуть, что «бесспорный выигрыш» Антанты не свалился ей, за ее добродетели, с неба, а был куплен целым морем газетной лжи, подтасовок и подделок, по большей части (в том, что касается Франции и России,—на 100%) раскрытых и разоблаченных в послевоенные годы. К сожалению, ученый автор забывает и о кое-каких других вещах, неудобных для «ритуальной легенды»: об англо-русской морской конвенции, о поездке Пуанкаре, перед самою войной, в Петербург (о ней буквально сказано: «Пуанкаре делал в это время визит Николаю II. Прямо очаровательно!), об отчаянных попытках Вильгельма спасти мир в самые последние дни—попытках, поколебавших на секунду даже Николая II—и т. д., и т. д. Что эти умолчания, к сожалению, не суть продукт неосведомленности, доказывается самым изложением академика Тарле: через 2 страницы он вынужден признать, что у Пуанкаре и Николая II «разговор должен был коснуться также военных приготовлений обеих держав» (!). Словом, литературу предмета он, конечно, прекрасно знает, но читателю знать ее во всех подробностях не полагается. Иначе тот, пожалуй, может и усомниться в том, что «Германия напала».

Разрушать «ритуальную легенду», таким образом, не поздно даже и в СССР, даже и в 1928 году (книга академика Тарле вышла в 1927), не потому, чтобы у нас много было сторонников антантовского объяснения возникновения войны, а потому, что этим вопросом до последнего времени у нас ненормально мало интересовались. Книга академика Тарле тем и опасна, что она может оказаться единственным пособием только что заинтересовавшегося внешней политикой последних десятилетий читателя. Вот почему эта книга и заслуживает не такого беглого упоминания, какое

<sup>1</sup> Е. В. Тарле, цит. соч., стр. 239.

сделано сейчас, а подробного разбора, который, надо надеяться, в ближайшее время и будет дан одним из товарищей «западных историков» на страницах «Историка-Марксиста». Сейчас же это упоминание пришлось сделать, главным образом, для того, чтобы объяснить необходимость собрать и издать то, что есть в нашей марксистской литературе о войне и ее возникновении.

Работы пишущего эти строки занимают в этой литературе определенное место и, в некоторых случаях, являлись первыми и опытами на этом пути. Конечно, автор отнюдь не приписывает им значения последнего слова и даже вообще не считает их сколько-нибудь законченной исследовательской работой. Эту работу он все-таки надеется когда-нибудь проделать, хотя откладывание ее с году на год (она начата еще в 1918 году!) не обещает ей особенно хорошей судьбы. Но правдивую историю возникновения войны и связанной с нею дипломатической «работы» дают даже и эти беглые очерки. Кое-что из этих беглых очерков уже вошло все же в «железный инвентарь» литературы предмета. О том, что ближайшей причиной вступления России в войну было стремление завладеть Константинополем и Дарданеллами, не спорит даже и академик Тарле. Даже и он не решается утверждать, что Дарданеллы Николаю пообещали в награду за защиту «свободы и цивилизации» от германского варварства. Но когда появилась моя первая статья на эту тему (в парижском «Нашем Голосе» осенью 1914 года), это отнюдь не разумелось само собою. Русско-германская война рассматривалась, как факт самодовлеющий, ничем не связанный с традиционной политикой Романовых на Ближнем Востоке, и объяснялась или «стремлением германской промышленности завоевать русский рынок», или соперничеством русского и прусского помещика на хлебном рынке (отголосок последнего объяснения можно найти и в моей, первой, статье о «Винювниках войны», возникшей в апреле — мае 1915 г.) и т. п. Так что, когда я в 1918 году при помощи тов. В. В. Адоратского нашел в наших архивах протоколы «трех совещаний» о Константинополе и проливах 1913—14 годов (напечатаны в № 1 «Вестника Нар. Ком. Ин. Дел» за 1919 год; предисловие перепечатывается в настоящем сборнике), это была не случайная находка, а в известном смысле «открытие» — результат поисков с обдуманной целью в определенном направлении. Более случайным было не лишенное «сенсационности» открытие нами, мною и тов. Адоратским, первой пачки ныне всемирно знаменитых «писем Извольского» в случайно забытом среди бумаг «секретного архива министра иностранных дел» портфеле Сазонова. Это была, пожалуй, самая интересная пачка — личные, частных писем Извольского

Сазонову: она, главным образом, легла в основу как моего второго этюда о «виновниках войны» (весна 1919 года), так и характеристики Пуанкаре; обе статьи читатели найдут ниже.

Кое-что из вошедшего потом в общий оборот не стоило перепечатывать именно потому, что теперь это все знают — все, кто сколько-нибудь интересуется войной 1914 года. Так, на страницах «Нашего Голоса» и «Нашего Слова» я вел продолжительную полемику с покойным М. П. Павловичем о размерах германских вооруженных сил: тезис «Германия напала» логически вел за собою легенду о несметных полчищах, брошенных новым Аттилою на несчастные «цивилизованные народы», которые могли противопоставить этому нашествию лишь ничтожные кучки бойцов. Простая справка с довоенными статистическими сборниками разоблачала и здесь грубую передержку антантовских сводок. Ясно было, что количество германской армии должна была быть слабее своих противников. Теперь это давно общеизвестный факт (см., напр., «Военно-Исторический Сборник» за 1919 год, вып. 1-й: «Силы обеих коалиций»; как нарочно, по секретным данным французского штаба, официальные сводки которого и сбили с толку покойного Павловича!). На западном фронте, например, немцы имели к ноябрю 1916 г. 1.314 батальонов против 2.219 батальонов французов, англичан, бельгийцев и русских (последних было всего 12 батальонов, французы же одни были сильнее немцев, имея 1.397 батальонов), т.-е. были численно слабее противника более чем в полтора раза. Так что теперь всякий военный курсант знает, что папа-Жоффр втирал очки французской публике, распространяя росказни о четырехмиллионной (!) германской армии, навалившейся на несчастных французов. Но не только тов. Павлович, а и редакция «Нашего Слова» явно более доверяла папа-Жоффру, нежели своему дерзкому сотруднику, и печатала мои статьи с очевидной неохотой. Теперь эти чересчур длинные доказательства того, что дважды два есть четыре, а не стеариновая свечка, едва ли у кого найдется охота читать по совсем другой причине: никто же не спорит.

Чтобы покончить со статьями наших парижских изданий эпохи войны, остается прибавить, что из них взята первая версия «Константинополя», впоследствии широко разработанная в статье журнала «Летописец» (1916 г.), перепечатанной в сборнике «Внешняя политика» (1919 г.). Я предпочел версию «Нашего Слова», поскольку она короче, по-моему ярче, не приспособлена к цензуре и не перепечатывалась ни разу у нас. Не приспособлена к русской цензуре, нужно прибавить, ибо военная цензура, и весьма свирепая, существовала, конечно, в те годы и в Париже.



Об этом сейчас же приходится вспомнить по поводу последней из статей, взятых из «Нашего Слова»: «Лейб-гвардия Романовых». Составляя ответ на статью какого-то русского академика или профессора, поносившего германскую науку, как «лейб-гвардию Гогенцоллернов», статья хотя она никаких военных секретов не разоблачала, подверглась почему-то сильному искалечению со стороны французского цензора. Этого последнего иногда «схватывало», под влиянием нажима из русского посольства, должно быть, и он начинал вычеркивать даже то, что, пожалуй, пропустила бы и петербургская цензура. Об этой искалеченности статьи приходится предупредить читателя, поскольку в одном месте оказалась нарушенной, благодаря цензорским правкам, логическая связь. Восстановить подлинный текст я не могу так как рукописи у меня не сохранилось.

Три большие статьи на одну, в сущности, тему: две версии «Виновников» (1915 и 1919 годов) и «Как возникла война?», печатаются все вместе потому, что они ни в чем почти, кроме немногих отдельных фактов и цитат, не повторяют друг друга. Первая («Виновники» 1915 года) пытается дать общий социологический фон картины; устарев кое в чем, в основном эта социология войны, как одного из симптомов загнивания капитализма и одного из средств оттянуть рабочую революцию, остается, по моему, верной и доселе. Написана эта статья, когда я не имел понятия о том, что по этому предмету хранят в себе наши архивы, но зато имел под руками богатую памфлетную предвоенную литературу: борьба различных направлений внутри этой последней гораздо лучше помогала выяснить истину, чем это можно было сделать на основании окрашенной под один колер литературы эпохи войны. «Виновники» 1919 года, напротив, написаны исключительно по архивным материалам, тогда, по большей части, почти еще никому неизвестным, и содержат в себе характеристику дипломатической подготовки войны. Наконец, «юбилейный» очерк: «Как возникла мировая война?», основываясь частью на архивных документах, но к тому времени, 1924 году, в большинстве уже опубликованных, частью на ранее собранном печатном материале, останавливается на вопросах, мало затронутых в предыдущих очерках: на экономической предистории войны и на анализе дипломатических комбинаций «роковой недели», 24—31 июля 1914 года; этих комбинаций в «Виновниках» 1919 года я почти не касался. В целом все три статьи дают довольно полную и в основном не устаревшую картину возникновения империалистской войны. Более мелкие статьи даются как приложение, поскольку они освещают более детально ту или другую сторону вопроса. Тут есть уже и повторения, но, по-

сколько статьи печатались вначале самостоятельно и предназначались для читателей разных изданий, обойтись без повторения некоторых общих мотивов было невозможно.

Из остальных помещенных в сборнике статей более крупными являются, связанные по теме между собою, статьи о подготовке договора о проливах (в марте 1915 года) и предисловие к изданному Центрархивом сборнику «балканских» документов. Это уже не «дипломатическая пред'история» 1914 года, а дипломатическая история самой войны. Для нас в настоящий момент, едва ли нужно говорить, эта «военная» дипломатия важнее «предвоенной»: узлы современного положения завязывались как раз в это время, узлы, завязавшиеся ранее, были разорваны войной. В то же время ни американская, ни западно-европейская литература, знаменательным образом, не останавливаются на «военной» дипломатии — даже документы, относящиеся сюда, ни одно из участвовавших в войне государств еще не опубликовало. Нам и в этом, как в опубликовании предвоенных документов, придется быть пионерами: недаром готовящегося совместно Коммунистической Академией, Наркоминделом и Центрархивом издания дипломатической переписки эпохи войны ждут за границей с таким нетерпением, как показывают приходящие оттуда письма.

Наконец, четвертую и последнюю часть сборника составляют статьи, посвященные окончанию войны. Они основаны не на архивных документах, за исключением некоторых отдельных цитат. Это — отчасти воспоминания, отчасти попытки анализа данных, давно опубликованных, но не делавшихся еще предметом исторического исследования. Беря вопрос совсем в другой плоскости, эти статьи могут показаться не имеющими прямой связи с остальным содержанием сборника. По сути дела они представляют с этим содержанием одно целое. Центральный вопрос самой большой из них («Выход России из войны»): из какой войны Россия выходила? Обоснование ответа на этот вопрос читатель находит именно в первой части сборника. Автор склонен отвечать на этот вопрос теперь, может быть, с большими оговорками, чем он это сделал бы, когда писал «юбилейную» статью 1924 года. Но эти оговорки начинаются на той углубленной стадии работы, которая сама только начинается. Та общая постановка, какая дана в первых статьях сборника, в оговорках еще не нуждается.

Война была гнило-капиталистической, грабительской, «нападательной» со стороны Антанты вообще и России в частности (что несколько, разумеется, не устраняет того факта, что при и н о й обстановке напала бы и Германия), ни в какой степени не была «обороной отечества» и «защитой свободы», не упраздняла, а укрепляла милитаризм — все

это остается на своем месте, как бы ни понимали мы термин «империализм», по Гильфердингу или по Ленину, признавали ли бы мы наличность самостоятельного «русского», «национального» империализма, или считали Россию просто вассалом Антанты. Анализ империализма, как системы, господствовавшей в Европе—и Америке—в 1914 году, есть колоссальной важности дело: но конкретно-исторический анализ в этом вопросе только начинается. Когда он продвинется достаточно далеко, у нас будет новая, несравненно более глубокая, философия войны 1914 года; но картина войны, как с чисто-военной, так и с политической стороны, едва ли изменится. В той стадии, которую, главным образом, охватывают издаваемые теперь работы, автору было еще не до того, чтобы объяснять: прежде всего нужно было показать, что же, собственно, было? Ответ на этот вопрос, конечно, отнюдь не ставит точки ни в работе над этой темой вообще, ни в работе автора печатаемых статей в частности. Но для широких кругов изучающих надо начинать именно с этого ответа — начинать даже в СССР и даже в 1928 году. Ибо знание того, что, собственно, было, отнюдь нельзя у нас считать вещью, само собою разумеющейся.

*М. П.*

22 января 1928 г.



## К ВЫПУСКАЮЩЕЙ ТУТЦИ

# СТАТЬИ 1915 ГОДА





## К ВЫСТУПЛЕНИЮ ТУРЦИИ

Число «воюющих сторон» увеличилось еще одной: Турция начала военные действия против России.

Что может значить этот новый факт, прежде всего, с чисто военной точки зрения? Какую поддержку Турция может оказать Вильгельму II?

Турецкая армия считает в своем составе 43 дивизии действующих («низам») и 57 резервных («редиф»). Есть, кроме того, и ополчение («мустахфиз»), но оно почти не организовано — ополченцы служат, главным образом, для пополнения убыли в действующей армии. Дивизии «низама» имеют по 10 батальонов каждая, «редифа» — разное число, но обыкновенно 9 батальонов. Итого у Турции, на бумаге, 430+513, всего 943 батальона. С кавалерией (40 полков «низама по 5 эскадронов и 24 полка иррегулярной конницы) и другими частями — около миллиона штыков и сабель номинально.

Качественно турецкие войска должны быть поставлены довольно высоко — безусловно выше австрийской армии, например. Несчастная для турок последняя война, когда Турция была захвачена врасплох вдвое более сильным противником, в сущности, не поколебала ее военной репутации. Когда турки собрались с силами, болгарская армия — лучшая из балканских — так и не могла взять Чаталджи. Ахиллесову пяту турок всегда составляло высшее стратегическое руководство — но сейчас оно всецело в руках германских офицеров. Ружья турецкой пехоты — германские, правда, немного более старого образца, чем у самих немцев, но не старше русской трехлинейки. Впрочем, ружье в современной войне все более и более отступает на второй план и начинает играть почти ту подсобную роль, какую оно играло сто лет назад в наполеоновских войнах. Судьба боев решается, как и тогда, артиллерией. А с этой стороны — «не бывать бы счастью, да несчастье помогло»: в последнюю войну турки потеряли почти всю свою крупноповскую полевую артиллерию устаревшего образца и должны были, волей-неволей, обзавестись французскими пушками Шнейдера-Крезю новейшего типа. Другими слова-

ми, турецкая легкая полевая пушка—такая же, как и русская. Исторически турки имеют репутацию превосходных артиллеристов: в 1877 г. русские офицеры не могли надивиться меткости турецкого огня. Если в 1912—1913 гг. их артиллерия была подавлена, то это, помимо устарелости пушек, объясняется еще тем, что у них снарядов было мало, и на пять выстрелов приходилось отвечать одним.

Повидимому, Турция — серьезная военная поддержка Германии. Но... тут начинается целый ряд «но». Во-первых, турецкий «редиф» в мирное время существует в «кадровом» составе: т.-е. на каждый батальон имеется по несколько офицеров, унтер-офицеров и солдат. Но как раз нынешняя война показала, до чего трудно разворачивать кадренные части в боевой состав даже большому европейскому государству, с относительно превосходно налаженной военной организацией. В Турции, с ее почти абсолютным бездорожием и средневековой администрацией, эту задачу, в широких размерах, можно считать прямо неразрешимой. Редифные батальоны просто пойдут на пополнение убыли в действующих войсках и сыграют роль нашего «запаса». Как с настоящей боевой силой, годной для наступательных действий, приходится считаться только с действующей армией. При 430 батальонах пехоты она может дать всего до 500 тыс. штыков и сабель. Из них не менее половины (вероятно, более) придется оставить в Европе. Во-первых, крайне мало вероятно, чтобы Греция не воспользовалась настоящим, архи-благоприятным, моментом для окончательного объединения эллинской нации, остановленного Бухарестским миром на полдороге: Греция на море теперь, после покупки американских броненосцев, гораздо сильнее турок, даже с «Гебеном». Значит, от нее серьезно придется оберегать Дарданеллы и берега Малой Азии. А затем, в силу превосходства и русского черноморского флота над турецким (см. об этом ниже), придется не менее бдительно стеречь и Босфор, оставив в окрестностях Константинополя целую армию. Итак, если у турок найдется 250 тыс. для операций на сухопутной малоазиатской границе, это будет много. Но и этим 250 тысячам в данную пору года делать нечего.

Сухопутная граница России и Турции в Малой Азии проходит по Армянскому нагорью. Это — самая высокая часть западной Азии, ряд горных плато до 2.000 метров высоты над уровнем моря. Несмотря на южное положение (параллель Неаполя и Мадрида), климат там поэтому чрезвычайно суровый. Зима продолжается 5 месяцев и отличается обилием снега: снежный покров достигает 2 метров толщины. Никакие военные действия крупного стиля с ноября по апрель здесь немыслимы. Единственная



полоса, где турецкая армия могла бы действовать теперь, это — черноморское побережье, от Батума до Новороссийска. Вторжение сюда турок могло бы иметь серьезные последствия. Наступая по линии Батум—Тифлис, они заставили бы русских очистить северную Персию, — что нанесло бы, конечно, огромный удар русскому престижу в тех краях. Высадившись около Новороссийска, они могли бы достигнуть большего — поставить под вопрос сношения России с Кавказом. Но для того, чтобы все эти страшные вещи реализовать, необходимо одно условие: необходимо, чтобы турки были хозяевами на Черном море. Это приводит нас к вопросу о соотношении сил русского и турецкого флотов в тех краях.

Русский черноморский флот имеет 6 броненосцев (не считая судов береговой обороны); из них 3 совсем старых и 3 относительно свежей конструкции, но не дредноутов: русские черноморские дредноуты только еще строятся и будут готовы не ранее конца 1915 г. Кроме того, имеются 2 средних размеров бронепалубных крейсера и, конечно, соответствующее количество миноносцев, контр-миноносцев и т. д. Есть и подводные лодки, которые, впрочем, есть и у турок. Последние, если брать их «национальный» флот, располагают 3 старыми броненосцами (одного возраста с русскими старшей категории)<sup>1</sup> и 2 бронепалубными крейсерами, мельче русских и слабее их вооружением. Совершенно ясно, что при столкновении русского и турецкого «национального» флотов, кроме истребления последнего, ничего не могло бы получиться. Но в распоряжении турок теперь есть два германских корабля — пресловутые «Гебен» и «Бреслау». Насколько это меняет дело? «Гебен» и «Бреслау», сами по себе, превосходные судна. В качестве крейсеров они сумеют, конечно, чрезвычайно много навредить русской черноморской торговле, если не парализовать ее окончательно. Но сумеют ли они помочь туркам истребить русский флот? Это крайне сомнительно. «Гебен» сильнее каждого из более новых русских броненосцев в отдельности, но слабее всех трех, вместе взятых. Для того, чтобы справиться с ними, ему придется воззвать к помощи своих истинно-турецких товарищей. Но тогда он, во-первых, должен будет отказаться от главного своего преимущества — быстроты хода: истинно-турецкие броненосцы (два из них в XIX столетии были, впрочем, земляками «Гебена») ползают весьма медленно. А это последнее обстоятельство позволит, во-вторых, и русским ввести в бой свои корабли старшей кате-

<sup>1</sup> Турецкие дредноуты, уже построенные, как известно, секвестрованы Англией.

гории—и перевес перейдет на русскую сторону. Что касается «Бреслау», то это один из тех маленьких крейсеров, которых немцами построено более 20 штук со специальной целью ловить в море английских «купцов»: эту функцию, как известно, с успехом и выполняет теперь в Индийском океане один из них — «Эмден». При столкновении же даже с русскими черноморскими крейсерами «Бреслау» останется только использовать главное свое качество — быстроту хода.

Итак, если русские адмиралы не наделают сверх'естественных ошибок, перевес русского флота над турецким можно считать вполне обеспеченным. А так как зимою удар может быть нанесен русским кавказским владениям только с моря, то военная помощь Турции немцам теперь сведется почти к нулю. Ранее апреля турки не смогут предпринять ничего серьезного. К апрелю же Германия, конечно, давно вынуждена будет заключить мир, если она не найдет из своего положения какого-нибудь никем не ожидаемого выхода. Все это немецкий штаб сознает, конечно, не хуже всякого другого. Военные услуги, которые Турция может оказать Германии, ничтожны. Для чего же Германия все-таки тянет Турцию в эту авантюру? Потому, что самый факт русско-турецкой войны имеет колоссальное политическое значение.

Мы не скажем ничего нового ни для кого из читателей «Голоса», если напомним им, что мусульманский мир давно переживает революционное брожение исключительной силы. Брожение это принимает иногда революционный характер, но по существу это национальное движение, стремление к образованию национальных государств, стадия, давно пройденная Зап. Европой и только теперь наступившая для мусульманского Востока и для Китая. Но и мусульманам, и Китаю приходится складываться в нации на глазах у сильных и хищных соседей, которым этот процесс не может нравиться, которые всячески стремятся его задержать, парализовать, если возможно. Национальное возрождение Персии наткнулось на русские штыки, турецкий национализм был подавлен руками балканских народов, которые сами проходят ту же стадию развития, но опередили в ней турок. И многие еще помнят, вероятно, как конгрессу египетских националистов не удалось собраться в Париже... Германия постоянно старалась отделить себя, перед глазами мусульман, от других европейских государств в этом вопросе. И вот теперь, кажется ей, она нашла случай ухватиться за длинный конец того рычага, который повернет весь мусульманский мир. За Турцией выступит Персия, за Персией—Египет, за Египтом—Марокко... Угрожаемая в своих жизненных центрах, Англия вынуждена будет бросить немцев: не надобно забывать, что английский король—вели-

чайший мусульманский государь земного шара и что у него больше подданных мусульман, чем у турецкого султана.

Так рассуждают немцы, и отношение Франции и Англии к турецкому выступлению показывает, что было бы неосторожно обвинять немцев в «беспочвенных мечтаниях». Турки бомбардировали русские порты, пустили ко дну русскую канонерку, а у них спрашивают... об'яснений. Казалось бы, уж чего яснее? Но и Франция, и Англия цепляются за последнюю надежду, тень тени надежды—избежать войны, в военном отношении столь ничтожной, как мы сейчас видели. Очевидно, и они берут вопрос с его политической стороны: и они прекрасно понимают, началом какого пожара может быть русско-турецкая война, если дать ей вспыхнуть.

Но, может быть, бояться не только этого. С выступлением Турции совпал факт, географически чрезвычайно далекий от «восточного вопроса». В газетах промелькнуло известие, что Россия формирует польские легионы под командой офицеров-поляков. Это известие должно было заставить вздрогнуть всякого, кто знает новейшую историю Польши. Если это верно (приходится подчеркивать это «если»—мы живем в такой густой атмосфере лжи), то обещание Николая II восстановить Польшу—не пустой звук. Возрождение польской народности после разделов всегда начиналось с польской армии. Польские легионы на французской службе были зародышем свободной Польши времен Наполеона I, и поляки-гарибальдийцы были инициаторами попытки нового освобождения, неудачной, в 1863 г. Итак, если известие верно, то, значит, двуглавый орел решился, наконец, выпустить из когтей добычу, которую он терзал сто лет. Но нужно быть совершенным невеждой в орнитологии, чтобы думать, что хищные птицы могут руководиться в своих действиях возвышенными мотивами. Если решено «отпустить на волю Польшу» (выражение незабвенного прадеда, Николая I), значит, найден ей эквивалент. Что может быть этим эквивалентом? Восточная Галиция? Хороша мена—отдать 8 миллионов подданных и центр польской культуры, Варшаву, чтобы получить 3½ миллиона и подцентр, Львов.

Это все равно, что менять Киев на Полтаву или Одессу на Таганрог. А вот обменять Варшаву на Царьград, это другое дело.

Не нужно забывать, что восточный вопрос дает фон всей ужасающей бойне 1914 года. Не будь балканской войны, не было бы и теперешней. Воображать, что все дело в таких-то торговых договорах, это значит смотреть на вопрос с узко-немецкой точки зрения—позиция, поистине комическая, если вспомнить, что дело идет о людях, которые

тщатся засвидетельствовать свой русский патриотизм. Ведь существующий русско-немецкий договор невыгоден прежде всего для немцев, которые из-за него переплачивают России 500 млн. марок ежегодно (таков, по минимальному расчету, баланс русско-немецкой торговли в пользу России). В России же жаловаться на его разорительность может только кучка фабрикантов, находящихся, что 20-процентный барыш—пустяковый, из-за которого не стоит рук марать. Вот рублик на рублик—другое дело. Эти фабриканты имеют достаточно денег, чтобы издавать газеты и нанять нескольких профессоров для «научного обоснования» своих аппетитов, но они недостаточно влиятельны, чтобы втянуть Россию в войну. Если Россия первая начала вооружаться и тем вызвала сначала контрвооружение Германии, а потом войну, то потому, что перед ее правителями снова мелькнул мираж, периодически соблазняющий каждое поколение «Романовых», начиная с Екатерины II.

• Константинополь и проливы все время были на линии русского наступления, представляя собою ее конечный пункт. Но то, что вчера было только политической возможностью, сегодня становится стратегической необходимостью. История всех турецких войн показывает, что нанести удар Турции можно, только угрожая непосредственно Константинополю. Никакие победы и одоления русского флота на волнах Черного моря, никакие подвиги русского воинства в борьбе с армянскими снегами и курдскими партизанами не заставят турок сдаться: этой цели может достигнуть только русская армия на берегах Босфора. Судьба толкает Николая в Св. Софию.

• Не будем распространяться о том, что русский царизм в восточном вопросе верою и правдою, хотя и бессознательно, служит русскому капитализму: стать твердой ногой на Ближнем Востоке последний сможет не раньше, чем получит свободный выход в Средиземное море. Но поперек этого выхода Россия все время встречала Англию. Многие думают, что теперь это изменилось, что теперь англичане охотнее согласятся терпеть в Константинополе русских, чем немцев. Что немцы в Царьграде для Англии менее приятны, чем русские, спору нет, но еще охотнее англичане сядут там сами. И обстоятельства складываются так, что эта операция и для англичан становится стратегической необходимостью: турки уже угрожают Суэцкому каналу теперь, а дожидаться, пока русская армия появится на Босфоре... Вполне возможно, что солдаты в зеленой «защитной форме», подойдя к Св. Софии, встретят у паперти—солдат в хаки. Но как же столетняя мечта потомков Екатерины II?

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В настоящее время едва ли нужно доказывать читателю, что война между Россией, с одной стороны, Германией и Австрией, с другой, ведется из-за турецкого наследства. Вначале, до выступления Турции, эта простая истина была закутана, отчасти сознательно, отчасти по неразумию, всякого рода высоко-патриотическими (а иногда и высоко-марксистскими) соображениями. Теперь она сбрасывает с себя один покров за другим, возвращаясь к естественному состоянию всякой истины—полной наготы. Эта последняя принимает иногда даже чересчур обывательский характер, напоминая не столько об античной статуе, сколько о русской бане: какой-то добрый профессор мечтает уже, каких превосходных дач можно настроить между Батумом и Трапезундом... Да, конечно, строить рано, да и не сезон: кто в декабре думает о даче? Но разобратся в «исторических задачах России на Черном море»—самое время. Широкая задача, без различия оттенков, принимает «задачи» en bloc: как же не иметь ключей от собственного дома! Пролиты необходимы России—без этого невозможно развитие русского капитализма. А как же удержать пролиты, не владея Константинополем? А при Константинополе необходим и некоторый Hinterland, говоря на языке врагов свободы и цивилизации. Дело ясно: Дарданеллы, Босфор, Царьград, Малая Азия, вся или отчасти, должны быть русскими.

Такое суммарное представление, подобно кучам «кухонных остатков», столь много послуживших доисторической археологии, соединяет в одно целое напластования весьма различных эпох. При чем, как и в кухонных остатках, в нижнем ярусе мы можем найти предмет, случайно провалившийся из самого верхнего. С первого взгляда может показаться, что наиболее архаической из всех возможных мотивировок завоевания Царьграда является религиозная: водружение креста на Св. Софии. Это, казалось бы, самая древняя из «задач», завещанная современной России еще московской Русью. На самом деле, если мы возьмем русско-турецкие отношения московской эпохи, как они

действительно происходили, мы не найдем почти никаких следов этой «задачи». Несмотря на постоянные подталкивания в этом направлении с Запада (со стороны римского папы и германского императора—тогда главы еще «Священной римской империи»), проект завоевания Царьграда сколько-нибудь серьезно ставился, за всю эту эпоху, только один раз: когда на московском престоле сидел «еретик и растрига», ученик ариан и иезуитов, Димитрий<sup>1</sup>. Истинно-православные московские государи были на это ухо глухи. Причины не приходится долго искать. Это—с нашей, современной, точки зрения. Константинополь пал 30 мая 1453 года: в глазах благочестивых москвичей он пал 14 годами раньше, когда константинопольская церковь признала над собою главенство папы (т. наз. Флорентийская Уния 1439 года). Материальная гибель византийской империи была лишь логическим последствием ее морального падения. С 1439 года центром вселенского православия стал «Третий Рим»—Москва. От «третьего» Рима возвращаться назад ко «второму» было бы приблизительно то же, что искать прошлогоднего снега. Правда, в Константинополе продолжал жить православный патриарх, в пределах турецкой империи оставлен духовный центр православия, Афон с его монастырями, но греческая иерархия отлично уживалась с турецким «игом» (афонские монастыри признали верховенство султана даже раньше падения Константинополя). Приезжая в Москву за милостью, патриарх и афонские старцы могли видеть на практике московский режим, и это едва ли внушало им особое желание стать непосредственными подданными своего северного покровителя. На словах они непрочь были потосковать о православном государе, на деле они вплоть до XIX столетия оставались лояльными верноподданными падишаха. Недавняя судьба афонских монахов свидетельствует о несомненной прозорливости их предшественников.

Чем дальше уходили русские государи от православия, тем большее место в их политике занимал Царьград. Сына патриарха Филарета, благочестивейшего Михаила Федоровича, донские казаки никак не могли втянуть в войну с турками, сколько ни старались. Его внук, Петр I, сделавший из православной литургии «маскарадное действие» и одевавший своего главного шута православным патриархом, вел уже ряд войн с Турцией, не всегда удачных, но иногда весьма

<sup>1</sup> В учебниках называемый «Лжедмитрием I». Доказать подлинность его происхождения от Ивана IV, во всяком случае, легче, нежели подлинность происхождения Николая II от бояр Романовых. Последнее недоказуемо абсолютно, тогда как первое лишь относительно—в зависимости от того, какую цену мы будем придавать тому или другому историческому свидетельству.

решительных (Прутский поход 1711 г.). А при Екатерине II, переписывавшейся с Вольтером и субсидировавшей энциклопедистов, вопрос о водружении креста на Св. Софии стал совсем остро: возникает обширный план восстановления византийской империи с государем из дома Романовых (или Салтыковых—во всяком случае из потомства Екатерины II) во главе. Подкладку этой странной прогрессии—убывающего православия и возрастающего интереса к Св. Софии не приходится искать: она давно нащупана исторической литературой еще до-марксистского периода<sup>1</sup>. Начиная с царствования Петра, русская внешняя политика идет под знаменем торгового капитализма. Борьба за торговые пути становится в ее центре. Самому Петру пришлось главным образом бороться за северный путь—Балтийское море, но и при нем уже реставрация старого генуэзского пути, через Черное море,—пути, хорошо знакомого московским «гостям сурожанам» времен Дмитрия Донского,—намечалась достаточно явственно. Пока, однако, это был более далекий и кружной путь, с ним можно было подождать. Жгучесть вопросу придала колонизация южно-русских степей. Уже в самом начале этого процесса, в 1760 г., мы слышим жалобы южно-русских помещиков, что им некуда девать своей пшеницы, т. к. у России нет ни одного порта на Черном море. По существу, конечно, пшеницу экспортировать можно было и тогда, но на очень невыгодных условиях. Турки теперь представляют нам народом, экономически необычайно косным и пассивным. Не так было полтора столетия назад. Тогда Турция упорно держалась за монополию плавания по Черному морю; на нем мог развеяться только оттоманский флаг—и никакой другой. Турецкие судовладельцы не отказывались, конечно, возить и русские товары—их перевозкой они, главным образом, и жили,—но русскому торговому капиталу приходилось делиться барышами с турецким: посредничество обходилось так дорого, что торговля была, в конце концов, «невыгодна». Чтобы заставить турок отказаться от своей монополии, пришлось вести ряд войн. Уже первая, закончившаяся Кучук-Кайнарджийским миром (1774), пробила в турецкой монополии крупную брешь: на Черном море русский флаг получил равные права с турецким. Но оставался вопрос о свободе плавания в проливах, о доступе к русским теперь гаваням северного берега Черного моря иностранных судов и т. д. Турки отстаивали каждый шаг, толкуя в свою пользу

<sup>1</sup> См. особенно работу Ульяницкого «Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII в.». Если бы книга была напечатана около 1900 года, какой бы крик подняли «объективные» кадетские историки о «подтасовке», «грубой натяжке» и т. д. Но книга вышла в 1883 г.

каждую неясную фразу трактатов. Только Адрианопольский мир (1829 г.) окончательно разрешил в русскую пользу всю эту путаницу. Седьмой статьей адрианопольского трактата плавание из Средиземного моря в Черное и обратно было объявлено совершенно свободным для торговых судов всех держав, состоящих в мире с Турцией. Порта раз навсегда обязалась никогда проливов для торговли не закрывать, с ответственностью за убытки в случае нарушения этого обязательства.

«Историческая задача», которую теперь вольтижируют перед глазами несколько беззаботной по части истории публики, распространяясь о необходимости для русской торговли «свободного выхода» и т. д., в сущности, была уже вполне удовлетворительно разрешена в 1829 году. Читая адрианопольский трактат, не понимаешь, чего же еще людям нужно? Единственным возражением могло бы быть нарушение турками этого трактата. Но такие нарушения—за исключением случаев русско-турецких войн, начинавшихся в XIX в. всегда по инициативе России и никогда Турции,—бывали весьма редки, это во-первых; а во-вторых, и это зло отнюдь не было неисцелимым. Еще в конце прошлого столетия известный специалист по международному праву, московский профессор Комаровский (октябрист) и его ученик Жихарев выступили с проектом нейтрализации проливов—уподобления их, с точки зрения международного права, Суэцкому каналу. Они не должны были быть объектом блокады, ни в них, ни около них, на известном расстоянии, не должно было допускаться военных действий и так далее. Добиться этого было бы тем легче, что в свободе плавания по Босфору и Дарданеллам заинтересована отнюдь не одна Россия, и даже не больше всего она. Из числа тонн судов, вошедших в константинопольскую гавань в 1909—10 гг., 41,7 проц. носили английский флаг, 17,7 проц.—греческий, 9,2 проц.—австрийский и лишь 7 проц.—русский (итальянцы были заинтересованы немногим менее—на их долю пришлось 5,8 проц. всего тоннажа). Этой линией наименьшего сопротивления русская дипломатия, однако же, явно пренебрегала. С самого начала, когда турки еще и подумать не успели о нарушении адрианопольского договора (едва успели высохнуть его чернила), ею был поставлен совершенно другой, новый вопрос: о свободе прохода русских военных судов через Босфор и Дарданеллы.

В начале 30-х гг. против султана восстал его вассал, паша египетский (знаменитый Магомет-Али, египетский «Петр Великий»). Войска последнего разбили султанскую армию в Сирии и через Малую Азию двигались на Константинополь. Внезапно, с быстротой чисто театрального эффекта, на Босфоре появляется черноморский флот: «царь-



рыцарь», Николай Павлович, пришел выручать своего «друга», султана Махмуда. С флотом был, правда, не сам Николай, а только его генералы и адмиралы; но с ними был корпус русского войска, немедленно высадившийся на малоазиатском берегу пролива и занявший важнейшие стратегические пункты. Русские офицеры раз'езжали по Босфору и Дарданеллам, делали с'емки, намечали места для укреплений, магазинов и т. д. Турки, еще не опомнившиеся от адрианопольского разгрома, не смели возражать. Они кланялись, благодарили и лишь робко осмеливались намекать, что они не стоят всех этих милостей и забот, что с египетским мятежником султан и сам как-нибудь справится. Николай решил до конца облагодетельствовать не понимающих своей пользы людей. На Дунае начала сосредоточиваться русская армия, которая сухим путем должна была идти охранять Константинополь—по дороге приняв соответствующие охранительные меры по отношению к Шумле, Варне и др. турецким крепостям. В последней степени паники султан поспешил уступить египетскому паше то, чего тот даже и не требовал, только бы устранить всякий предлог для русского вмешательства. Положило конец ему, однако, лишь решительное выступление Англии и Франции (особенно энергично действовала последняя). Поняв, что из-за проливов ему придется воевать с англичанами и французами, и не чувствуя себя еще готовым к этому, Николай уступил. Русские войска ушли с Босфора, но перед от'ездом уполномоченный Николая (гр. Орлов) заставил султана подписать так наз. Ункиар-Искелесский договор (1833 г.). В явной части этого документа договаривающиеся стороны гарантировали друг другу неприкосновенность их территорий (при случае и Николай умел быть юмористом). Реальное значение имела секретная статья, которой султан обязывался, по требованию России, закрывать Дарданеллы для иностранных военных судов (читай французских и английских). Чтобы не было сомнения, что к русским военным кораблям это отнюдь не относится, решено было, что плававшая тогда в Архипелаге русская эскадра торжественно пройдет Дарданеллы и Босфор и вступит в Черное море. Коварство наших противников испортило торжество—русским кораблям пришлось совершить это путешествие весьма скромно, по-одиночке и как бы инкогнито.

Но и без эффектного финала политический смысл Ункиар-Искелесской авантюры совершенно ясен. Это была первая (и надолго единственная) попытка России выступить в качестве великой средиземноморской державы. Встретив на своем пути настоящие великие морские державы, она сконфузилась и отступила. На сухом пути ни Англия, ни даже Франция Николаю не были страшны, но у него еще

не было флота, способного подавить англо-французский. С другой стороны, англо-французское противодействие вызвал именно морской характер русской авантюры: русский флот в Архипелаге, базирующийся на Севастополь и Николаев, недоступные противнику, раз Дарданеллы и Босфор в русских руках, был бы хозяином восточной половины Средиземного моря. Эта идея крепко запечатлелась в памяти государственных людей Англии и Франции, и они успокоились не прежде, чем сама возможная база Средиземноморского русского флота была разрушена, не прежде, чем был взят Севастополь (1855 г.). Даже формальная отмена Унклар-Искелесского договора (в 1837 г.) не успокоила Англии. Не менее ясен и экономический смысл авантюры— он уже был, несколько подробнее, охарактеризован в русской литературе совсем недавно, так что сейчас мы можем ограничиться самым кратким напоминанием: царствование Николая I было первой весной русского мануфактурного капитализма. Стесненный на внутреннем рынке, благодаря крепостному праву туго развивавшемся, он искал рынков внешних и, казалось, находил их в малокультурных областях Западной Азии. «Нет сомнения, что при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга», рассуждал государственный совет Николая I в 1836 г. Европейец покупать русского товара, конечно, не станет, но азиата, пожалуй, можно соблазнить, особенно, если поставить пушки на Босфоре в удачном месте. В России экономической базой пирамиды был крепостной мужик: отчего, в pendant к нему, не иметь за границей крепостного покупателя «усовершенствованных» русских ситцев и миткалей? Крепостное хозяйство тогда отлично совместились бы с успехами русского промышленного капитала.

В цитированной статье «Просвещения»<sup>1</sup> более детально выяснено разительное, до мелочей, сходство ситуаций 1830-х годов, на другой день после разгрома декабристов, и 1910-х годов, на другой день после разгрома русской революции. Тогда дилемма стояла так: или отмена крепостного права, или завоевание новых рынков; теперь—или доведение до конца буржуазной революции, торжество буржуазных отношений в русской деревне, или «Великая Россия», битая внутри, но бьющая снаружи. Тогда, после Севастополя, восторжествовала первая половина дилеммы, теперь, говорят нам, будет как раз наоборот. Говорят, впрочем, также, что цыплят считают по осени, и что кто смеется в пятницу,

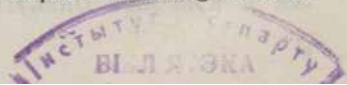
<sup>1</sup> «Просвещение» 1915 г., январь—«Русский империализм в прошлом и настоящем».

плачет в воскресенье. Но существенно не то, кто будет смеяться или плакать, важно не плакать или смеяться, а понимать. А для понимания новой «исторической задачи», датирующейся с 1833 г., у нас есть кое-какие данные и теперь. Политические завоевания прочны тогда только, когда они закрепляют экономическое преобладание, достигнутое или определенно наметившееся уже во время мира. В этом сходство завоеваний и революций: и те и другие дают юридическую форму содержанию, имеющемуся в наличности. Что имеет в наличности русский капитал,двигающийся на Турцию? До сих пор Россия ввозила туда, в крупных размерах, сахар (граф Бобринский) и керосин. Но ни русский сахар, благодаря монополии внутри страны продающийся за границей за грош, ни русский керосин, который в Турции всегда будет дешевле американского и лучше румынского, никаких соперников перед собою не имеют, не для них приходится завоевывать рынок. А вот как обстоит дело с теми товарами, которые, по мнению русского государственного совета, были достаточно «усовершенствованы» уже в 1836 г.?

Есть специальное американское исследование о продаже хлопчатобумажных товаров в Турции<sup>1</sup>. В имеющихся там статистических таблицах ввоза хлопчатобумажных товаров в Турцию вы найдете разные страны, от Англии, ввозящей ежегодно на 21 милл. долл., до Голландии, ввоз которой не превышает 321 тысяч долл. (второе место после Англии занимает Италия—3.146 тыс. долл., третье Австрия—2.645 тыс. д.). Вы не найдете России: она спряталась в куче «всех прочих» стран, вместе ввозящих менее, чем на 1 милл. долл. И только в специальной таблице ввоза пряжи вы отыщете и Россию, со скромною цифрою—3 тыс. долл. Так обстояли дела менее 10 лет тому назад (цифры относятся к 1906 г.). С тех пор русский ввоз вырос; но дожидаться, пока он, естественным путем, догонит Англию или хотя бы обгонит Италию, пришлось бы довольно долго. Но если глухой азиат не видит преимущества русского ситца перед английским или итальянским, его можно заставить покупать русский ситец, загнав его штыком в русскую таможенную черту. Только вот, как отнесутся к этому англичане и итальянцы? Это во-первых. А во-вторых, зачем же говорить о ключах от собственного дома, когда дело явно идет о взломе чужого сундука?

№ 95 и 96 «Голос». Париж, 1 января 1915 г.

<sup>1</sup> Clark. «Cotton textile Trade in Turkish empire». Washington. 1908.



## ЛЕЙБ - ГВАРДИЯ РОМАНОВЫХ

Лавры германских профессоров не дают спать профессорам российским. Отношения последних к первым всегда напоминали отношения не то «лично преданного ученика» к учителю, не то лакея к барину. Три четверти русских университетских курсов по юридическому и историко-филологическому факультету представляют собою простую компиляцию из немецких книжек. Три четверти русских университетских диссертаций состряпаны при помощи тех же книжек, при чем «ученый аппарат», цитаты и ссылки, заимствуются обыкновенно без всякой дальнейшей проверки. Чего немца проверять? Он аккуратный... Оттого открытие опечатки, коварно пробравшейся из немецкого источника в российский «оригинальный труд», составляет классический, можно сказать, момент русского ученого диспута. Если бы, каким-нибудь чудом, Германия со всеми ее университетами провалилась сквозь землю, а в виде дополнительного чуда все немецкие книги исчезли бы из библиотек, положение российской университетской науки стало бы прямо отчаянным.

Но любовь к отечеству в том и выражается, что на алтарь отечества люди приносят то, что им всего дороже. Именно всем известные привычки российской профессуры обязывали эту последнюю засвидетельствовать свой антигерманский патриотизм каким-нибудь исключительно резким актом. Когда в Японии, в XVII веке, христианам запрещено было высаживаться на берег под страхом смерти, голландские матросы, для доказательства своей непричастности к христианству, топтали распятие перед глазами японских чиновников. Российские университетские ученые совершили поступок, в своем роде не менее выразительный, наплевали в глаза родной матери—германской науке. Светила германского ученого мира, перед которыми вчера еще лебезили и пресмыкались, были с позором извергнуты из почетных членов русских университетов, а на их место универсально водворился Николай Николаевич.

Он рассматривается как ученый, по крайней мере, по двум

специальностям: географии и теории вероятностей. Характерно, что в этом оплевании ученых немцев отказалась принять участие Академия наук. Академики—такие же бюрократы, такие же действительные статские и тайные советники, как и университетские профессора; председателем Академии состоит один из великих князей (до самого последнего времени состоял только что умерший Константин Константинович). Откуда бы здесь взяться гражданскому мужеству? Но на все есть свои, естественные, причины. Академия наук—своего рода ученая богадельня; в ней не начинают карьеры, а кончают ее; положение академика довольно почетное и материально обеспеченное, но лишенное всяких перспектив. Из профессоров, наоборот,—так повелось еще задолго до революции, со времен Боголепова—рекрутируется весь высший персонал министерства просвещения: министры, их товарищи, попечители округов. Игнатьев, как и ген. Ванновский в свое время,—исключение, а не правило. И Шварц, и Кассо—оба были профессорами. «Почести» достаются, правда, одному из сотни, но этого достаточно, чтобы развратить остальные девяносто девять. Всякий мечтает: «а вдруг и на меня благовоззрят». А что распятие потоптали, так не беда—оно же деревянное. Позорным изгнанием немцев эти господа не рисковали даже испортить себе личные отношения в Германии. Ибо, во-первых, настоящие германские ученые слишком презирают своих маргариновых российских коллег, чтобы на них обижаться. А во-вторых, эти немецкие ученые—такие же чиновники, такие же гехеймраты, как и российские, и чиновничья психология им как нельзя более понятна. Захочет начальство—с барабаном по улице пойдешь...

Но лишить русские университеты чести иметь в своих списках такие имена, как Вундт, подписать документ, являющийся рабским сколком с немецкого «воззвания к цивилизованному миру», только более бледным, как всякая копия,—всего этого было мало. Хотелось найти что-нибудь «свое», «истинно-русское». Труд и честь внести в патристическую симфонию истинно-русскую ноту выпадали, естественно, на долю профессоров «русских» предметов, русской истории и истории русского права. Эти профессора с гордостью могли заявить, что уж их-то труды ни в каком случае не являются компиляцией немецких учебников: им ли компилировать германские адреса и воззвания? Уже в марте газеты оповестили, не без таинственности, что в Москве собирается с'езд профессоров русской истории и русского права для сочинения адреса Николаю II. Кто-то стал уверять, что это выдумал *Simplicissimus*—словом, что немецкая интрига. Но с'езд действительно собрался и за-

седал необычайно секретно. Стали опять говорить, что дело не в адресе, что профессора сочиняют что-то другое, может быть, истинно-русскую конституцию. Только теперь, наконец, напечатан плод их секретных трудов. Увы! Они сочиняли, конечно, адрес, и только адрес: конституцией это не могло бы служить даже для лакейской, даже для лакейской ранее 19 февраля 1861 г. До нас дошли некоторые лакейские конституции того времени<sup>1</sup>. Куда же сравнить! Нет, это не конституция, это просто адрес. Адресов, по безграмотству, крепостные лакеи не сочиняли, так что материала для сравнения у нас нет. Но не все познается через сравнения. Когда вы попадаете в секретное место, давно и основательно нечищенное, вам не нужно будет сравнений, чтобы понять, где вы находитесь, хотя бы над дверями и не было надписи: «для мужчин».

Плод секретных вдохновений русских историков обладает именно таким, вполне самобытным, запахом, который смешать ни с чем нельзя. Это писали не полицейские—те в самый пахучий угол своего секретного места непременно посадили бы революционеров. Это писали и не попы, адрес так составлен, что он годился бы для употребления даже в случае, если бы в России церковь была отделена от государства, а холопство осталось. Это писали именно лакеи. исполненные беспредельного «умиления» при виде барина и бесконечной «благодарности» ему за то, что он позволил ручку поцеловать. Они, конечно, гораздо умнее и образованнее своего барина, но им в их рабском восторге кажется, что умом и образованием они обязаны все ему же—барину. Им кажется, что даже своего предмета, русской истории, они не знали бы без барской милости. В самом деле: «усилиями многих веков» совершилось «национальное воспитание» русского народа, а господа-историки, именно над этими «усилиями многих веков» просидевшие себе многие пары панталон, только теперь «с особою силою почувствовали и с особою ясностью сознали», в чем это «национальное воспитание» состоит. А не будь войны, так бы никогда не почувствовали и не сознали, бедные. Вот уж поистине, не бывать бы счастьем, да несчастье помогло. И в этом, наконец достигнутом, понимании русской истории присяжные знатоки этого предмета имеют своим вождем, как бы вы думали, кого?.. Николая II. «В лице вашего императорского величества наука русской истории имеет высокого покровителя, неустанно пекущегося о сохранении ее памятников (памятников науки. В секретном месте, очевидно, не нашлось русского синтаксиса) и разработке их, а русские историки

<sup>1</sup> Сочиненные для лакеев их господами, конечно, а не самими лакеями. Отрывки из них приведены у Семеновского в его книге «Крестьяне в царствование Екатерины II».

имеют своего царственного духовного вождя, подающего им высокий пример глубокого уважения ко всем памятникам русской исторической жизни, ко всем проявлениям русского национального гения в слове, образах и действиях.

Не будем останавливаться на комической стороне этого пассажа этих «историков», которых, по их собственному признанию, нужно еще учить уважению к историческим памятникам. «Без тебя, батюшка-царь, все архивные документы на цыгарки свертели бы, злодеи. А грамотой об избрании Михаила Федоровича печку бы затопили, разбойники».

Здесь не все смешное, есть гнусное, над чем смеяться стыдно. Здесь не только безграмотность и раболепство, здесь есть хладнокровная, сознательная, обдуманная ложь. Есть попытка, пользуясь всеобщей придавленностью и оглушенностью, дерзко заявить, не боясь услышать противоречие, что в России правительство уважает и охраняет историческую истину, и что те, кто жалуется, что в России историк не может сказать даже фактической правды, не делая из нее никаких выводов, суть крамольники и клеветники.

И даже документы официальные, некогда опубликованные самим правительством, русским историкам приходится издавать за границей (так случилось, как известно, со сборниками покойного Богучарского о государственных преступлениях в России, где не было ни одной строки неофициального происхождения).

Если бы не их официальное положение, можно бы подумать, что они издеваются над тем, к кому обращен их адрес. Но нет: совершенно ясно, что издеваются они над русской публикой и, прежде всего, над теми десятками тысяч русской молодежи, которые составляют их крепостную аудиторию, обязанную слушать их «исторические» лекции. Но, кажется, они сами начинают понимать, что терпение их невольных слушателей близко к пределу: недаром адрес, составленный в марте, оглашен только в конце мая, когда последний студент сдал свой последний экзамен. А там, через три месяца, кто, по теперешним временам, будет помнить какой-то адрес? А дело сделано...

*Газета «Наше Слово», №№ 139 и 140,  
14 и 16 июля 1915 г. Париж.*

## ВИНОВНИКИ ВОЙНЫ

Статья эта, сначала прочитанная как реферат в парижском «Клубе интернационалистов» в мае месяце 1915 года (эту хронологию полезно иметь в виду, расшифровывая те намеки на «современность», какие рассеяны в статье там и сям), носила определенный полемический характер — была направлена против концепции внешней политики финансового капитала, предложенной Гильфердингом. Эта концепция считалась тогда единственно-марксистской. Гильфердинг был своего рода «евангелистом», и мое выступление, вдобавок выступление не-теоретика, было порядочной дерзостью. Как таковая, оно и было расценено в тогдашней редакции «Социал-Демократа» — особенно со стороны Ю. Л. Пятакова, как я узнал потом. К сожалению, я не знаю, как отнесся к этой попытке — в 1915 году критиковать Гильфердинга — Ленин: заметил он или не заметил, что в крайне неуклюжей форме и чрезвычайно несовершенными, в теоретическом отношении, приемами, я пытаюсь обосновать его, ленинскую мысль: о загнивании капитализма. Повидимому, он не обратил внимания на мою статью, иначе он, вероятно, постарался бы наставить меня на путь истинный и показать мне, как правильно теоретически подойти к больному месту гильфердингианства, которое я верно нащупал, но не умел вскрыть.

Что это именно б о л ь н о е место, Ленин потом высказал всеми словами. В своей книге он посвятил целую главу (8-ю) вопросу о «паразитизме и загнивании капитализма» где в самом начале говорится: «Одним из недостатков марксиста Гильфердинга является то, что он сделал шаг назад по сравнению с не-марксистом Гобсоном. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму»<sup>1</sup>. Дальше на целом ряде примеров Ленин обосновывает мысль о «тенденции к застою и загниванию, свойственной монополии» и монополистическому капитализму.

После критики Ленина повторять мою, явно несовершенную критику Гильфердинга — которая, вдобавок, по-

<sup>1</sup> Сочинения. Т. XIII, стр. 313—314.



сколько Гильфердинг являлся тогда единственным теоретиком империализма, превращалась неизбежно в критику теории империализма вообще — значило бы только напрасно отнимать время у читателя. Сократив эту критическую часть своей статьи уже в первом издании, 1919 года (в 1915 году статью не удалось напечатать, легально из-за цензурных препятствий, нелегально из-за богохульного, по отношению к Гильфердингу, характера), я теперь охотно совсем бы ее опустил. Но она так переплетена со всем остальным изложением, что устранить вовсе ее невозможно, — и я должен был ограничиться тем, что сделал еще большие на этот счет купюры, чем это имело место в издании 1919 года.

Характеристические признаки империализма так резюмированы Гильфердингом — там, где он говорит о политике «финансового капитала» (далее он сам употребляет выражение «эра империализма»): «Политика финансового капитала преследует тройкого рода цели: во-первых, создание возможно обширной хозяйственной территории, которая, во-вторых, должна быть ограждена от иностранной конкуренции таможенными стенами и таким образом должна превратиться, в-третьих, в область эксплуатации для национальных монополистических союзов<sup>1</sup>. Образцом здесь послужили, несомненно, Соединенные Штаты. Из двух других передовых капиталистических держав нашего времени, у Англии не хватает пока «таможенных стен»; Гильфердинг, правда, уверен, что они скоро появятся и, во всяком случае, «вполне возможны», но историку приходится считаться с тем, что уже есть, а не с тем, что только возможно. Пока Англия продолжает придерживать той политики, которая, по словам Гильфердинга, находится «в самом остром противоречии» с политикой финансового капитала. Но рассталась ли с этой, теоретически устаревшей, политикой Германия? Присматриваясь к данным международной торговли, легко заметить, что Германии гораздо больше приходится терпеть от чужих таможенных стен, чем выигрывать от своих собственных. «Мы работаем для вывоза», говорили представители германских промышленных кругов французскому публицисту, производившему в Германии анкету за два года до войны: «если мы перестанем вывозить, мы погибли»<sup>2</sup>. И успешнее всего дело шло с той стороны, где до сих пор живы «манчестерские предассудки». В 1903 г. Германия ввезла в великобританские

<sup>1</sup> «Финансовый капитал», пер. И. Степанова, стр. 495—ср. 499.

<sup>2</sup> С. Bourdon, «L'Enigme Allemande».

## ВИНОВНИКИ ВОЙНЫ

Статья эта, сначала прочитанная как реферат в парижском «Клубе интернационалистов» в мае месяце 1915 года (эту хронологию полезно иметь в виду, расшифровывая те намеки на «современность», какие рассеяны в статье там и сям), носила определенный полемический характер — была направлена против концепции внешней политики финансового капитала, предложенной Гильфердингом. Эта концепция считалась тогда единственно-марксистской. Гильфердинг был своего рода «евангелистом», и мое выступление, вдобавок выступление не-теоретика, было порядочной дерзостью. Как таковая, оно и было расценено в тогдашней редакции «Социал-Демократа» — особенно со стороны Ю. Л. Пятакова, как я узнал потом. К сожалению, я не знаю, как отнесся к этой попытке — в 1915 году критиковать Гильфердинга — Ленин: заметил он или не заметил, что в крайне неуклюжей форме и чрезвычайно несовершенными, в теоретическом отношении, приемами, я пытаюсь обосновать его, ленинскую мысль: о загнивании капитализма. Повидимому, он не обратил внимания на мою статью, иначе он, вероятно, постарался бы наставить меня на путь истинный и показать мне, как правильно теоретически подойти к большому месту гильфердингианства, которое я верно нащупал, но не умел вскрыть.

Что это именно большое место, Ленин потом высказал всеми словами. В своей книге он посвятил целую главу (8-ю) вопросу о «паразитизме и загнивании капитализма» где в самом начале говорится: «Одним из недостатков марксиста Гильфердинга является то, что он сделал шаг назад по сравнению с не-марксистом Гобсоном. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму»<sup>1</sup>. Дальше на целом ряде примеров Ленин обосновывает мысль о «тенденции к застою и загниванию, свойственной монополии» и монополистическому капитализму.

После критики Ленина повторять мою, явно несовершенную критику Гильфердинга — которая, вдобавок, по-

<sup>1</sup> Сочинения. Т. XIII, стр. 313—314.

сколько Гильфердинг являлся тогда единственным теоретиком империализма, превращалась неизбежно в критику теории империализма вообще — значило бы только напрасно отнимать время у читателя. Сократив эту критическую часть своей статьи уже в первом издании, 1919 года (в 1915 году статью не удалось напечатать, легально из-за цензурных препятствий, нелегально из-за богохульного, по отношению к Гильфердингу, характера), я теперь охотно совсем бы ее опустил. Но она так переплетена со всем остальным изложением, что устранить вовсе ее невозможно, — и я должен был ограничиться тем, что сделал еще большие на этот счет купюры, чем это имело место в издании 1919 года.

Характеристические признаки империализма так резюмированы Гильфердингом — там, где он говорит о политике «финансового капитала» (далее он сам употребляет выражение «эра империализма»): «Политика финансового капитала преследует тройкого рода цели: во-первых, создание возможно обширной хозяйственной территории, которая, во-вторых, должна быть ограждена от иностранной конкуренции таможенными стенами и таким образом должна превратиться, в-третьих, в область эксплуатации для национальных монополистических союзов<sup>1</sup>. Образцом здесь послужили, несомненно, Соединенные Штаты. Из двух других передовых капиталистических держав нашего времени, у Англии не хватает пока «таможенных стен»; Гильфердинг, правда, уверен, что они скоро появятся и, во всяком случае, «вполне возможны», но историку приходится считаться с тем, что уже есть, а не с тем, что только возможно. Пока Англия продолжает придерживаться той политики, которая, по словам Гильфердинга, находится «в самом остром противоречии» с политикой финансового капитала. Но рассталась ли с этой, теоретически устаревшей, политикой Германия? Присматриваясь к данным международной торговли, легко заметить, что Германии гораздо больше приходится терпеть от чужих таможенных стен, чем выигрывать от своих собственных. «Мы работаем для вывоза», говорили представители германских промышленных кругов французскому публицисту, производившему в Германии анкету за два года до войны: «если мы перестанем вывозить, мы погибли»<sup>2</sup>. И успешнее всего дело шло с той стороны, где до сих пор живы «манчестерские пред-рассудки». В 1903 г. Германия ввезла в великобританские

<sup>1</sup> «Финансовый капитал», пер. И. Степанова, стр. 495—ср. 499.

<sup>2</sup> С. Bourdon, «L'Enigme Allemande».

Почему в четвертый раз, в июле 1914 г., ей дали ход и даже поощрили ее? На это нам отвечает один документ, чрезвычайно высокой ценности и по источнику, из которого он исходит, и по близости к фактам, о которых он трактует. Это — напечатанное на стр. 20—21 французской «Желтой книги» донесение французского посла в Берлине Камбона, передающее содержание разговора бельгийского короля с Вильгельмом II и его начальником штаба Мольтке. Камбон знал о разговоре «из источника, абсолютно достоверного» — проще говоря, от самого короля Альберта. Впечатления, вынесенные из этого разговора королем, вполне совпадали с впечатлениями самого Камбона: «враждебность против нас увеличивается, император перестал быть сторонником мира». «Собеседник императора Германии, как и все, думал до сих пор, что Вильгельм II, не один раз способствовавший, в критические минуты, поддержанию мира своим личным влиянием, сохраняет это настроение и теперь. На этот раз он нашел его совершенно изменившимся: император, в его глазах, теперь уже не защитник мира против воинственных поползновений некоторых партий Германии. Вильгельм II пришел к убеждению, что война с Францией неизбежна и должна вспыхнуть не сегодня—завтра». Еще категоричнее высказывался в том же духе генерал Мольтке. Что именно вызвало такой резкий поворот в настроениях и намерениях германского правительства, из депеши прямо не видно. Несомненно, что в напечатанном тексте есть какой-то пробел: тотчас же после слов Мольтке о «непобедимом энтузиазме» германского народа этот текст заставляет короля Альберта говорить, ни к селу, ни к городу, о манифестациях каких-то «увлекающихся людей» (*esprits exaltés*) и даже «бессовестных интриганов», затемняющих истинные намерения французского правительства. Сохранив эти комплименты по адресу сотрудников «Patrie» и «Echo de Paris», редактор «Желтой книги» не счел возможным удержать имевшуюся, очевидно, в заявлениях собеседников бельгийского короля ссылку на то, что проведенный тогда французским правительством закон о трехлетней военной службе, — закон, против которого так страстно и так тщетно боролся Жорес. У последнего народного трибуна Франции было, по-видимому, смутное предчувствие, что, вотируя этот закон, французский парламент вотирует вторую франко-прусскую войну. Мирных буржуа можно было уверять, что закон, 7 августа 1913 г. (депеша Камбона помечена 22 ноября) преследует исключительно цели национальной обороны, — от военных людей, какими были Вильгельм и его начальники штаба, не могло укрыться его настоящее значение. Для обороны важно было усовершенствовать военную тех-

нику — увеличивать в полтора раза число штыков нужно было для нападения, ибо успех этого последнего, при современной технике, зависит прежде всего другого от численного перевеса. Для военных людей, повторяем, на этот счет не могло быть тени сомнения — и с осени 1913 года «предупредительную» войну можно было считать решенной.

Почему Германия не начала этой войны немедленно — не использовала такого удобного для нее момента, как конец зимы 1913—1914 г., когда помолодевшая на год французская армия (закон 7 августа, как известно, как увеличил срок службы, но и понизил призывной возраст до 20 лет) почти поголовно лежала в кори и скарлатине? Ответ на это мы получим, по всей вероятности, когда будет опубликована секретная переписка английской дипломатии — а этого ждать придется, пожалуй, долго: секретная английская переписка по поводу польского восстания 1863 г. увидела свет только в 1913 г., ровно через пятьдесят лет. Пока можно лишь высказать предположение, что замедляющим фактором были переговоры, которые Англия до самого августа 1914 г. вела на оба фронта: и с Германией, и с Россией. Существование таких переговоров, помимо глухих намеков в печати, достаточно ясно и из документов английской «Синей книги». Разговоры, которые вел Бьюкенен в Петербурге (№ 4 «Синей книги»), а Гёшен в Берлине (№ 33), понятны лишь как заключительные звенья длинной цепи — с места в карьер таких переговоров не ведут не только дипломаты, но даже и лавочники. Совершенно очевидно, что уже раньше был большой «торг», употребляя выражение Гёшена — и Россия переторговала, кажется, только в самую последнюю минуту. По крайней мере — факт удивительный, но сомнению не подлежащий — всего за два дня до пред'явления австрийского ультиматума Сербии, Эд. Грей опасался не нападения Германии на Россию и Францию, а наоборот — двух последних на Германию. 21 июля 1914 г. у Грея был известный румынский националист — любимец французской прессы — Таке Ионеску. Он приходил говорить по поводу Албании — со времени удачного опыта с болгарской Силистрией румыны стали интересоваться всем, что плохо лежит на Балканском полуострове. Так как Албанией в то же время интересовалась и Италия, что, конечно, румынам не нравилось и что они приписывали английским интригам, то Ионеску и намекнул Грею, довольно грубо, как нехорошо подкупать Италию Албанией, чтобы из «Тройственного союза» перевести ее в «Тройственное согласие». Грей, рассказывает Ионеску, «с величайшей искренностью в голосе» сказал: «Да я вовсе не стараюсь отделить Италию от Германии и Австрии и никогда не старался. Я знаю, что франко-русско-итальянский

союз был бы настолько силен, что равновесие было бы нарушено и могло бы явиться искушение воевать. А я хочу мира». Как доказательство миролюбия Грея, эти слова и обошли всю союзническую прессу, — так, кажется, и не заметившую их пикантности...<sup>1</sup>

Едва ли нужно объяснять читателю, что на самом деле Грей боялся вовсе не нападения Франции и России на Германию, а — гегемонии франко-русско-итальянского союза на Средиземном море, гегемонии, которая сделает совершенно безнадежными шансы Англии «отторговать» у России Константинополь. Есть все основания думать, что в центре переговоров с Россией стоял именно этот вопрос — как в центре переговоров с Германией стояли вопросы о французских колониях и о Бельгии. О последнем, впрочем, почти не приходится и догадываться — из напечатанных уже документов «Синей книги» это ясно почти до очевидности. Но и первое с достаточной ясностью сквозило хотя бы в тех крайне осторожных выражениях, которые употреблял Сазонов, говоря о константинопольском вопросе перед Государственной думой. И недаром на эти осторожные выражения поспешил сослаться тот же Грей перед палатой общин. Ему нужно было показать своим доверителям, что он Константинополя не продешевил... Мы увидим ниже, что для той общественной группы, которую представляют Эд, Грей, Уинстон Черчилль и др., Константинополь и колонии должны были составлять центр всей картины. Но не будем забегать вперед. Подведем итоги тому, что нам пока удалось узнать. Эти итоги сводятся к тому, что в политике Германии, от которой, с точки зрения Гильфердинга, нужно было ожидать максимального развития «империализма», его очень мало заметно: Германия отнюдь не стремилась к максимальному расширению своей территории; она начала войну потому, что думала (правильно или нет, для нас в настоящий момент не интересно), что на нее хотят напасть. Остается поискать признаков империализма у «нападающих», и тут мы окажемся перед фактом, не менее изумительным. И в Англии, и во Франции, и в России за войну были не самые передовые, с точки зрения капиталистического развития, группы, а самые отсталые.

Относительно Франции в русской литературе и особенно среди русской читающей публики упорно живет предрассудок, представляющий эту страну безнадежно отсталой в промышленном отношении. Франция — странаростовщик, скажет вам всякий; она живет плодами

<sup>1</sup> Ионеску рассказал об этой беседе в «Grande Revue». Мы цитируем по «Temps» 16 марта 1915.

чужого труда; ее сбережения оплодотворяют русскую, южно-американскую, даже германскую — какую угодно промышленность, но только не французскую. После агадирского инцидента особенно в ходу было представлять себе германскую промышленность как зависящую, чуть не всецело, от французских капиталов — которых насчитывали там чуть не два с половиной миллиарда франков! Это очень придавало куражу французской печати, когда она обсуждала шансы возможного франко-германского столкновения. Прибавим, в скобках, что хорошо осведомленные германские деятели определяли сумму гораздо скромнее — не более чем в 300 милл. франков<sup>1</sup>. Прибавим, что не верна не только цифра, а и метод рассуждения французских газет: вложенные в иностранные предприятия капиталы связывают страну, давшую их, а не страну, их получившую. Ниже мы увидим чрезвычайно яркий пример этого — на русско-французских отношениях. Пока не будем останавливаться на этом. Насколько верно представление о Франции, как о своего рода финансовой кукушке, кладущей яйца в чужие гнезда? В общем и целом это представление пока еще не окончательно устарело: за 6 лет, с 1906 по 1911 г., парижская биржа выпускала, в среднем, ежегодно на 4.334 милл. фр. ценных бумаг; в их числе иностранные займы составляли 84%. Но промышленная отсталость Франции с каждым годом уходит в прошлое. Показателем промышленного развития страны служит ее металлургия. Если мы возьмем данные, иллюстрирующие положение французской металлургии, мы получим такую картину:

## Производство чугуна во Франции:

Года . . . . .	1880	1890	1900	1905	1907	1910
Тысячи тонн .	1.725	1.962	2.714	3.077	3.590	4.032

В 1890 г. ценность всего чугуна, выплавленного во Франции, равнялась только 137,6 милл. фр. — в 1907 эта ценность дошла до 313,2 милл. фр. Еще в 1900 г. по абсолютной цифре производства Франция стояла ниже России на 200 слишком тыс. тонн (2.714 тыс. тонн и 2.934 тыс. тонн), а к 1907 году Франция на 700 слишком тысяч тонн обогнала Россию (3.590 тыс. т. и 2.811 тыс. т.). Из приведенной таблички видно, когда можно было, с полным правом, говорить о застое: то были 80-е и отчасти 90-е годы — весна франко-русского союза. Перелом отмечает 1896 год, когда производство повысилось сразу с 2.004 тыс. тонн до 2.340 тыс. — и

<sup>1</sup> G. Bourdon «L'Enigme All». 303 — слова Фюрстенберга, директора Berliner Handelsgesellsch.

с тех пор повышалось почти непрерывно, тогда как за предшествующие 15 лет оно держалось на одном уровне (1882 год — 2.039 тыс. тонн, 1892 г. — 2.057 и т. д.). Уже почти двадцать лет, как термин «промышленно-отсталой» страны почти не приложим к Франции. Конечно, ей далеко до Англии или Германии, тем более до Соединенных Штатов. Но она не стоит на месте, она прогрессирует, и довольно быстро — это главное.

Рост французской промышленности нашел себе отражение в целом ряде социальных фактов. Во внутренней политике важнейшим из них было увеличение интенсивности рабочего движения и усиление социалистической партии. Во внешней главнейшим последствием было, несомненно начинавшееся перед войной, сближение с Германией. «Молодая» французская промышленность не могла обойтись без последней. Ей, прежде всего, не хватало угля — и ввоз последнего из-за границы рос прямо пропорционально выплавке французского чугуна. В 1907 г. Франция ввезла из Германии угля на 70,1 милл. фр., в 1912 — уже на 136,5 милл., что составляло 30% всего французского ввоза. Затем, на первых порах, индустриальная Франция не могла обойтись и без германских машин: момент, когда французское машиностроительство могло бы конкурировать с германским, еще не наступил (а времена, когда французы шли впереди всех народов континента на этом поле, 40-е — 50-е годы, были давно забыты!). Ввоз германских машин во Францию рос необычайно интенсивно: с 53,7 милл. фр. в 1906 г. он поднялся до 74,5 милл. фр. в 1907 г. и до 132 милл. фр. в 1912 г. Рядом с этими экономическими причинами, располагавшими французскую «тяжелую индустрию» к миру с Германией, не нужно забывать и географической: 82% всей железной руды Франция получает из округов Бриэ и Лонгви, во французской Лотарингии, на самой германской границе. В нынешнюю войну эти округа были заняты немцами с первых же дней — задолго до битвы при Шарлеруа и марша к Парижу Германия уже начала свои завоевания! Сейчас округ Бриэ превосходно организован немцами (построившими там, между прочим, железнодорожный туннель, которого население 20 лет тщетно ждало от французского правительства) и питает германскую металлургию. Вопрос о его судьбе при заключении мира, несомненно, будет одним из самых пикантных пунктов. Судьбу же его во время войны было нетрудно предвидеть — и это, повторяем, помимо всего прочего, должно было настраивать миролюбиво французских металлургов.

Это миролюбивое настроение крупной французской промышленности нашло себе выражение в деятельности



франко-германского торгового комитета, в поездках и анкетах в Германии французских политических деятелей и журналистов и, как памятниках этих поездок, в таких книжках, как «Пути мира» Ажана или «Германская загадка» Жоржа Бурдона<sup>1</sup>. Оба автора вынесли впечатление, что не только германская буржуазия — притом не только промышленная, но и финансовая, — а и германские официальные круги также настроены так нельзя быть более миролюбиво. Шумной агитации пангерманцев никто не придавал серьезного значения — как старались не придавать значения шовинистическому кликушеству французской желтой и черной прессы. Но последняя все-таки дразнила и беспокоила; Ж. Бурдон признается, что ему однажды пришлось покраснеть, когда его собеседник показал ему только что вышедшую в Париже брошюру, с проектом, ни более, ни менее, как раздела Германии. И вообще, ведя мирные речи, германские общественные и промышленные деятели не скрывали от своих гостей, что война, при существовании такого натравливания, все же возможна; что общество не может не нести ответственности за свои газеты — раз дело идет не о ничтожных листках, которых никто не читает, а о «большой прессе», с миллионным тиражом. А в одном случае, прибавляли они, война даже и неизбежна: это, если Россия нападет на Австрию, «Австрию мы выдать России не можем и будем воевать, чего бы нам это ни стоило — хотя бы мир на нас обрушился», как энергично выразился один из собеседников Ажана.

В национальной плоскости вопрос о «виновниках» переносится, таким образом, с западного фронта на восточный. Но мы хотели бы остаться в плоскости социальной. Были ли у русской промышленной буржуазии какие-нибудь основания желать войны? Тут, прежде всего, приходится вспомнить, что годы, непосредственно предшествующие войне, были годами чрезвычайно быстрого подъема русской металлургии. Вот данные по выплавке чугуна за последнее пятилетие перед войной:

Года . . . . .	1909	1910	1911	1912	1913
Миллионы пудов . .	175	186	219	256	293

Как видим, «немецкое засилье» несколько не стесняло роста русской тяжелой индустрии. Представлять себе войну, как единственное средство избавления от конкурента, она не имела никакого основания. Оттого ее представители и обнаружили так мало «патриотизма», когда война началась — и глава московского общества фабрикантов и завод-

<sup>1</sup> Ajam. «Les chemins de la paix. Le problème économique franco-allemand». Paris. 1914. G. Bourdon. «L'Enigme allemande». Paris. 1913.

чиков, металлург Гужон (француз по происхождению) удостоился даже от «Русского Слова» титула «предателя» за неуклонное отстаивание интересов германского «электрического общества 1886 г.»<sup>1</sup>.

Есть, однако, группа русских промышленников, положение которой несколько иное: это группа текстильная. Об ее интересах в связи с возможной войной говорилось на страницах русских марксистских журналов<sup>2</sup>. Не повторяя того, что там было сказано, мы должны лишь прибавить, что тяготение русского ситца к заграничному рынку как раз перед войной должно было усилиться. Ибо в то время как русская металлургия переживала расцвет, в русской текстильной индустрии можно было наблюдать нечто вроде застоя:

Года . . . . .	1909	1910	1911	1912	1913
Число веретен (тысячи) . .	8.065	8.308	8.600	8.800	8.950

За пять лет девятый миллион веретен так и не был пройден до конца, тогда как за предшествующие 8 лет, с 1900 г., число веретен увеличилось на полтора миллиона, с 6½ до 8. И русским мануфактуристам, прежде всего, был важен, конечно, внутренний рынок: в этой, главным образом, связи приходится рассматривать временный паралич винной монополии. Те, кто приписывают его чудодейственному влиянию войны, забывают, что еще до войны Кокцовцев слетел со своего места, главным образом, из-за того, что его бюджеты держались на водке. Отрезвешая деревня, по общему убеждению (особенно ценны здесь показания представителей кооперативов, опубликованные «Русским Словом»), сделалась гораздо более надежной потребительницей мануфактуры, чем была пьяная. «От мануфактурщиков теперь брызжет удовольствием», говорит одно известие

<sup>1</sup> Это, конечно, противоречит распространенному у нас мнению, будто металлургия—чуть не главная виновница войны, будто весь угар Европы вышел из труб чугуно-плавильных заводов. Объяснение подкупает своей простотой: металлургия изготавливает пушки и броню, на войне стреляют из пушек, действуют броненосцы—кому же, как не металлургам, это может быть выгодно? Не входя в обсуждение этого вопроса во всей его широте (напомним только, что 40 лет европейского мира были как раз временем пышного расцвета металлургии), для России мы должны указать, что военные заказы у нас в руках немногих привилегированных заводов, находящихся в иностранных руках: «дяди Векерса», «работающего» по крайней мере отчасти, на романовские капиталы, Шнейдера-Крезю и т. п. Простые смертные, вроде Гужона, больше нашли бы на кровельном железе, чем на броне, на рельсах,— чем на пушках. Им в данной стадии развития расширение внутреннего рынка важнее завоевания десяти внешних—и они слишком хорошо помнят, как обострили железный кризис начала века японская война и революция.

<sup>2</sup> См. в 1 № «Просвещения» за 1914 г. «Русский империализм в прошлом и настоящем».

с родины (в нью-йоркском «Новом мире», 11 марта 1915). «Такие дела сейчас! Процентом 35—40 кладет чистеньких: вот как мануфактура нынче играет». Но, во-первых, и повальное отрезвление без войны провести было бы трудно; а затем экономическое завоевание русской мануфактурой северной Персии естественно соблазняло на дальнейшие шаги в тех же направлениях: ежели перс рядится в русские ситцы, отчего же турке не делать того же самого? Как бы то ни было, но центром буржуазно-патриотического движения несомненно является Москва—центр русской текстильной промышленности в то же время. При чем исчезновение с русского рынка лодзинских товаров — при войне с Германией разгром Лодзи так же нетрудно было предвидеть, как и оккупацию немцами Бриэ — еще больше поднимает, конечно, патриотическую температуру. Кабы подольше такая благодать! Мудрено ли, что московское купечество подает адреса с требованием вести войну «до конца» — т.-е. возможно дольше?

Но если этому купечеству удобно греть руки на всемирном пожаре, то обвинять в поджоге московско-владимирских ситцевых фабрикантов было еще менее осторожно, чем бросать такое обвинение «тяжелой индустрии». Социальный удельный вес этой группы в России не так велик, чтобы она одна, своею только тяжестью, могла определять русскую внешнюю политику. В цитированной статье «Просвещения» было уже указано, какие политические мотивы побуждали дворянское правительство идти навстречу мануфактурной буржуазии. О классовых интересах дворянства во внешней политике не приходилось упоминать в этой статье, очевидно, потому, что она была написана по поводу русских выступлений на Ближнем и Среднем Востоке. Тогда казалось, что эти выступления, скорее всего, могут оказаться поводом для русско-германского конфликта. История решила иначе — и она дала больше, чем ожидали от нее историки. Уже чрезвычайные военные законы, экстренно проведенные Сухомлиновым весной 1914 г., — законы, позволявшие довести мирные штаты русской армии в 1917 г. до 2.400 тыс. ч. — показывали, что дело идет не о возможном столкновении с Германией по поводу Турции, а о неизбежной в более или менее близком будущем войне, независимо от всяких посторонних поводов. Атака велась прямая, «в лоб», что называется, — ее объект обрисовался с не оставляющей никаких сомнений рельефностью, когда через Государственную думу прошел закон о пошлинах на германскую рожь. На столе была опять та ставка, с которой началась русско-германская игра тридцать лет назад, на другой день после образования «Тройственного союза» и накануне фран-

ко-русского. А от этой ставки с самого начала пахло порохом.

«Война с немцами» могла явиться неожиданностью для того поколения, политические воспоминания которого не идут вглубь дальше конца 90-х г.г. прошлого столетия. Но наша юность вся прошла под знаком надвигающейся войны с Германией. Кто только ее тогда не предсказывал — от знахарей и ворожей, вычитывавших «войну трех императоров» в книге пророка Даниила (при чем один из этих императоров должен был непременно взять Константинополь!), до знаменитого генерала Скобелева, который не только держал воинственные речи в Париже перед сербскими студентами, но и самым деловым образом тренировал солдат своего корпуса «на немца» — предварительно прекрасно изучив германскую армию. И когда он внезапно умер, в московской толпе ходили слухи, что Скобелева «отравили немцы». В дипломатических историях той эпохи вы прочтете, что причиной конфликта, тянувшегося до 1894 г., была «измена» Бисмарка русским интересам на Берлинском конгрессе и заключенный им в 1879 г. союз с враждебной России Австрией (зародыш будущего «Тройственного союза»: он стал так называться с присоединением к нему Италии, в 1882 г.). Но это было лишь поверхностное отражение экономического спора — конкуренции русского и прусского помещиков. В конце 70-х годов цены на всемирном хлебном рынке стали резко падать; если мы возьмем хлебные цены пятилетия 1871—75 г.г. за 100, то цены пятилетия 1881—95 г.г. будут 80 (для пшеницы) и 89 (для ржи); а пятилетие 1891—95 г.г.—70 для пшеницы и 82 для ржи. Потеряв от 20 до 30% своей земельной ренты, прусский юнкер застонал, а так как то была пора глухой реакции в Германии (как раз на то же время падает исключительный закон против социалистов), то интересы юнкеров сейчас же нашли себе «ограждение»: в 1880 г. были введены ввозные пошлины на хлеб, сначала в 10 марок с тонны, в 1885 г. увеличенные до 30 и в 1887 до 50 марок с тонны. Последняя была почти запретительной — и теперь застонал уже русский помещик. Если уже американская конкуренция по части пшеницы стесняла его довольно сильно — благодаря широкому применению машины американская ферма могла получить продукты дешевле, чем русское имение с его полукрепостными порядками, стеснявшими применение машин, — то пошлины на рожь загоняли его совсем в тупик. Пшеница—хлеб мировой, цены на него делает исключительно всемирный рынок, и пошлины тут имеют второстепенное значение. Рожь же Россия вывозила почти только в Германию, и пошлина в 30% продажной цены настолько «ограждала» прусского юнкера, что его русскому

сопернику, если он хотел сбыть свой хлеб в Германию, ничего не оставалось, как уплатить хотя часть пошлины из своего кармана. А цены и без того все падали и падали... Настроение российского дворянства при таких условиях нетрудно понять. Когда генерал Скобелев вопиал, что он не согласится, чтобы Россия стала «Липпе-Детмольдом», «отдала на поругание всю славу исторического прошлого» и т. д., он правильно выражал чувства своих односословников. Характерно, что гарантию от такой злой участи он — уже тогда — видел в союзе с Англией. Стремление Германии в свою очередь найти союзников в Австрии и Италии было естественным в ее положении ответом на такие чувства русского помещика. Но то, что вызвало бурю — хлебные цены, — в конце концов ее и утишило: цены дошли до такого уровня, что аграрный капитализм в России стал почти невозможен — капитал, при существующем в России уровне прибыли, не шел в сельское хозяйство. Помещику ничего не оставалось, как просто потребовать казенного пайка — что и осуществил дворянский банк. С его основанием шовинистическая шумиха понемногу падает, и дело кончается, в 1894 г., русско-германским торговым договором, по которому хлебные пошлины были, однако, все-таки понижены (с 50 до 35 мар. за тонну).

Экономической комбинацией, на почве которой разыгрался первый русско-германский конфликт, было, таким образом, совпадение упадка хлебных цен с германской конкуренцией на хлебном рынке, при чем внешним выражением этой конкуренции являлись хлебные пошлины, «ограждавшие» прусского производителя от его восточного соперника. С тех пор картина хлебного рынка успела резко измениться. Если мы примем хлебные цены пятилетия 1893—97 г.г. за 100, мы получим для пятилетия 1898—1904 г.г. 128, а для восьмилетия 1905—1912 даже и 165. По расчету автора, у которого мы заимствуем эти цифры, это означало увеличение доходности русского сельского хозяйства на 400 слишком миллионов рублей (850 милл. герм. марок) в год<sup>1</sup>. Капиталистическое сельское хозяйство в России опять стало возможно, яркой иллюстрацией чего является рост ввоза сельскохозяйственных машин в Россию: с 23 миллионов руб. в 1909 г. до 120 милл. руб. в 1912—увеличение на 400%! При этом особенно быстро растет ввоз «сложных» машин, т.-е. машин с паровым, керосиновым и т. п. двигателем: с 7,4 милл. руб. в 1907 г. до 14,2 милл. руб. в 1910 и 26,6 милл.

<sup>1</sup> Jury Larin. «Die Entwicklung d. russischen Landwirtschaft», «Neue Zeit», 4, XII, 1914.

руб. в 1912. Как справедливо указывает цитируемый автор, это свидетельствует о прогрессе именно крупного, капиталистического землевладения, так как крестьянские хозяйства, даже зажиточные, все чаще и чаще применяя машины вообще и окончательно забросив дедовскую соху для плуга, все же не в состоянии приобретать паровых плугов и молотилок. От под'ема хлебных цен выиграл, в известной мере, и хозяйственный мужичок, но гораздо больше выиграл помещик. Социальное преобладание дворянства в эпоху столыпинщины точно соответствовало укреплению его экономической позиции.

Но позиции «юнкера» стали сильнее одинаково по обе стороны Вержболова, и если русский юнкер получил возможность вновь начать борьбу на всемирном хлебном рынке, прусский, по-прежнему забронированный своими пошлинами, получил возможность повести борьбу наступательную. Ввоз русской ржи в Германию продолжал падать: с 828 тыс. тонн в 1900—1904 г.г. до 555 тыс. т. в 1905—08 г.г., и до 268 тыс. т. в 1912 г. Зато, в этом году в Россию было ввезено 114 тыс. т. прусской ржи—факт беспрецедентный в XIX столетии. Это уже само по себе было не легко перенести, даже на фоне «крепких» хлебных цен: можно себе представить, что произошло в душе русского помещика, когда цены снова стали падать. Пшеница, стоившая в трехлетие 1907—1909 г.г. в среднем 118 коп. за пуд, понизилась в трехлетие 1911—1913 г.г. до 110; рожь с 99 коп. в первом случае упала до 85 во втором. Ситуация начала 1880-х годов повторялась буквально. Не хватало только генерала Скобелева — его место должен был занять штатский человек, хотя и с созвучной фамилией, профессор Соболев, на страницах «Русских Ведомостей» (а не «Нового Времени»!) открывший военные действия против прусского юнкера. Можно удивиться, что этот замечательный человек так мало популярен во время войны. Современники явно несправедливы к нему, но история не должна забыть, что проект хлебных контр-пошлин на германский хлеб принадлежит именно ему. И он сопровождал эту основную меру дополнительными, без которых она не могла дать полного эффекта: он предлагал обложить вывозной пошлиной корм для скота, который получается Германией из России, и прекратить «отпуск» в Германию русских рабочих рук. Пролетарий должен продавать свои мускулы национальной экономике и есть дома «национальный» хлеб, получая его по более дорогой цене: разве это не полная программа российского нео-национализма? Но нужно сказать, в начинавшемся кризисе Скобелев был бы, пожалуй, полезнее его почти тезки. Кроме пошлин, из соболевского плана ничего не удалось осуществить — и на другой же день после этого

приступа к делу началось массовое передвижение германских «рабочих рук» на российскую территорию.

Из всех этих фактов вытекает несколько заключений, быть может, несколько неожиданных с «общепринятой» точки зрения. Во-первых, выясняется, что дворянское правительство, поддерживая русский промышленный (главным образом, текстильный) капитализм в его борьбе за средне- и ближне-восточные рынки руководилось не только политическими соображениями — желанием удержать на своей стороне крупно-буржуазные круги, сохранить тот аграрно-буржуазный блок, на котором держалась столыпинщина и который стал заметно трещать после краха во внутренней экономической политике. Классовые дворянские интересы толкали в ту же сторону, и не только политически, в смысле конфликта с Германией, но и географически, толкали к Царьграду и Дарданеллам. Читатель, конечно, подумал, что мы имеем в виду необходимость обладания проливами для развития русского аграрного капитализма, «дверь от своего дома» и т. д. и т. д.? Не совсем так. Люди, толкующие о «двери от своего дома», слегка позабыли, что эта дверь давно без замка: свободное плавание русских коммерческих судов через Босфор и Дарданеллы впервые было установлено еще Кучук-Кайнарджийским трактатом 1774 г. и окончательно, раз навсегда, закреплено Адрианопольским 1829 г. С тех пор турки закрывали проливы только в случае войны, как это имело место и в 1912—13 г.г. Чтобы обойти и эту неприятную случайность, давно предлагались разные меры, отнюдь не требовавшие для своего осуществления не только всемирной, но даже вообще какой бы то ни было войны: не нужно забывать, что в вопросе заинтересована не одна Россия, а кроме нее, и даже больше нее, целый ряд держав — на первом месте Англия, Австро-Венгрия и Италия. Проект — уподобить пролив, с точки зрения международного права, Суэцкому каналу, всегда открытому для мирного плавания, был выдвинут еще в XIX в. Вопрос мог быть разрешен мирно, соглашением этих держав между собою и с Турцией — которая их совместному давлению не могла бы противиться, да и не стала бы, если бы ей были предоставлены известные гарантии, обеспечивающие безопасность Константинополя. Не забудем, что и Суэцкий канал до 1914 г. лежал обоими своими берегами на территории, юридически турецкой — как раз, значит турки же и дали прецедент для такого положения. Но о таком разрешении вопроса русская дипломатия хлопотала чрезвычайно мало: слабость ее интереса к этому проекту хорошо иллюстрируется известной книгой Горяинова («Босфор и Дарданеллы»), вышедшей из русского министерства иностранных дел; там

вопросу о проходе коммерческих судов через проливы посвящены первые 5 страниц, а остальные заняты вопросом о свободном проходе военных судов, т.-е. об открытии для русского черноморского флота Средиземного моря. Для русского правительства вопросом была не свобода плавания через проливы (она же фактически нарушалась слишком редко), а обладание проливами, ибо совершенно ясно, что для военных судов свобода плавать через проливы, берега которых уставлены неприятельскими батареями, есть свобода весьма относительная. Для этой свободы нужно, чтобы и берега были под тем же флагом, под которым плавают корабли. Завоевание берегов Босфора и Дарданелл, включая Царьград, составляло, мы знаем, интегральную часть программы русского промышленного империализма на Ближнем Востоке. Но оно отвечало и классовым интересам русского помещика не в меньшей мере. Не считая прусского юнкера, у юнкера русского конкурентами на хлебном рынке в восточной Европе являются придунайские страны: Венгрия, Румыния и Болгария, отчасти Сербия. Отсюда еще при Николае I поставленный вопрос о переходе к России устья в Дуная—вопрос, сыгравший известную роль в возникновении Крымской войны, которая началась с занятия русскими «княжеств», т.-е. теперешней Румынии. Но уже тогда этот вопрос был на втором плане—ибо имелось в виду, опять-таки завладение проливами, что гораздо радикальнее разрешало задачу. Потеряв, по Парижскому миру 1856 г., устья Дуная, Россия к этой узкой постановке вопроса более и не возвращалась: держа в руках Босфор и Дарданеллы, ничего не стоит зажать в кулак не только Румынию или Болгарию (Сербия уже сидит в нем—и по иным причинам), а и Венгрию, в любой момент отрезав дешевый водный путь их пшенице на Запад. Наполеон I говорил, что Константинополь—это господство над миром; тут, конечно, есть страшное преувеличение—хотя нужно припомнить, что во времена Наполеона I мир был не так велик, как теперь—ни Дальнего Востока, ни Австралии, ни даже Южной Америки тогда, практически, не существовало. Но если мы скажем, что Константинополь—это господство над юго-восточной Европой, от Адриатического моря до р. Прута и от Эгейского моря до Карпат, мы будем в пределах строгой историко-географической истины. И это будет господство, прежде всего, именно русского помещика—русский мануфактурист придет туда лишь вслед за ним.

Это—главный, но не единственный вывод, который приходится сделать. Другой вывод — несостоятельность той легенды, которая изображает прусского юнкера и русского помещика как неразрывных друзей, сообща умышляющих



против свободы русского народа. Из аналогии социальных интересов обоих классов, каждого у себя дома, заключили к тождеству их интересов в международных отношениях — забывая, что ведь, например, и интересы английской и германской буржуазии, каждой у себя дома, тоже одинаковы, но о закадычной их дружбе и о совместной их борьбе против германской и английского социализма что-то не слышать. Дополнив эту поверхностную аналогию еще более поверхностными наблюдениями над ролью людей немецкого происхождения (а иногда только с немецкими именами) в российской реакции и кое-какими анекдотами из времен раннего детства русского либерализма (вроде того, что Бисмарк «отсоветовал» Александру III «дать конституцию»), состряпали нечто, именуемое «реакционным влиянием Германии на Россию» и помогающее российским соц.-патриотам укрывать свою наготу. На самом деле русская реакция есть всецело продукт местных социально-экономических условий и если получала более или менее осязательную поддержку со стороны, то отнюдь не со стороны Германии, а со стороны государств, ныне выступивших на защиту «свободы и цивилизации». По части же умения «делать реакцию», можно быть уверенным, прусский юнкер, облизываясь, смотрел на своего русского собрата, а не наоборот. Что такое был исключительный закон против социалистов сравнительно со столыпинщиной? Почти-приятный легкий ветерок сравнительно с ураганом!<sup>1</sup>

Но, скажут нам, что вы все о реакции да о реакции? Ведь заинтересованный в «крепких» хлебных ценах помещик есть представитель капиталистического сельского хозяйства. Именно люди его типа в 1861 г. «освободили» крестьян. Торжество этого типа теперь должно повести к торжеству буржуазных отношений в русской деревне — к прогрессу, а не к реакции. Так, кажется, склонен смотреть на дело, например, автор цитированной нами статьи о развитии русского сельского хозяйства (в «Neue Zeit»). Для ответа на этот вопрос совершенно недостаточно указать на тот факт, что и прусский помещик является представителем капиталистического сельского хозяйства и притом стал

<sup>1</sup> Переписка Николая Романова с бывшим германским императором Вильгельмом как нельзя более подкрепляет эту характеристику русско-германских отношений. Из них совершенно ясно вытекает, что поддержку русской реакции — поддержку, которой больше хвастались, чем на деле ее практиковали, — Вильгельм оказывал вовсе не по внутренне-политическим мотивам, как ни было глубоко и искренно его чернотенство, а исключительно по соображениям внешней политики. Как в Париже покупали благорасположение Александра III травлей русских «нигилистов», так в Берлине домогались симпатий его сына инсценировкой кенигсбергского процесса и т. п. А целью было, во втором случае, оторвать Россию от Англии.

таковым гораздо раньше русского. Но германские с.-д. что-то не очень довольны прусским «прогрессом». Да не только прусские — и наши остзейские бароны давным-давно стали на дорогу сельскохозяйственного капитализма, с конца XVIII века служа в этом примером и образцом русскому дворянству. Насчет же их социальной и политической прогрессивности можно навести справки у латышских товарищей. Самое большее, чего можно ожидать от русского капиталистического землевладения, это отказа от попыток восстановить крепостное право, имевших место в 1880-х годах. Но для русской демократии русский помещик всегда останется таким же непримиримым врагом, каким был его отдаленный прототип, «рыцарь» конца средневековья, для свободной городской коммуны.

Средневековый рыцарь имел постоянного спутника, без которого невозможно себе представить его походов, «крестовых» и простых. Этим спутником был ростовщик. Не всегда еврей, он, однако, не был обязательно и христианином, — а иногда был даже еретик; но самые благочестивые предприятия, вроде обращения к истинной вере, в XIII в., южной Франции, где жители осмеливались верить не так, как предписывали папа и «христианнейший» французский король, не обходились без его участия. Русский рыцарь, в своем крестовом походе против германских хлебных пошлин, не мог обойтись без этого вечного спутника, хотя спутник был и иной веры: царская Россия не могла обойтись (без республиканской Франции. Мы видели, как относилась к вопросу о войне с Германией французская промышленная буржуазия, но мы видели также, что ее голос, выражая дело арифметически, весил менее  $\frac{1}{5}$  всего веса французского капитализма,  $\frac{4}{5}$  веса и влияния принадлежали парижской биржевой олигархии. Мы употребляем термин «парижской», а не «французской», местный, а не национальный, потому, что парижская биржа, хотя и управляет Францией, есть в сущности учреждение интернациональное. Перед самой войной одною из виднейших фигур на ней был некий Розенберг — не только не француз по происхождению, но даже австрийский подданный. А представителем этой биржи при закладке русско-французского союза, в 1880-х г.г., было лицо датского происхождения — недавно умерший банкир Госкье, «вниманию» которого, как говорила одна газета в его некрологе, «Александр III рекомендовал своих детей». В лице Госкье парижская биржа стала, таким образом, своего рода опекуном Николая II: могла ли она выдать вверенного ее попечению сироту русским «нигилистам»? События 1906 г., когда республиканская и демократическая Франция помогла дворянской реакции задушить русскую демократию, могли показаться странными только людям, не посвященным в

эту интимную сторону дела. Недавно кстати вспомнили, что тем лицом, которое дало окончательное благословение на участие «еретиков» в крестовом походе, был не кто другой, как теперешний президент французской республики, г. Пуанкаре. От него, тогда министра финансов, зависело допустить или не допустить русский заем на парижский рынок без санкции Государственной думы. Были, даже среди французских политических деятелей, люди, которым казалось зазорным в разгаре русской революции прямо объявить себя на стороне деспотизма, которым хотелось выдержать фикцию союза с русским народом, а не с русским правительством. Но г. Пуанкаре показал себя человеком положительным и чуждым всяких фикций: «сироте» был оказан личный кредит, безо всяких ограничений, и ему только дружески посоветовали, дабы окончательно зажать рот людям неблагонамеренным, все-таки созвать Думу, хотя согласия ее на заем и не требуется. В «Петрограде» поняли, что без некоторых аппаратов и г. Пуанкаре обойтись не может — и комедия первой Думы была проделана. К счастью, Дума оказалась довольно ручной, и по поводу займа даже не мякнула (а кадеты усвоили и распространяли даже теорию о совершенной конституционности этого займа). Но события совсем недавние, 1912—13 г.г., показали, что, в случае надобности, французская дипломатия и парижская биржа сумели бы, ради благого дела, перешагнуть и через формальный протест российского «народного представительства». Когда консорциум шести держав согласился, весной 1913 г., дать займы 625 миллионов фр. китайскому Столыпину, Юаншикаю, обе палаты китайского парламента, подавляющим большинством, выразили протест против этого займа, торжественно объявив, что китайский народ никогда не будет считать себя связанным этим обязательством. После этого Соединенные Штаты ушли из консорциума, заявив, что на таких условиях американские деньги не даются. Германия и Япония были членами консорциума лишь формально, при чем первая «частным образом» поддерживала Юаншикаю, а вторая, не менее «частным образом», — китайских республиканцев. На сцене оставались, по существу, теперешние защитники «свободы и цивилизации» — Англия, Франция и Россия. Точка зрения защитников свободы нашла себе выражение в официальном документе, подписанном Пишоном, тогда министром иностранных дел французской республики, где говорилось, что французское правительство совершенно согласно с китайским правительством, т.-е. с Юаншикаем, относительно значения этого займа<sup>1</sup>. Китай-

<sup>1</sup> Полностью этот знаменитый документ см. у Farjanel «A travers la révolution chinoise», p. 346.

ский Столыпин получил деньги в полное свое распоряжение и, как свидетельствует находившийся на его службе германский офицер, только благодаря этим деньгам смог подавить китайскую революцию<sup>1</sup>.

Цитированный нами французский автор не оставляет никаких сомнений относительно мотивов, руководивших кабинетом, к которому принадлежал г. Пишон. Он прямо указывает, что французская дипломатия и парижские банки были в этом темном деле орудием России, опасавшейся, во-первых, что утверждение республиканского строя в Китае может дурно повлиять на Сибирь, и без того плохо зарекомендовавшую себя в 1905 г., а во-вторых, что республиканский Китай не отдаст России Монголию и вообще не будет столь легким объектом грабежа, как Китай императорский. Последнее и оправдалось — против аннексии Монголии китайский парламент протестовал столь же решительно, как и против займа, что и было ближайшим поводом к окончательному разгону парламента<sup>2</sup>. Инициатива, как и в средние века, принадлежала «рыцарю»... И эта аттитюда осталась типической. Просматривая «Желтую книгу», вы тщетно будете искать каких-нибудь следов того, что, мобилизуя свою армию в конце июля 1914 г., русское правительство посоветовалось с «дружественной и союзной» республикой. Между тем, мобилизация означала войну — это было ясно само собой, это сделалось яснее дня после немедленно же последовавших заявлений германского правительства. Едва ли на всем протяжении новейшей европейской истории мы найдем что-либо подобное — аналогией могло бы служить разве отношение Австрии и Пруссии к Наполеону I в 1812 г. Но ни Австрия, ни Пруссия тех дней по крайней мере не называли себя демократиями... На этом примере мы с чрезвычайной яркостью видим, кто кого держит в руках, кредитор должника—или должник кредитора. Пятнадцать миллиардов французских денег, помещенных в предприятие, именуемое русским царизмом, обязывали — но не царизм—считаться с мнением французского народа, а этот последний—беспрекословно подчиняться интересам царизма.

Французы, вопреки их исторической репутации, народ «очень кроткий», по справедливому определению одного прусского тюремщика, стерегущего французских пленных<sup>3</sup>. Без всякого преувеличения, нет народа, которым было бы легче управлять и который меньшего требовал бы от своего

<sup>1</sup> Erich v. Solzmann «Das revolutionäre China».

<sup>2</sup> Farjanel, ib. 297 и сл., стр. 354—6.

<sup>3</sup> См. «Parmi les prisonniers de guerre», Ибанеца де Рибера в «Echo de Paris» от 3 апреля 1915 г.

правительства, чем современные французы. Мы, русские, в этом отношении сравнительно с ними образец требовательности и дерзости. Неверная сама по себе теория Токвиля, утверждавшая, что, чем демократизованнее общество, тем сильнее центральная власть, очень верно схватила основную черту мелкобуржуазной французской демократии. Но, тем не менее, было бы не осторожно только одной, столетием полицейского гнета воспитанной, «кротости» французского мелкого буржуа приписывать ту покорность, с которой он пошел на повторение всех ужасов «страшного года» из-за совершенно ему чуждых интересов парижских банков и русского дворянина. Если в пролетарских и крестьянских кругах война была «принята» как неизбежное бедствие — пишущий эти строки сам живет в маленьком крестьянско-пролетарском центре и может говорить здесь по личным наблюдениям, — то среди городской мелкой буржуазии, особенно среди мелкой буржуазии Парижа, по общим отзывам, война была популярна. Иначе парижская биржевая пресса, которая два года выла «к войне», как собака воеет к покойнику, быстро потеряла бы свой миллионный тираж, а газеты, ведшие пацифистскую линию (как тогдашнее «L'Humanité»), приобрели бы его, а этого не случилось. Неточно, правда, выразиться, что была популярна война: правильнее сказать, что был крайне непопулярен немец. И это отчасти устраняет то объяснение русофильского шовинизма мелкой буржуазии, которое, вероятно, уже пришло в голову читателю: объяснение от распространенности в этом именно кругу русской ренты. Держатель русской ренты мог не желать русского разгрома, — это так; но что же могло побудить его желать разгрома Германии? Почему ключевой нотой газетной травли было не «защищать Россию» (на нее пока что никто ведь и не нападал), а «воевать с немцами»? С другой стороны, как ни просты держатели русской ренты, не могли же они не понять, что европейская война резко обесценит всякую ренту вообще, в том числе и русскую. Можно было не предвидеть «финансового Седана» 24 июля 1914 г., но вообще страшный переполох на бирже в связи с войной предвидел всякий. Нет, шовинизм не рантьееское настроение. Подкладка была, несомненно, другая — ее освещают кое-какие цифры французского ввоза и вывоза за последнее десятилетие. Более или менее широко известно, что знаменитые articles de Paris (игрушки, мелкие изделия из мишуры и т. п.) в значительной части производятся теперь в Германии — как и дешевые сорта шампанского. Но едва ли так же хорошо знаком всем тот факт, что articles de Paris являются предметом обширного ввоза в самую Францию, притом ввоза, растущего в гигантских размерах. Еще в

1903 г. этот ввоз достигал только 7½ милл. фр., а в 1912 г. уже 85 милл. фр.! Германские фабрики засыпали парижского ремесленника его же товаром, притом более дешевым и лучше сделанным. В нашем детстве, бывало, какую радость доставляла «игрушка из Парижа», всегда занятая, всегда изящная. Теперь парижские дети не знают других игрушек, кроме немецких — и по случаю Noël (Рождества) 1914 г. пришлось отступить от строгого обета не торговать ничем немецким: иначе французским отцам нечего было бы подарить детям к празднику. Жорес, быть может, и сам не подзревал, какой глубокой экономической истиной был его афоризм, гласивший, что французское немецество есть «ненависть мелкого лавочника к большому магазину». Великого оратора не успели еще похоронить, как афоризм его стал историей — и парижская толпа, по науськиванию мелких молочников громившая капиталистические молочные Маджи, в одном образе воплотила то, что было «народного» в этой антинародной войне.

Как видим, политика Пуанкаре и К<sup>о</sup> имеет пока что — пока не исчезли надежды на победу — прочный фундамент в очень широком слое французской, а в особенности парижской народной массы. Очень важно, что именно парижской: вопреки распространному предрассудку, Париж, с тех пор как он стал мировым биржевым центром, более, чем когда-либо, есть мозг и сердце Франции. Легенда о том, будто Париж «потерял свое значение», относится, повидимому, к тем десятилетиям, которые непосредственно следовали за расстрелом коммуны 1871 г., и пущена в ход едва ли не реакционными кругами: им приятно было думать — еще приятнее заставить думать других, — что они расстреляли не лучшую часть французской нации, а всего только «взбунтовавшуюся чернь» одного из французских городов. На самом деле «кровавая неделя» обезглавила именно всю демократическую Францию — и анемия французского демократизма ведет начало именно с этой поры. Самостоятельную политическую жизнь и самостоятельную прессу имеет только юг Франции: вся остальная страна живет мыслями и газетами Парижа. Если правда, что немцы представляли себе, будто об'явление войны вызвало революцию в Париже, они правильно оценивали значение города, но обнаруживали крайнюю степень неведения относительно действительных настроений парижан. Эти настроения таковы, что для правительства Пуанкаре опасно не продолжение войны — опасен был бы мирный трактат, который закрепил бы преобладание Германии на французском рынке<sup>1</sup>. Кажется,

<sup>1</sup> Мы намеренно «выводим за скобку» французский пролетариат. Война достаточно показала слабую его организованность и идеологиче-

теперь немцы это поняли и не пытаются более положить конец войне разгромом армии Жоффра. Победы на Нареве могут гораздо быстрее привести к такому миру, какой им нужен, чем победы на Эне или на Марне<sup>1</sup>.

Но мы отвлеклись в сторону — взялись говорить о прошедшем, а не о будущем. Была ли роль самой парижской биржи такой пассивной, как может показаться из предыдущего? Ростовщик идет за рыцарем не только потому, что последний много ему должен и может «погубить» ростовщика, отказавшись платить. Эта опасность — русского банкротства — могла руководить парижской биржевой олигархией в 1906 г. В 1914 г. не было надобности в таких, можно сказать, «предельных» мотивах. Обыкновенно рассматривают тот факт, что война началась из-за Сербии, как нечто случайное с точки зрения интересов «Тройственного соглашения» в его целом. Английский посол Бьюкенен, в первую минуту после австрийского ультиматума, заявил было даже в Петербурге, что Англия никаких интересов в Сербии не имеет. Он или был плохо осведомлен или говорил неправду «по дипломатическим соображениям». На самом деле экономические интересы Англии и Франции в Сербском королевстве крупные интересы России. В то время как английский ввоз в Сербию составляет 13,4% всего ввоза, а французский 4,2%, России принадлежит лишь 2,1%. Но главное не это. Весь государственный долг Сербии помещен на французском рынке — в виде одних % по нему французский капитал получает 32 миллиона динаров (франков), что составляет более  $\frac{1}{4}$  всего сербского бюджета. Исправная уплата процентов обеспечивается государственными монополиями, которые распространяются на табак, соль, спички и алкоголь: заведывание этими монополиями находится в руках особого совета, состоящего из 4 сербов и 2 французов. Вся индустрия этой мало-индустриальной страны работает на Францию — и она же является рынком для французской индустрии: кому не известна роль пушек Шнейдера-Крезо в балканских победах сербской армии, когда кто-то в шутку сделал предположение, что вся война затеяна ради рекламы этим пушкам — так кричали о них французские газеты? Мы видим, как нелепый с нашей точки зрения панславизм может стать в руках умных людей превыгодным делом: нужно ли говорить, что Франция сделалась хозяйкой Сербии как союзница России? И сделалась насчет противницы этой последней, Австро-Венгрии. Было время, когда австрийцы

скую зависимость от мелкой буржуазии. Сам он, несомненно, не двинется — толчок должен быть дан со стороны, из Англии, например.

<sup>1</sup> Писано весной 1915 г.

были такими же хозяевами в Сербии, как теперь французы: в 1885 г. на Австро-Венгрию приходилось 79,2% всего сербского ввоза. А знаете ли, сколько приходится теперь? Всего 19%! Остальное ушло к англичанам, французам, но больше всего к германцам, которые свой ввоз удесятирили: с 4,5% в 1885 г. поднялись до 41,3 в 1910 (в абсолютных цифрах увеличение еще больше: 2,3 и 35 милл. динар.). Перед нами настоящее, прошедшее и будущее несчастной родины слив (Сербия—главная поставщица чернослива на европейский рынок): старый конкурент, выбитый с рынка и завистливо щелкающий голодными зубами, поглядывая на теперешнего счастливого обладателя, наедающегося пока до отвалу—но уже обеспокоенного появлением нового соперника, еще более хищного и более сильного, чем оба предшествующие.

Самая бескорыстная роль как будто достается рыцарю. «Освободив» Сербию от турок, Россия великодушно предоставляет другим освобождать ее карманы от обременяющих их динаров. Но мы видели уже на других примерах, что «рыцарь» вовсе не такое не-экономическое существо, каким кажется. У его поведения тоже есть экономическая подкладка. Несомненно, во-первых, что Сербия играет роль в общей схеме, центром которой является завладение проливами и Царьградом. Ее положение на среднем Дунае делает из нее великолепный «клин», вбитый в тыл австро-венгерской позиции, обращенной фронтом к России. Нейтралитет Румынии создает чрезвычайно досадный перерыв между главными русскими силами и юго-западным русским форпостом на Дунае. Отсюда стремление во что бы то ни стало вывести Румынию из нейтралитета и сделать из нее союзницу—стремление столь жгучее, что для достижения цели не останавливаются ни перед грубейшим вероломством (отдача Румынии болгарской Силистрии), ни перед личными унижениями (поездка Николая в Констанцу). Когда будущему историку «борьбы за свободу и цивилизацию» придется доказывать, что Россия не готовила войны, по крайней мере против Австрии, уже в 1913 г., объяснение этих фактов представит для него непреодолимые трудности. Недаром союзническая пресса хранит теперь такое мертвое молчание по этому поводу! Средства не достигли цели—румыны взяли подарок, поблагодарили, но дальше нейтралитета (дружественного Австрии и Германии) не пошли<sup>1</sup>. Факты, однако, остаются памятником того, какую важность придавали в «Петрограде» сербско-румынскому клину на случай войны с Австрией. Уже то, что дорога в

<sup>1</sup> Писано в 1915 г.—дальнейшие события вполне оправдали нашу гипотезу.



Царьград, хотя бы отчасти, лежала через Белград, связывает «покровительство» русского царизма Сербии с общим экономическим фоном; но экономика в'едается глубже и дает связи более непосредственные. Соседкой Сербии — об этом иногда забывают — является собственно не Австрия, но Венгрия. Экономические интересы этих двух частей монархии Габсбургов так мало тождественны, что крупная венгерская индустрия ни о чем так не мечтает, как о выходе из австро-венгерского таможенного союза и самостоятельной таможенной границе. Мечты остаются мечтами только потому, что индустриальное развитие Венгрии движется крайне медленно, почему и политическая роль крупного промышленного капитала не велика. По переписи 1910 г. сельскохозяйственное население Венгрии составляло 62,4% всего населения, а промышленное только 25,4%, при чем среди этого последнего на 100 самостоятельных производителей приходилось 225 рабочих: на одного хозяина 2—3 работника—«совершенно средневековое отношение», по справедливому замечанию автора, у которого мы берем эти данные<sup>1</sup>. Венгрия, может быть, самая типичная сейчас в Европе страна крупного землевладения: последнему принадлежит половина всей пахотной земли Венгрии, при чем треть ее находится в руках крупнейших собственников, владеющих каждый, в среднем 1.860 гектарами. Вы чувствуете уже, что перед вами что-то очень похожее на Россию — венгерская податная статистика окончательно укрепит в вас это впечатление. Хотя земля в руках крупных собственников, но платят мелкие: на десятину крестьянской земли приходится около 20 рублей налогов, при чем самое мелкое землевладение, «карликовое», обложено всего тяжелее (около 17 р. с полудесятины). Казалось бы, какая трогательная дружба должна царить между венгерским магнатом и русским помещиком! Но не тут-то было: именно потому, что экономическая физиономия двух стран так схожа, их правящие классы разделяет жестокий антагонизм. Антагонизм этот резче всего проявляется в одном пункте: Венгрия и Россия являются величайшими производительницами сахара в восточной Европе и имеют для него один и тот же внешний рынок: Балканский полуостров и Турцию. При этом сахароварение развивается в Венгрии необычайно быстро. Еще в 1901 г. Венгрия ввозила сахар из Австрии, а в 1905 г. она уже его вывезла на 46 милл. крон; в 1911 г. вывоз достиг 55 милл. крон, а в 1912—109 милл., т.-е. обогнал русский вывоз, давший в этом году всего 36 милл. р. (крона=40 коп.). В следующем

<sup>1</sup> Eug. Varga. «Die Kapitalistische Entwicklung Ungarns u. ihre Hemmungen», «Neue Zeit» 13 ноября 1914.

году русский вывоз сахара упал до 6 милл. р.—мы не знаем, какую роль тут играла Венгрия, так как венгерских данных за этот год у нас нет под руками. Но уже и раньше этого было отчего гр. Бобринскому стать националистом, обратив притом свое патриотическое внимание именно в ту сторону, где венгерский помещик занимается «игнетением славян» и—превращением свекловицы в сахар.

Итак, рыцарь всего менее страдает отсутствием «экономизма» в его политике. Если он отличается здесь от буржуа, то, главным образом, приемами действия. Твердо помня заветы «внеэкономического принуждения» в своем хозяйстве, он убежден, что хороший удар кулака может разрешить и любую международную экономическую проблему. Немец нас бьет хлебными пошлинами? В лепешку немца! Венгерец отбивает у нас сахарный рынок? В порошок венгерца! Г. Пуанкаре, чего вы смотрите? Мобилизуйте ваших зуавов! И г. Пуанкаре мобилизует: не мобилизуешь, рыцарь, чего доброго, обидится и—вывернет карман; поди получай с него тогда по купону! Но если г. Пуанкаре стал в этом случае тоже своего рода объектом «внеэкономического принуждения»—так сказать, по рикошету,—то по ту сторону Ламанша рыцарь нашел родственную душу, отверзшуюся ему не за страх, а от искреннего сочувствия. Когда мы говорим об Англии, нам, по трафарету, усвоенному нами с детства, представляется страна огромных городов и фабричных труб, рабочих и фабрикантов. Мы помним, правда, что в Англии есть не только фабрики, но и замки—не только купцы, но и какие-то «лорды»; но эти литературные лорды представляются нам богатыми чудаками, занимающимися собиранием коллекций, спортом и путешествиями. Палата лордов, всякий знает, «утратила свое значение». Англия—типично буржуазная страна, не то, что какая-нибудь Пруссия с ее юнкерами. Уже литература, однако же, и довольно давно, должна была напомнить, что такая картина чересчур проста. Пишущий эти строки никогда не забудет, как, студентом-филологом, он был поражен, найдя на страницах английской книги о греческой культуре (Магаффи) издевательства над афинской демократией и горячее сочувствие к солдафонам всякого рода, с Александром Македонским во главе. Так не вязалось это с Англией наших юношеских представлений! Появившиеся около того же времени в русском переводе рассказы Киплинга, где та же точка зрения проводилась гораздо тоньше и с огромным художественным талантом, уже широким кругам должны были напомнить, что рядом с «промышленной демократией» существует другая Англия, так же похожая на первую, как средневековый замок на фабрику, тропический пейзаж—на Гайд-парк. Привыкнув к традиционным типам

«англичанина» — банкира, путешественника, инженера, моряка, рабочего, — мы проглядели тип, сопровождающий английскую историю на всем ее протяжении и отнюдь не вымерший. О, далеко не вымерший! Это — тип английского юнкера, со страниц рассказов Киплинга так бурно и — для массы — внезапно ворвавшийся на историческую сцену.

Мы проглядели английского юнкера потому, что не видели в Англии того, без чего, как будто, нельзя себе представить юнкерства, как социального явления. «Рыцарь» немислим без «виллана» — «барин» без «мужика». Где в Англии мужик? Был когда-то — но уже для XVI века можно спорить, встречался ли тогда этот вымирающий тип. А в XVIII, с исчезновением мелкого землевладения, исчезла даже, казалось, экономическая возможность этого типа. Деятнадцатый век знает, в самой Англии, только юридически вполне свободных англичан — откуда бы тут взяться такому феодальному типу, как юнкер? Но, во-первых, далеко не те же свободные отношения существовали уже в соседней Ирландии. Владельцами плантаций Виргинии и Ямайки, где работали тысячи невольников-негров, купленных, как скот, были младшие сыновья тех самых лордов, которые сделали свободными пролетариями последних английских мужиков в XVIII столетии. И в том же XVIII столетии у Англии завелся огромный, коллективный «заморский мужик», в лице цветного населения захваченных ею колоний. Новейшее английское юнкерство воспиталось именно на этом мужике — на египетском феллахе, на негре, в особенности на «индусе» (самое название, как известно, по своему моральному оттенку, сродни нашему «жид»). Как этого «индуса», будь он профессор университета, не пустят в один вагон с «белыми» — будь это безграмотные английские солдаты; как его, будь он почтенный, всеми уважаемый старик, будет третировать, как мальчишку, самый мелкий английский чиновник; как он, сколько ни проливай крови за короля Георга V, никогда не поднимется выше первых офицерских чинов — да и то в «черной пехоте», в «белой» же, английской армии ему никогда не командовать и взводом,<sup>1</sup> — все это мы читали двадцать раз, но как-то никому в голову не приходило спросить себя: на таком положении «подданных», какая же психология должна вырабатываться у «господ»? И когда Китченер с необычайной развязностью выдал русским сыщикам политического изгнанника, мы придумывали

<sup>1</sup> Нельзя забыть комического удивления одного английского публициста, из времен англо-русской полемики по индийскому вопросу, по поводу того, что в России магометанин-кавказец может быть даже генералом! Англичанину это показалось признаком необычайной прогрессивности русских социальных отношений.

для этого самые выпренные и сложные объяснения, вроде того, что Россия ставила выдачу Адамовича чуть ли не непременным условием при заключении военной конвенции,— и нам в голову не приходило, что для Китченера это было так же просто, как расстрелять без суда несколько десятков тысяч восставших негров в Судане или запереть жен и детей буров в концентрационные лагеря, где смертность была 200 на тысячу. В инциденте с Адамовичем характерен был не поступок Китченера—для него это был поступок само собою разумевшийся, — а отношение к этому поступку Асквита и Грея: так им нужен был Китченер, что, когда ему вздумалось дать плюху вековой английской традиции, эту плюху проглотили. Проницательные люди уже тогда могли бы предвидеть превращение британской демократии в «Китченерию»...

То, чего не замечали мы, давно было замечено вождами английской промышленной буржуазии. «Манчестерцы» первой половины XIX столетия с определенной враждой относились к английскому колониализму. «Возможно ли, чтобы мы играли роль палача там (в Индии)», спрашивал Кобден, «и чтобы наш характер при этом не испортился здесь?» Сорок лет спустя, Герб. Спенсер, по поводу незначительных, сравнительно, колониальных экспедиций 70—80-х г.г. (войны из-за Афганистана и т. п.), отмечал упадок вольностей и усиление административного произвола в самой Англии. Но отказаться от колоний и тем вырвать из-под ног у английского юнкера социальную почву—это было выше сил английского капитализма, и мы сейчас увидим, что, чем дальше, тем ему труднее было это сделать. Самое большее, чего достигли «манчестерцы», это самоуправление колоний; идея принадлежит им. Но она имела успех только там, где среди населения колонии преобладали белые—те же выселившиеся англичане: в Австралии, Н. Зеландии, Канаде. Там, где население было «цветное», как в Индии, «самоуправление» не пошло далее жалкой пародии, не лучше той, которую устраивало перед войной и продолжает устраивать теперь русское правительство в Польше. Для того, чтобы понять причины неудачи «манчестерцев», надо представить себе, что такое английский колониальный капитализм, как экономическая сила. Возьмем, напр., Трансвааль, новейшее колониальное приобретение Великобритании. Добыча золота там, с тех пор как Трансвааль перешел в английские руки, увеличилась в два с половиною раза: с 3,8 милл. унций в 1898 г. до 9,1 милл. унций в 1912; ценность добытого в этом последнем году золота составляла 38,7 милл. фунт. стерл. (ок. 380 м. р. по курсу, существовавшему до войны); отдельные золотопромышленные предприятия дали в 1909—10 г.г. 200, 220, 300 и даже 600% дивиденда!

Мудрено ли, что крупнейшие акционеры этих предприятий являются самыми богатыми людьми в Англии и даже во всем свете, побивая рекорд всех американских миллиардеров, кроме Рокфеллера? Из Индии Англия получает ежегодно 19,8 милл. ф. ст. в виде только жалованья и пенсий английских чиновников; кроме того, ее торговый «барыш»—перевес английского ввоза над индийским вывозом в Англию—в 1912—13 г. составил 27 милл. фунтов; итого почти полмиллиарда рублей «чистого дохода», не считая дивидендов от английских капиталов, помещенных в Индии (к концу 1911 г. более 120 милл. фунт.), и процентов индийского долга, помещенного в Англии (около 180 милл. ф.). Если мы оценим всю «доходность» Индии для Англии в 600 милл. руб., это будет скорее мало, чем много, а чтобы нагляднее представить себе дело, припомним, что приблизительно такую сумму составляет общая ценность русского хлебного вывоза (в 1913 г. 589,9 милл. р.). Потеряв Индию, Англия потеряла бы—абсолютно, а не относительно, конечно—столько же, сколько потеряла бы Россия, лишившись возможности вывозить за границу хотя бы один пуд хлеба. Между тем, мы видели, Россия готова была воевать и воюет теперь из-за одних только хлебных пошлин, составлявших, при самых низких ценах на хлеб, только треть его цен, а теперь, при относительно «крепких» ценах, гораздо менее. Как же английскому колониальному капитализму не воевать за Индию? Ибо для Англии настоящая война является именно войною за Индию, войною «предупредительной», совершенно так же, как для Германии было «предупредительной» войной нападение на Россию и Францию в июле 1914 г.

Настоящую англо-германскую войну можно понять только из колониальных отношений и, прежде всего, из англо-индийских интересов. Легенда о промышленном соперничестве Германии, которая якобы «душит» великобританскую индустрию, давно опровергнута в литературе<sup>1</sup>. Этот предрассудок сложился в последние годы XIX и в первые нынешнего столетия, когда, действительно, в английском экспорте наблюдался некоторый застой: за пятилетие 1900—1904 г. г. он никак не мог выйти за пределы 300 милл. фунтов ст. Но с этих пор он поднялся в 1910 г. до 430 милл. ф., а в 1913—до 525 милл. ф. Если мы возьмем цифру 1904 г. за 100, увеличение будет 75%; германский вывоз за

<sup>1</sup> См., между прочим, брошюру т. Волонтера (Павловича) «La guerre imprevue». Paris. 1913. Ошибка Волонтера заключалась в том, что он совершенно игнорировал колониальный капитализм и его влияние на английскую внешнюю политику, но, утверждая, что война не нужна английской промышленности, он был совершенно прав.

это время увеличился лишь немногим более (на 86%), а американский даже менее (см. 62%). Если уж кому воевать из-за «соперничества», то скорее бы американцам с немцами! Правда, мы видели выше, что в области специально англо-германского обмена отношение все более и более менялось в пользу германцев. Это особенно рельефно сказывается на некоторых статьях, наиболее типичных для высших ступеней капиталистического развития. Еще в 1908 г. Англия ввезла в Германию машин на 2,1 милл. ф. ст., а получила машин из Германии всего на 828 тыс. ф. ст., а в 1912 г. Англия осталась, приблизительно, на прежней цифре, тогда как Германия увеличила ввоз своих машин в Англию до 2,4 милл. ф. ст., обогнав англичан на 12%. Все это, конечно, давало материал для будущей та м о ж е н н о й войны, ибо прямо стрелять в подобных случаях не начинали даже при Людовике XIV—и тогда били друг друга сначала пошлинами, а потом уже ядрами. Мы видели, что даже прусский и русский «рыцари» до ядер дошли далеко не сразу. Пока Англия не перешла к протекционизму, на этой почве пороком еще не пахло. Что касается других отраслей английской промышленности, то здесь дело обстояло для «джингоизма»<sup>1</sup> еще более плачевно. Английская текстильная индустрия, например, совершенно не может обойтись без немецких красок, настолько не может, что, запретив на время войны торговые сношения с немцами, английское правительство вынуждено было оставить лазейку, разрешив сделки с немецкими фирмами, оперирующими в нейтральных странах. Это дало возможность англичанам покупать краски через Голландию, а немцам—расплачиваться со своими шведскими поставщиками английскими соверенами... По словам корреспонденции, столь мало подозрительной стороны искренности своего союзнического патриотизма, газеты, как «*Matin*», английская средняя буржуазия еще в декабре очень прохладно относилась к войне—энтузиазм проявляло только всегда и всюду «патриотическое» мелкое мещанство (в Англии его джингоизм бил в глаза еще во время бурской войны, 1899—901 г. г.), да ами «юнкера» еще, конечно; энтузиазм этих последних не шел, впрочем, дальше таких, чисто внешних, проявлений, как поголовное облачение в хаки всей «золотой» молодежи. Но даже корреспондент «*Matin*» не мог не отметить, что наблюдать это хаки ему пришлось не в траншеях, а в Ковентгарденском театре. В другой связи фактов, то же наблюдение подтверждает и цитированный нами ранее, не менее правоверный,

<sup>1</sup> Так, как известно, называется воинствующий английский капитализм—от одной песенки времен лорда Биконсфильда, каждый куплет которой кончался припевом: «*By Jingo*».

историк «происхождения европейской войны». Объясняя значение германского ультиматума Бельгии, он говорит или, если хотите, проговаривается, что без этого ультиматума из кабинета Асквита ушли бы не только три опротестовавшие объявление войны министра, но и еще четыре (он называет имена)—т.-е. попытка воевать вызвала бы распадение либерального министерства<sup>1</sup>. Так мало решительно была настроена английская буржуазия буквально накануне войны, которую нам хотят изобразить поединком на смерть между Англией и Германией!

Без колебаний за войну с самого начала стояло консервативное крыло министерства Асквита — т.-е. прежде всего Грей. Так как нас совершенно не интересует вопрос об индивидуальных ответственностях, то мы не станем утомлять читателя документальными доказательствами этого положения—укажем лишь, что его не отрицает и только что цитированный нами правоверный историк. Он прямо называет сдержанность Грея «официальной» и противопоставляет его точку зрения точке зрения «радикальной и пацифистской прессы»<sup>2</sup>. Что он объясняет воинственные намерения Грея его лучшей осведомленностью относительно коварных планов Германии, не меняет дела. Грей хотел воевать— только ли в июле 1914 г., или уже и раньше, это опять вопрос второстепенный. Для нас важны два вопроса: во-первых, что толкало на войну ту общественную группу, которая стояла за Греем и которую мы выше обозначали, как «юнкерство»; во-вторых, что толкало английскую промышленную буржуазию, войны не желавшую и не могшую ее желать, под иго «юнкеров»? Легче всего ответить на первый вопрос. Вопрос о Константинополе и проливах, такой жгучий в дни Биконсфильда, русско-турецкой войны 1877 г. и Берлинского конгресса, утратил, казалось, всякую остроту к концу XIX столетия. Руководитель английской иностранной политики тех дней, Салисбери, публично заявил, что Англии все равно, кто будет владеть Константинополем. Но прошло еще немного лет—и картина снова резко изменилась. Причиной перемены были два новых факта, внешним образом, казалось, не имевших между собою ничего общего, а внутренне, на самом деле, тесно между собою связанных: Багдадская железная дорога и турецкая революция. Владея Суэцким каналом, Англия была монополисткой на путях, ведущих из Европы в Индию. Единственной соперницей могла быть Россия; но уже в те годы, когда были сказаны приведенные слова Салисбери, наметилась ее новая ориентировка — не к Индии, а к Китаю. Японская

<sup>1</sup> Aug. Gauvain. «Les origines de la guerre européenne», p. 159.

<sup>2</sup> Ibid., 158.

война, в комбинации с англо-японским союзом, обезвредила ее, казалось, совершенно: ведь, по условиям союза, в Индии русские должны были встретить ту самую японскую армию, которая только что нанесла им такие жестокие удары на полях Манчжурии. Россия это поняла — отсюда соглашение 1907 г. навсегда, казалось бы, покончившее с русской опасностью для Индии (действительно ли навсегда — это покажет, конечно, лишь будущее). Но когда заключалось это соглашение, налицо была уже другая опасность: в 1903 г. «Анатолийское общество железных дорог», создание «Немецкого Банка», получило концессию на постройку железного пути от Босфора до Персидского залива. Значение нового предприятия сразу же оценили и пангерманская журналистика, и британская дипломатия. Первая (в лице Рорбаха, Гильдебранда и др.) поспешила, со свойственной ей шумливой экспансивностью, провозгласить, что, владея новым железным путем, крупная военная держава может в любой момент перехватить Суэцкий канал и достигнуть Индии быстрее, чем какою бы то ни было из существовавших дорог. Вторая, в очень сдержанных, но тем более твердых выражениях заявила, что именно поэтому она никогда и не допустит немецкую колею дойти до ее естественного географического конца. «Я не колеблюсь заявить, что британское правительство рассматривало бы устройство другой державой на Персидском заливе морской базы и укрепленного порта, как серьезную угрозу британским интересам и что оно воспротивилось бы этому устройству всеми имеющимися в его распоряжении средствами», говорил в палате лордов еще предшественник Грея, Лэнздоун<sup>1</sup>. Сам Грей вполне разделял эту точку зрения. «Наша политика в Персидском заливе не является политикой завоевательной», говорил он в палате общин 1 марта 1911 г. «Мы не стремимся ни к приобретению новых территорий, ни к изменению существующего порядка вещей. Но если бы другие попробовали изменить этот порядок вещей, тогда, разумеется, мы должны были бы пустить в ход все наши средства, чтобы удержать в неприкосновенности нашу позицию на берегах Персидского залива».

Когда были сказаны эти слова, «все средства», в сущности, уже были пущены в ход, кроме последнего — пушек. Наиболее неприятным для Англии «изменением существующего порядка вещей» было бы, прежде всего, превращение самой Турции в сильную военную державу. В «существующий порядок», на правах железного инвентаря, входила

<sup>1</sup> Iitch. «Le chemin de fer de Bagdad. Bruxelles». 1913, p. 92. Для остальных актов см. его же.



Турция Абдул-Гамида — идеальная система самообороны правительства против своего собственного народа, исключавшая всякую мысль о возможности обороны против народов чужих. Пока пользоваться этой системой было английской монополией, все шло к лучшему в лучшем из миров. Но когда системой стали пользоваться немцы, это уже было, конечно, изменение существующего порядка. Гамид был свергнут при явном сочувствии и, повидимому, тайной поддержке Англии и Франции. Но у власти стали, вопреки ожиданиям этих держав, не младотурецкие эмигранты, с которыми велись все переговоры, а «турецкие декабристы» — офицерство восставшей армии, ученики фон-дер-Гольца. Экзекуция Абдул-Гамида пошла на пользу — немцам! Тогда начали пускаться в ход «средства», одно экстреннее другого. Сначала была предпринята попытка контр-революции (весна 1909 г.), она кончилась полным крахом. Тогда под прямым английским влиянием организована была итальянская экспедиция в Триполи, одним камнем убившая трех зайцев: Италия вышла фактически из «Тройственного союза» (где, по бумажным расчетам, предшествовавшим войне, только она и давала на поле битвы перевес Германии и Австрии против Франции и России), турки были выбиты с северного берега Африки—и Египет, таким образом, освободился от опасности быть охваченным с обоих флангов—и, наконец, был дискредитирован младо-турецкий режим, оказавшийся неспособным сохранить цельность оттоманской территории, что удавалось даже Абдул-Гамиду. Под непосредственным впечатлением Триполи, младо-турки, действительно, должны были уступить место сомнительного происхождения «либералам», которые все почему-то оказывались бывшими камергерями и генералами Абдул-Гамида. Но тут взорвалась австро-германская контр-мина: царь Фердинанд, с несравненным искусством ведущий двойную игру, импровизировал балканскую коалицию так, что русские считали его действующим в их пользу, а немцы—в их... Англичане уже на этом примере должны были бы убедиться, как опасно полагаться на Россию. Под натиском балканцев «либеральный» режим пал с еще большим треском, чем его предшественник, и у власти опять оказались младо-турки, а рядом с ним опять появился немецкий генерал. Ничего не оставалось, как прибегнуть к последнему средству. Чтобы по возможности обеспечить себя—опыт 1912 г. все же был учтен,—атаковали непосредственно Германию, а не Турцию: у России не было прямого предложения поднять вопрос о Константинополе. Но выдвинуть на арену теперь и этот вопрос было до такой степени в интересах немцев, что участие турок в войне можно было предска-

зять с самого начала. Характерно, что этого врага англичае всеми силами старались не замечать как можно дольше. И лишь когда турки появились на Суэцком канале, англичане повели с ними серьезную войну, атаковав Дарданеллы.

Спрашивается, насколько реальна была та опасность, которая заставила миролюбивого сэра Эд. Грея прибегнуть к пушкам? Действительно ли немцы пробивались к Персидскому заливу, чтобы угрожать Индии? Если мы от пангерманской журналистики перейдем к деловым отношениям, мы наткнемся там, прежде всего, на тот удивительный факт, что Германия чрезвычайно легко уступила Англии как раз в этом пункте: конвенцией 21 марта 1911 г. «Анатолийское общество» отказалось от предоставленного ему концессией 1903 г. права построить путь от Багдада до Бассоры на Персидском заливе; немецкая колея кончалась теперь в Багдаде. Затем, если турецкая сухопутная армия была в руках германского генерала, то флотом командовал английский адмирал, и новые дредноуты были заказаны на английских верфях (благодаря чему в войне они и участвуют под британским флагом). Неужели мало было этих гарантий? Тут нам надо припомнить, что ведь и проекты русского похода на Индию, до 1878 г., были как нельзя более проблематичны; английские публицисты умели рассказать о них гораздо более, чем могли бы это сделать русские дипломаты и генералы. Но «русская опасность» помогала десять лет держаться у власти консервативному кабинету; это был своего рода военно-дипломатический рудник, дававший, в своей области, не меньшие дивиденды, чем сама Индия. Картина русского войска, идущего на Индию, была нужна по соображениям внутренней английской политики; картина готовой напасть на Индию Германии понадобилась из тех же соображений.

Последние годы отмечены в английской политической жизни резким обострением классовой борьбы. В то время как среднее число стачечников в семилетие 1901—1907 г.г. равнялось всего 157 тысячам, мы имеем в 1911 г. 962 тысячи стачечников, в 1912—1.463 тыс., в 1913—677 тыс. В то же время рабочее движение принимает все более и более опасный для предпринимателей характер. Его отличительной чертой в Англии в прежнее время была крайняя раздробленность. Исторически сложившиеся рабочие союзы охватывали нередко лишь десятки членов, не выходя за пределы одного небольшого города. Такая форма союзов предоставляла бесчисленные удобства предпринимателям: с ними легко было столкываться, их легко было натравливать друг против друга, наконец, они великолепно маскировали от рабочего сущность его борьбы с предпринима-

телями, как борьбы классово́й. Ничто лучше не мешало проникновению социалистических идей в среду английских рабочих, как подобная организация. В последние годы, наряду с развитием социалистической пропаганды, резко меняется и это условие. В 1900 г. к английским рабочим союзам принадлежало 1.971 тыс. человек, при чем в среднем на союз приходилось 1.520 членов; всех союзов было 1.295. В 1912 г. союзов было уже только 1.134, но они охватывали 3,281 тыс. рабочих—на 1 союз приходилось уже 2.890 членов. Рабочую партию поддерживали, т.-е. признавали необходимость самостоятельного политического представительства рабочих—в 1900 г. 41 союз с 353 тыс. членов, в 1912 г. 130 союзов с 1.858 тыс. членов<sup>1</sup>. Все это, вместе взятое, привело к тому, что от прежней благодушной патриархальности не осталось и следа. Предприниматель почувствовал себя настолько «обеспокоенным», что в 1913 г. оказалось возможно образование «всеобщего союза английских предпринимателей», с капиталом в 50 милл. фунтов (полмиллиарда рублей) и главной задачей бороться с рабочим движением. Наиболее решительные члены этого союза уже договаривались до необходимости применения «южно-африканских» средств борьбы—заклучавшихся, как известно, в произвольных арестах и применении вооруженной силы против стачечников. Рабочие отвечали на это тем, что во время последних забастовок организовывались уже не только экономически—и в лондонских парках можно было видеть тысячи стачечников, по команде марширующих и выполняющих различные военные эволюции... Военная сила и военные люди приобрели вдруг такое значение в английской «внутренней политике», какого они не имели со времени рабочих бунтов первой половины XIX столетия, и одетое в мундиры «юнкерство» тотчас же учло этот факт: весной 1914 г. армия отказалась идти против ульстерских черносотенцев, отказавшихся признать ирландский гом-руль (политическую автономию Ирландии), лишивший их привилегированного положения в стране, и правительство, представляющее большинство народного представительства, самым унижительным образом склонилось перед решением «армии», т.-е., в сущности, юнкерской касты. Так оправдались сказанные за несколько месяцев перед тем слова вождя консервативной оппозиции. Бонара Лоу, что есть вещи, «которые сильнее парламентского большинства». Опирающееся на вооруженную силу юнкерство оказалось сильнее парламентского министерства. Оставалось создать такое положение, при котором армия

<sup>1</sup> Для всего предыдущего см. Aug. Mai «Neue Tendenzen in d. englischen Arbeiterbewegung». Neue Zeit 10 июля 1914.

стала бы на место народа. Что могло лучше отвечать этой цели, чем война?

Война осуществила чаяния юнкерства в большей мере, чем оно само могло ожидать. Англия оказалась отброшенной по ту сторону парламентской реформы 1832 г.: палата лордов опять стала «первой» палатой, палата общин отошла на второе место. В январе (1915 года), когда палата общин не заседала, «пэры» фактически управляли Англией. Китченер и Грей не без аффектации предпочитают давать свои объяснения именно им, предоставляя разговаривать с «комонерами» оставленному за штатом Асквиту. В области рабочего законодательства дело дошло уже до милитаризации: Китченер формирует батальоны докеров, подчиненные военной дисциплине. Отменены такие элементарные меры, как запрещение ночного труда для женщин, при чем в Англии это «нововведение» отнюдь не может быть поставлено на одну доску с германским: в Германии, благодаря всеобщей воинской повинности, взявшей под ружье сейчас не менее  $\frac{3}{4}$  мужского населения в рабочем возрасте, действительно может ощущаться недостаток в рабочих руках; в Англии всеобщей воинской повинности пока нет, волонтерами идут, главным образом, безработные, и предложение труда настолько еще превышает спрос, что английские предприниматели находят еще возможность понижать заработную плату, несмотря на увеличивающуюся все более и более дороговизну жизни; в Англии поэтому «разрешение» ночного труда для женщин есть чисто реакционная мера, напоминающая рабочему, что с ним более «не церемонятся». Одновременно с этим в политической области на очереди вопрос о введении предварительной цензуры по французскому образцу<sup>1</sup>. Если бы политика Китченера удалась, Англия очень мало отличалась бы от Пруссии: превосходный результат борьбы с «прусским милитаризмом!» Но объективная экономическая действительность оказывается сильнее юнкерских вождельний. Оглушенный неожиданно надвинувшейся войной, которая для Англии, более чем для какой-нибудь другой страны, была ударом из-за угла (мы видели, что Грей еще накануне объявления войны не мог быть уверенным в успехе своей политики), английский рабочий класс постепенно находит себя. Уже на неприличной во всех отношениях лондонской конференции английские делегаты держали себя, относительно, приличнее других: благодаря им, главным образом,

<sup>1</sup> Обращение по этому поводу Китченера к Мильерану, с просьбой прислать сведущего человека для организации английской «военной» цензуры по образцу Франции, «давшей такую изумительную картину единодушия» (благодаря цензуре?!)—своего рода перл. Жаль, что оно не попало в печать.

Мильеран все же не был признан вождем европейского социализма, а Николай II—покровителем рабочего движения в России. Норичская конференция Независимой рабочей партии сделала шаг дальше. Перед лицом всего мира было заявлено, что английский пролетариат не считает свои интересы тождественными с интересами «британской империи» Китченера и Грея. Яростный шовинизм мелкой буржуазии, и в Англии, как во Франции, приписывающей все свои беды «немцу», бессознательность люмпен-пролетариата, которому сытая английская казарма кажется раем земным<sup>1</sup>, дают еще возможность поддерживать иллюзии «народного одушевления». Но последнему грозит опасность с той стороны, с которой ее всего менее ожидали и откуда ее следовало ждать с самого начала. Английский вывоз, как мы видели, непрерывно росший все последние годы, за первые месяцы 1915 г. упал сразу на 30%. Но если перед английским фабрикантом положить на одну чашку весов бесконтрольную власть над рабочими—и разорение, а на другую—возвращение к прежним счастливым временам и «фабричную конституцию», он без малейшего колебания выберет второе... Непосредственно для низвержения «Китченерии» в Англии, вероятно, не понадобится никакой революции. Но непосредственно после этого низвержения проблема снова станет так же, как стояла она в 1913 г.,—лишь в еще более грозной форме. И тогда английский пролетариат может припомнить не только слова консерваторов, что «есть нечто большее, чем парламентское большинство», но и те ружейные приемы, которым научил его Китченер.

Английская ситуация является наиболее типичной для всей войны, и мы понимаем теперь, в каком еще смысле эту последнюю можно назвать «предупредительной». Основной целью войны для буржуазии всех участвующих в ней стран было—предупредить надвигавшуюся с неудержимой, стихийной силой социальную революцию. В этом—объяснение того невыносимого реакционного зловония, которым несет от каждого акта теперешней войны, начиная французскою «военною цензурой» и кончая германскими «зверствами». Бывали хуже войны, но не было подлей... Никогда

---

<sup>1</sup> Одна из корреспонденций «Matin» передает очаровательную картинку, рисующую эту сторону новой китченеровской армии и подлинное отношение к последней буржуазии (не-буржуазных газет!). В одной местности был расквартирован, по случаю маневров, один из корпусов этой армии. Местное зажиточное мещанство готовилось к приему «китченеровцев», как к нашествию Тамерлана: отправляли подалше семьи, убирали все ценное, толковали о необходимости закрыть кабаки и т. д. И вот—приходит в один дом солдат на постой и просит не водки и пива, а... почитать книжку! Об этом потом долго рассказывали во всей округе.

не приходилось затрачивать столько обмана и насилия, чтобы скрыть от одураченной массы действительные намерения воюющих правительств. Более или менее устойчивое равновесие военных сил обеих сторон было отлично известно еще до войны. Ненадежность результата была поэтому очевидна заранее, и большинство буржуазии никогда бы не решилось на войну ради только тех экономических конфликтов, о которых речь шла выше. Но над ними, как дух Иеговы над хаосом, носилась мысль, неосторожно выданная одним парижским банкиром сотруднику «Bataille Syndicaliste» еще три года тому назад, после Агадир: «Чем бы ни кончилась война, лишь бы она покончила с социализмом!» Эта идея загнала промышленную буржуазию под иго правых групп—аграрного капитализма в России, колониального в Англии, ростовщического во Франции. Она, эта идея, служила, наверное, одинаковым утешением и Вильгельму в его неполной победе, и Пуанкаре с Греем в их почти полном поражении. Утешения хватало ненадолго. Так торжественно похороненный буржуазными газетами в августе 1914 г. международный социализм блестяще доказывает свою жизненность уже тем, что его приходится хоронить снова и снова—как снова и снова приходится хоронить, вот уже скоро четверть столетия, «давно отжившую» теорию марксизма. Говорят, что тому, кого раз, по ошибке, сочли мертвым,—долго жить... Повторяется в грандиозных размерах история русского 1904 года: то, чем надеялись остановить революцию, дает ей новый, могучий толчок.

*Из сборника М. Н. Покровского  
«Внешняя политика».  
изд. „Денница“. М. 1919.*







## ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР

Вторая—Октябрьская—революция в числе других задач, поставила ребром и задачу заключения мира. В известном смысле, это задача всех задач: пока нет мира, у нас не будет политической свободы. Это надо твердо запомнить. Давно пора перестать тешить себя сказками о «революционных войнах». Революционные войны первой французской республики имели своим естественным концом диктатуру Бонапарта. Французские революционные демократы тех дней предвидели этот исход с самого начала, поэтому их вождь Робеспьер и был против наступательной политики, даром что она была украшена пышным «освободительным» лозунгом: «Война—королям, но мир—народам». Нынешняя же война даже и этого лозунга не могла выставить. Как бы она его выставила, когда в числе борцов «за свободу и цивилизацию» на первом месте был царь Николай второй? Зачинщики нынешней войны прекрасно понимали, что народам она не несет ничего, кроме цепей, и, чтобы не оставалось на этот счет сомнений, всюду необходимым предисловием к войне были отмена свободы печати и осадное положение. Чтобы народы гнать силком на бойню, нужен был обман и нужен был кнут.

Все это так просто, что обывательская толпа в Западной Европе, у союзников Николая второго, как только узнала о русской революции, сразу перестала считать Россию в числе воюющих. В Париже на каждом шагу можно было слышать разговоры в этом роде. Революции тут, конечно, доставалось,—но люди понимали, что свободную Россию на бойню не погонишь. Это слишком, повторяем, просто. И как приятно были удивлены эти люди, когда телеграф стал приносить к ним воинственные речи сначала Миллюкова, потом Керенского. Ничего, значит, в России не переменялось. Верно, и вправду Николая прогнали только за то, что он женат на немке. О русской революции стали говорить почти с любовью. И только когда солдаты русского экспедиционного корпуса во Франции отказались драться на Западном фронте, союзники догадались, что они

рано зарадовались и что русская революция не исчерпывается речами Керенского.

Лучше всех понимает это, конечно, русская буржуазия. Она беспрекословно пускала в правительство людей с самой страшной репутацией: уж кто страшнее, с обывательской точки зрения, чем Савинков, бывший глава эсеровского террора. Но раз человек за войну—сойдет. Зато самый умеренный меньшевик сразу становился злодеем, только ему случалось заикнуться, что войне пора бы положить конец. Народилась в Руси особая форма «политической благонадежности». Благонадежный — это тот, кто за войну «до победного конца». И что замечательно: чем дальше уходил этот победный конец (самые упрямые люди должны согласиться, что до взятия германцами Риги он был к нам все же таки ближе, чем после этого события), тем настойчивее требовала буржуазия от русских граждан, в особенности от своих слуг—членов временного революционного правительства—этой именно благонадежности.

Получается что-то странное. Во все времена воинственнее всех были победители. Наполеон первый весь век воевал—да ведь он одну победу одерживал за другой. А побежденные, обыкновенно, спешили кончить драку и надолго заикались ее возобновлять. У нас выходит прямо наоборот. Чем больше неудач у российской империалистской буржуазии, тем она воинственнее. Что тут за причина?

В первую минуту может показаться, что буржуазии жалко расставаться с военными барышами. Пусть страна разоряется в лоск, пусть народ пухнет с голоду — лишь бы свое сорвать, а там хоть трава не расти. Но тут бросаются в глаза факты, показывающие, что буржуазия не так уж нерасчетливо жадна у нас. Вот закрывает она фабрики — то есть отказывается на время совсем от барышей — ради политической цели: подавить рабочее движение. Значит, и в ее воинственности есть какой-то расчет. В чем же он состоит?

Дело в том, во-первых, что, чем неудачнее идет война для русской империалистской буржуазии, тем больше последняя зависит от своих союзников, буржуазии английской, американской и т. д. Одержит Россия победу, ее империалисты могли бы взять, что захотят: раз победы нет, приходится ждать, что дадут. А чтобы дали, «ниже тоненькой былиночки, надо голову склонить». Вот почему, чем неудачнее идет война, тем сильнее влияние западных империалистов в Петербурге. Как раз после Риги дело дошло до последнего позора для русской демократии. Россия не посмела дать себе то правительство, которое желало Демократическое Совещание — правительство без кадетов. Союзники заставили переделать то, что решили предста-

вители демократической России. В былые времена так обращались только с Персией. Кадеты понадобились вовсе не потому, что без них империализм в русском правительстве остался бы без поддержки — Керенский служил этому империализму не хуже кого другого. Но нужно было проучить революционную демократию — и ей «показали ее место».

Итак, пока империалистическая буржуазия имеет хотя какое-нибудь, хотя бы косвенное, влияние на дела, она не даст России разорвать с империалистическим блоком. Русская кровь будет литься ради аннексий и контрибуций, из которых кусочек победоносные империалисты дадут, быть может, и нашим неудачным завоевателям. Но ведь это опять-таки близоруко, скажут, — пока союзники победят, Россия будет истощена до дна. Уже давно можно было догадываться, что истощение до дна не очень пугает буржуазию: но когда она сама заговорила о «костлявой руке голода», тратить усилия на догадки более не приходится. Разорение России также входит в планы нашей империалистической буржуазии, как и аннексии и контрибуции ее союзников. Вторые дадут ей рынки, первое обеспечить ей дешевые рабочие руки. Она хорошо помнит, как помогло ей всероссийское разорение, начавшееся голодом 1891 года. Пусть останутся богатые мужички — по одному на десяток, — это укрепит положение буржуазии в деревне, а остальные пусть разоряются влоск. Не фабрикант будет об этом плакать.

Затяжка войны и господство буржуазии — причина и следствие, как причиной и следствием будут победа революционной демократии, предводимой пролетариатом, и мир. Или одно, или другое.

*Газ. «Известия Совета Рабочих Депутатов».*  
*№ 198, 27 октября—9 ноября.*

## НОВАЯ РЕЧЬ ВИЛЬСОНА

Президент Вильсон никак не может расстаться со своей ролью «голубицы мира». Один американский транспорт за другим высаживает на берега прекрасной Франции одну тысячу за другой юных американцев, предназначенных для убоя в Европе, а вслед им несутся, одно за другим, «последние» главы американской федерации, одно другого елейнее, одно другого миролюбивее. Можно подумать, что Америка производит не пушки и снаряды, благодаря которым бойня длится уже четвертый год, может длиться еще четыре года, ежели американские фабрики не устанут, — а исключительно оливковые ветви.

Все помнят комплименты, которыми осыпал Вильсон большевиков в своем прошлом «послании». В своей новой речи он уже сам большевик. Подумайте: «все точно определенные национальные стремления должны получить возможно полное удовлетворение, какое только может быть предоставлено им, без возбуждения новых или продления старых элементов распри и антагонизма». Да ведь это самоопределение народов! Ведь это списано с декрета о мире! Ведь это плагиат у брестской делегации, которая только и делала, что отстаивала «национальные стремления» поляков, литовцев, латышей и эстов. Этого принципа никак не хотела признать делегация четверного союза, а по Вильсону этот принцип — один из тех, которые «мы считаем основными, уже всеми признанными в качестве обязательных». Руку, товарищ!

Но только что вы успели возрадоваться обретению нового большевика, и какого видного притом, как ваша слуховая память воскрешает слова одного, тоже видного, американского дипломата, слова, которые до сих пор стоят в ушах у пишущего эти строки: «мы мобилизуем десять миллионов человек, мы будем воевать еще три года, пять лет, если понадобится, но мы добьемся своего». Нет, это не большевизм. Большевики демобилизуют, Вильсон мобилизует. Большевики не хотят вести войну ни одного дня больше, Вильсон готов ее вести еще пять лет. Почему же

говорят они почти одними и теми же словами? Откуда такое совпадение?

Можно было бы отделаться легкой и дешевой фразой: «все это—одно фарисейство». Мы не думаем защищать искренности главы американских империалистов. Но дело тут совсем не в искренности. Вильсон—не методистский пастор, говорящий проповедь на текст: «любите друг друга». Вильсон—деловой человек, знающий, чего он хочет и куда он идет, не хуже германских генералов и дипломатов. Каждое его «послание»—зрело обдуманый шахматный ход, несомненно подготовляющий какую-то сделку.

У Вильсона есть какой-то интерес «рядиться в большевики». И не только рядиться: пока дело идет не о социализме, а только о самоопределении национальностей, ему по дороге с большевиками. Он и большевик, в данном вопросе, действительно помогают одного и того же: только один во имя принципа, другой из правильного политического расчета. Самоопределение национальностей в Европе лежит в плоскости интересов американского империализма.

Что такое империализм, взятый не в его экономической сущности, а с чисто политической точки зрения? Это—объединение народов не во имя национальности, не потому, что между людьми есть единство языка, исторического прошлого и т. д., а во имя эксплуатации из одного экономического центра. Типичным образчиком империалистического соединения является четверной союз, который стремится увековечить и на после войны, в виде «Срединной Европы», союз немцев, австрийских славян, венгерцев, болгар, турок, с центром в Берлине и возжами в руках германских трестов и синдикатов. К этому же союзу пытаются припречь теперь еще поляков, литовцев и латышей, часть эстонцев и белоруссов, а, может быть, и всех украинцев. Тут, конечно, какое же может быть место «национальному самоопределению»? В сущности, так же дело обстоит и с западным империалистским блоком. Франция и Италия фактически уже сведены на положение английских вассалов (подручников). О Бельгии нечего и говорить, а непосредственно англичане распоряжаются ирландцами, египетскими арабами, индусами и т. д. Не иначе построено и американский империализм, протягивающий свои щупальцы на все стороны света—и на Канаду, в национальной основе французскую, и на Мексику, где население, потомки краснокожих туземцев, говорит по-испански, и на занятые желтой расой Филиппинские острова. Там Америке придется еще иметь много дела с «желтыми» империалистами Японии, а в Канаде, в более или менее близком будущем, неизбежно вооруженное завершение экономической борьбы

английского и американского капиталов, борьбы, ведущейся там уже давно. Не подлежит сомнению, что вмешательство Соединенных Штатов в Европейскую войну имело одним из поводов—милитаризацию Америки, создание грозной американской армии, которая понадобится Вильсону не столько в Европе, сколько в других местах. Залитые кровью поля Франции—только учебный плац, где будут созданы «обстрелянные» кадры этой армии.

В чем состоит политическая цель каждого империалистского блока? Очевидно, прежде всего другого, в разложении и чужих блоков. Мы это опять можем очень хорошо видеть на примере германского блока: на восточном фронте он явно стремится к разделу бывшей Российской империи, которая тоже была своего рода империалистским блоком, только более древнего образования (эпохи торгового капитализма). Но вот к разложению такого же старомодного блока, называемого австро-венгерской монархией, германский империализм отнюдь не стремится—его он надеется проглотить целиком.

Мы видим теперь, в зависимости от каких соображений империалист может быть, в одно и то же время, и противником и сторонником «национального самоопределения». О национальном самоопределении филиппинских тагалов президент Вильсон что-то помалкивает, а вот «независимая Польша, образованная в составе всех бесспорно польских племен, живущих рядом друг с другом», ему совершенно необходима. Точно так же как Германии до зарезу нужна независимая Украина, а о независимой Польше «в составе всех польских племен» германские дипломаты и слышать не хотят. Вот «независимость» русской Польши—другое дело.

Вильсон не вмешивался в европейскую войну, пока ни тот, ни другой из борющихся в Европе империалистских блоков не имел шансов на победу. Одно время, когда положение Германии казалось плохим (в начале 1915 г.), он даже как будто склонялся на сторону немцев. К концу 1916 года, когда выяснилось, что блоку Согласия (Entente) не удастся победить блок четверного союза, а обратное возможно, был использован первый же предлог—объявление Германией подводной блокады, чтобы исправить нарушенное равновесие, бросив на одну из чашек весов американскую армию. Одно время четверной союз явно искал мира (уже один факт разговоров германских империалистов с их заклятыми врагами, революционными социалистами, в Бресте достаточно выразителен). Вильсону нужно, чтобы мир закрепил то соотношение сил в Европе, которое наиболее выгодно американскому империализму.

А для этого необходимо, не дав окончательно сложиться английскому блоку, разложить, уже довольно прочный, германский. Первое сделал бы самый мир автоматически: прекратится война с Германией, и Англия перестанет держать в кабале Францию и Италию своим углем и своим «тоннажем» (торговым флотом); к их услугам будет германский уголь и германский флот. Второе сложнее, и вот, тут «самоопределение народов» может очень помочь: превратив Австрию и Балканы в федерации самостоятельных народностей, освободив действительно и в целом виде Польшу, не дав Германии проглотить прибалтийских племен, можно до того обезвредить центрально-европейский блок, что об этом конкуренте Америке нечего будет и беспокоиться. А русский блок не может возродиться,—в том порукой русская революция и большевики, провозгласившие «самоопределение населяющих Россию народов вплоть до полного отделения».

А поэтому, да здравствуют большевики и самоопределение национальностей!

*«Правда» № 29 (257), 19 февраля  
(6 февраля ст. ст.) 1918 г.*

## К ВОПРОСУ О ВИНОВНИКАХ ВОЙНЫ

### I

Союзники победили Германию и собираются же «судить» за войну. Им хочется быть не только сильнее побежденного врага, но и правее его. Мир облетают радиogramмы, оповещающие наивную газетную публику, что «австро-германский заговор против всеобщего мира» раскрыт, разоблачен, и даже точно установлен месяц и день, когда он возник,—5 июля 1914 года. Опыневшим от собственной добродетели империалистам начинают вторить и «революционеры», с позволения сказать: недавно еще известный соглашатель Курт Эйсер громко вопиял о несомненной виновности кайзера и его правительства в беспримерном кровопролитии, четыре года позорившем Европу.

Было бы неблагодарным трудом пытаться обелить кайзера Вильгельма. Империалистская сволочь Германии не меньше всякой другой стремилась к этой бойне, но и не больше всякой другой. Это надо помнить той публике, которую допустят присутствовать на суде. «Виноват» в кровопролитии не тот или другой империализм, а империализм вообще—французский, английский или русский—не меньше германского или австрийского. Попытке напомнить эту элементарную истину и посвящены нижеследующие страницы.

Октябрьский переворот отдал в руки пролетарской революции уличающие документы против буржуазного режима во всех областях, между прочим, и в области международных отношений. Отчасти эти документы были уже напечатаны, но далеко не все и, пожалуй, не самые даже любопытные. Напечатаны были, главным образом, секретные договоры; они важны, но еще важнее та переписка, которой подобные секретные договоры подготавливаются в буржуазном мире. Счастливая случайность сохранила нам подлинники интимных писем, которыми обменивались русские послы в Лондоне и Париже с их начальником, официальным руководителем внешней политики империи Романовых, министром Сазоновым. Сохранилась и часть, по крайней мере, их секретных телеграмм и не менее интимные



донесения Сазонова царю. Все эти документы бросают чрезвычайно яркий свет на подготовку войны со стороны Антанты и свидетельствуют неопровержимо, что место на скамье подсудимых перед лицом беспристрастной истории обеспечено не только Вильгельмам и Бетман-Гольвегам, но и Георгам, Греям, Пуанкаре и Сазоновым.

«Заговор против всеобщего мира» зародился отнюдь не 5 июля 1914 года, как хочет уверить вселенную недавнее лондонское радио, а гораздо ранее. Его начало относится к 1908 году, когда аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией предшествовало некоторое соглашение между тогдашними министрами иностранных дел: России—Извольским и Австро-Венгрии—Эренталем, по поводу проливов, соединяющих Черное море со Средиземным. Текст соглашения не сохранился в бумагах Извольского, но сохранилось его письмо к царю, и из этого письма видно, что Эренталь шантажировал своего русского коллегу угрозой опубликовать этот текст. Угроза была настолько серьезна, что Извольский, во избежание скандала, предпочел подать в отставку и из министра превратился в русского посла в Париже, но и там оставался фактически руководителем русской внешней политики перед войной.

Два года спустя «проливы» появляются на дипломатической сцене еще более определенно. 24 октября 1909 г. был заключен договор между Россией и Италией, в связи с посещением Николаем итальянского короля Виктора Эммануила в Раккониджи. Последняя статья этого договора гласит: «Италия и Россия обязуются относиться благосклонно, первая к интересам русских в вопросе о проливах, вторая—к интересам итальянцев в Триполитании и Киренаике». Что это значило, нам станет ясно, когда мы вспомним, что год спустя после Раккониджи Италия начала войну с Турцией из-за Триполи. Так как мир в Европе был нарушен впервые именно итальянско-турецкой войной (предшествующие войны: испанско-американская, англо-бурская, русско-японская, происходили вне пределов Европы) и так как нарушения этого мира с той именно поры идут непрерывной цепью, становясь все крупнее, то значение договора в Раккониджи трудно переоценить. Но в то время как деятельность Италии была у всех на виду, оставшаяся в тени деятельность Извольского в Париже была гораздо важнее по своим последствиям.

Как только началась итало-турецкая война, Извольский писал: «Нам следовало бы теперь же позаботиться не только о наилучшем способе сохранить мир и порядок на Балканском полуострове, но также и о том, чтобы по возможности извлечь из надвигающихся событий наибольшие выгоды для собственных наших интересов... Кроме того, я позволяю

себе высказать, что следовало бы во всяком случае, в той или другой форме, заручиться заявлением Италии, что, осуществляя ныне предусмотренные соглашением с нами права в Триполи, она продолжает считать себя, в будущем, связанной по отношению к нам в вопросе о проливах» (13/26 сентября 1911 г.).

Петербургскому кабинету не было надобности повторять это два раза. «Очень радуюсь, что мысль моя об укреплении итальянских обязательств о проливах встречена вами сочувственно» — читаем мы в одном из следующих писем Извольского (25 сент.—8 октября). А в следующем за этим письмом (29 сент.—12 октября) мы находим уже деятельные заботы о «технике» дела. «Если мы действительно решаемся ныне же возбудить вопрос о проливах, то весьма важно озаботиться тем, чтобы иметь здесь *une bonne presse*. Между тем, в этом отношении я, увы, лишен главного орудия, ибо из всех настояний о снабжении меня фондами на печать ничего не вышло. Я сделаю, конечно, все, что от меня зависит, но это именно один из тех вопросов, в которых общественное мнение, в силу старинных традиций, скорее настроено против нас. Примером того, насколько полезно тратить здесь деньги на печать, может служить триполитанское дело. Мне известно, что Титтони очень основательно и весьма щедрою рукой обработал главнейшие французские газеты. Результаты налицо». Обработка «общественного мнения» началась, как видим, задолго до «австро-германского заговора».

Но завладеть проливами в одиночку было не так легко, как какими-нибудь Триполи. Проливы—это означало Константинополь, а «Константинополь—это господство над миром», сказал когда-то Наполеон. Чтобы захватить такую крупную добычу, нужны были союзники. Вопрос о последних и встал перед инициаторами предприятия очень скоро. Очередным, так сказать, союзником была, конечно, Франция, связанная с Россией давным-давно всякого рода обязательствами и конвенциями. Но признает ли Франция себя связанной перед Россией также и в вопросе о захвате Константинополя? В первую минуту Извольский не решался ответить на это положительно. «Я считаю вероятным, что французское правительство побойтся выдать нам безусловное обязательство в смысле признания полной нашей свободы действий в проливах и, ограничившись на первый раз какой-либо неопределенной формулой, попросит нас точнее определить наше пожелание» — читаем мы в письме от 10/23 ноября того же года. Во главе французского правительства стоял тогда несклонный к военным авантюрам Кайо, а министром иностранных дел был де-Сельв, занятый исключительно мароккским вопросом, и при котором во-

обще «было бесплодно разговаривать с Францией об общей политике».

Картина резко переменилась, как только эти две должности, премьера и министра иностранных дел, слились в лице теперешнего президента французской республики — Пуанкаре. Письма Извольского сразу меняют тон, как только совершилась эта перемена. «Пуанкаре несколько раз спрашивал меня, что мне известно о происходившем, судя по газетам и получаемым им из других источников сведениям, об обмене мыслей между нами (т.-е. Сазоновым) и венским кабинетом о балканских делах; при этом он еще раз напомнил мне о своей готовности почти в каждую минуту вступить с нами в разговоры об этих делах и дал мне понять, что он ждал с нашей стороны такого же осведомления о наших переговорах с Веной, какое он получил от Лондонского кабинета после поездки лорда Хольдена в Берлин. Пишу вам все это с полной откровенностью, ибо мне кажется, что для вас весьма важно сохранить и упрочить заявленные Пуанкаре при вступлении во власть намерения. Нынешний председатель совета и министр иностранных дел—весьма крупная личность, и кабинет его является наиболее сильной комбинацией за длинный ряд годов» (письмо от 16/29 февраля 1912 г.).

Прошло еще несколько месяцев, и в письме от 5/18 июля мы читаем, что в настоящем году обычное совещание между начальниками генеральных штабов русской и французской сухопутной армий было в первый раз дополнено такими же совещаниями между начальниками обоих генеральных морских штабов. При чем результаты сразу же были достигнуты блестящие. «Князь Ливен (русский адмирал, начальник русского морского штаба) высказал мне», сообщает в том же письме Извольский, «что, по его убеждению, состоявшийся обмен мыслей привел к весьма для нас выгодным результатам: а именно, начальник французского морского штаба вполне уразумел необходимость в интересах обоих союзников облегчить нам задачу господства над Черным морем путем соответственного давления на флоты возможных наших противников, т.-е. главным образом Австрии и, может быть, Германии и Италии. С этой целью Франция изъявляет готовность еще в мирное время перенести сосредоточение своих морских сил в Средиземном море ближе к востоку, т.-е. в Бизерту. Это решение, вполне ясно выраженное в протоколе, князь Ливен считает тем большим для нас успехом, что оно не обусловлено никаким обязательством с нашей стороны. Вообще князь Ливен с большой похвалой отзываясь о предупредительности, прямоте и откровенности, которые он встретил со стороны своего французского товарища».

Правда, с русской стороны едва не испортили дело излишней поспешностью. Как молодая горячая лошадь, царская дипломатия каждую минуту готова была «понести», и более старым и опытным дипломатам приходилось покрикивать «тпру». Прологом к войне за Константинополь должно было служить выступление балканских славян — болгар и сербов. С этой целью при участии русской дипломатии был сфабрикован, всем теперь известный, секретный договор между Сербией и Болгарией. Договор этот Пуанкаре, едва взглянув на него, сразу же определил, как «орудие войны» (*un instrument de guerre*). Но опасения тогдашнего французского премьера едва ли не были вызваны, главным образом, тем, что английское правительство «категорически заявило здесь, что Англия ни в коем случае не согласится произвести какое-либо давление на Турцию». (Письмо Извольского 30 августа—12 сентября 1912 года). Что касается самого Пуанкаре, то он смотрел на дело вполне трезво и был чужд каких бы то ни было колебаний. Ниже следующая страница из письма Извольского, излагающая мнение французского премьера, своей ясностью и точностью напоминает Маккиавелли... «Пуанкаре высказал мне, что французское правительство самым серьезным образом обсуждает вопрос о могущих возникнуть международных случайностях; оно вполне ясно отдает себе отчет в том, что те или другие события, например, разгром Болгарии Турцией или нападение Австрии на Сербию, могут заставить Россию выйти из пассивного положения и прибегнуть сперва к дипломатическому выступлению, а затем и к военным действиям против Турции или Австрии. Согласно полученным нами от французского правительства заявлениям, в таком случае нам обеспечена со стороны Франции самая искренняя и энергичная дипломатическая поддержка. Но, в этом фазисе событий, правительство республики не было бы в состоянии получить от парламента или общественного мнения санкции на какие-либо активные военные меры. Но, если столкновение с Австрией повлечет за собой вооруженное вмешательство Германии, французское правительство заранее признает его за „*casus foederis*“ (т. е. за случай, когда союзное обязательство вступает в силу) и ни минуты не поколеблется выполнить лежащие на нем по отношению к России обязательства». «Франция,—присовокупил г. Пуанкаре,—несомненно настроена миролюбиво и войны не ищет и не желает; но выступление Германии против России тотчас изменит это настроение, и он убежден, что в таком случае и парламента, и общественное мнение всецело одобряет решимость правительства оказывать России вооруженную поддержку». «Далее г. Пуанкаре сказал мне, что в виду критического положения на Балканах высшие

органы французского военного управления с усиленным вниманием изучают все могущие произойти военные случаи, и ему известно, что сведущие и ответственные лица весьма оптимистически смотрят на шансы России—Франции в случае общего столкновения; оптимистический взгляд этот основан, между прочим, на оценке той диверсии, которую произведут соединенные силы балканских государств (за исключением Румынии), оттянув соответственную часть австро-венгерских военных сил. Благоприятным элементом для России и Франции является также мобилизация Италии, связанной как Африканской войной, так и специальными соглашениями с Францией. Что касается специального положения на Средиземном море, то только что принятое решение перевести из Бреста в Тулон третью французскую эскадру еще более усиливает преобладание в этих водах французского флота. Решение это, прибавил Пуанкаре, принято по соглашению с Англией и является дальнейшим развитием и пополнением уже раньше состоявшегося между французским и английским морскими штабами уговора» (то же письмо).

*«Еженедельник Правды» № 5,  
23 февраля 1919 г.*

## II

По дороге к проливам вырисовывались два препятствия. Первым была холодность к вопросу Англии; вторым—боязливое отношение к военным авантюрам со стороны французского «общественного мнения», т.-е. французской буржуазии. Но было средство это второе препятствие удалить: этим средством была война с Германией. Втянув в борьбу эту последнюю, русская дипломатия получала средство, средство верное, действующее без осечки, преодолеть опасения парижских банкиров.

И вот—можно представить удовольствие царской дипломатии—почти в то же самое время обнаружилось, что война с Германией является и наилучшим средством растопить английский лед. Тугая на ухо, когда дело касалось войны России с Турцией, Англия—официальная Англия, само собою разумеется,—оказывалась очень чуткой, когда ей начинали говорить о войне России с Германией. Но относящийся сюда текст так важен и интересен, что необходимо привести его целиком.

В сентябре все того же самого 1912 года, т.-е. опять-таки накануне первой Балканской войны, Сазонов отправился зондировать почву в Англии. Царского министра встретили на родине парламентаризма «необыкновенно радушно», как он поспешил донести своему повелителю. Его пригласили в Бальмораль (английский Петергоф), и там он

имел ряд разговоров, изложение которых мы дадим его собственными словами.

«Для характеристики вообще встреченного мною в Англии настроения по отношению к России я должен упомянуть, что одновременно со мною в Бальморале в течение нескольких дней гостил и лидер оппозиции г. Бонар Ло, которому я, между прочим, выразил удовлетворение по поводу речи, произнесенной им в Палате минувшей весной, и где, от имени оппозиции, он одобрял политику сэра Э. Грея в смысле более теплого сближения с Россией. Бонар Ло, в присутствии Грея, подтвердил мне означенные слова и даже заявил, что это единственный вопрос, по которому между консерваторами и либералами в Англии нет никакого разногласия.

Пользуясь этой благоприятной обстановкой, я считал полезным в одной из моих бесед с Греем, между прочим, осведомиться о том, чего мы могли бы ждать от Англии в случае вооруженного столкновения с Германией, и мне представляются весьма знаменательными слова, которые мне удалось услышать по этому поводу как от ответственного руководителя английской внешней политики, так затем и из уст самого короля Георга.

Вашему императорскому Величеству известно, что во время своего пребывания минувшим летом в С.-Петербурге г. Пуанкаре высказал мне пожелание выяснить, насколько мы можем рассчитывать на помощь английского флота в случае такой войны.

Доверительно посвятив Грея в сущность нашего морского соглашения с Францией и указав на то, что, в силу заключенного договора, французский флот будет стремиться обеспечить наши интересы на южном театре войны, препятствуя австрийскому флоту прорваться в Черное море, — я спросил статс-секретаря, не может ли Англия, в свою очередь, оказать нам одинаковую услугу на севере, оттянув германские эскадры от нашего побережья в Балтийское море.

Грей, не колеблясь, заявил, что, если бы наступили предусматриваемые обстоятельства, Англия употребила бы все усилия, чтобы нанести самый чувствительный удар германскому могуществу. В подлежащих ведомствах уже обсуждался вопрос о военных действиях в Балтийском море, но при этом выяснилось, что, если английскому флоту и не трудно было бы проникнуть в Балтийское море, то его нахождение там было бы сопряжено с значительной опасностью, так как в виду возможности для Германии наложить руку на Данию и преградить выход через Бельт, он

мог бы оказаться запертым, как в мышеловке. Англии, вероятно, придется ограничиться операциями на Северном море.

По этому поводу Грей, по собственному почину, подтвердил мне то, что я уже знал от Пуанкаре, а именно: существование между Францией и Великобританией уговора, в силу которого, в случае войны с Германией, Англия обязалась оказать Франции помощь не только на море, но и на суше путем высадки войск на материке.

Коснувшись того же вопроса в одном из разговоров со мною, король высказался еще более решительно, чем его министр, и, с видимым раздражением упомянув о стремлении Германии сравняться с Великобританией в отношении морских сил, его величество воскликнул, что в случае столкновения последнее должно иметь роковые последствия не только для германского флота, но и для немецкой морской торговли, ибо англичане пустят ко дну всякое немецкое судно, которое попадет в их руки: *We shall sink every single German merchant (shall get hold of)*.

Последние слова, повидимому, отражают в себе не только личные чувства его величества, но и господствующее в Англии настроение по отношению к Германии.

Итак, уже до начала первой Балканской войны, т.-е. раньше всех, более или менее случайных, поводов, приведших к кризису 1914 года, настроение вождей английской буржуазии не оставляло ничего желать в смысле определенности. Если Франция и Россия будут драться с Германией, Англия непременно примет участие в драке на стороне России и Франции. Но этим последним одного настроения было мало. Настроение—вещь переменчивая; им нужны были вещи более прочные, в частности, России было нужно получить от Англии такое же формальное обязательство, какое она имела уже со стороны Франции. Но связать себя английские империалисты отнюдь не были склонны; они прекрасно понимали, что царские дипломаты такие люди, которым дай палец, они потянут и всю руку. Вот почему протянуть хотя бы палец они решились не иначе, как после очень зрелого размышления. В Петербурге это приводило людей в нервное состояние, близкое к истерике. В наших бумагах имеется следующий любопытный документ, который мы приводим целиком, ибо он весьма характерен со многих сторон:

«Собственноручная надпись Николая Романова (с ним карандашом): «должно быть, sir Buchanan сообщил Палеологу мой разговор с ним».

Далее, рукой Сазонова надпись (чернилами):

Ливадия, 11 апреля, 1914 года.

Г-н Палеолог Думергу в Париже.

СПБ. апр. 1914 г. № 154 и 155.

(Шифром)

Секретно:

Мне известно из частного и верного источника (слова «из частного источника» подчеркнуты дважды синим карандашом), что весь последний разговор императора с его министром иностранных дел перед отъездом в Крым был посвящен целиком вопросу англо-русского союза (сбоку вопросительный знак простым карандашом). Обсуждая более или менее близкую угрозу столкновения между Россией и Германией, его величество предусматривал также возможность возобновления враждебных действий между Грецией и Турцией. В этом случае Оттоманское правительство закроет проливы. Россия не могла бы отнестись равнодушно к этой мере, столь вредной для ее торговли и для ее престижа.

— «Чтобы вновь открыть проливы, — сказал его величество, — я прибегну к силе».

Но не встанет ли Германия тогда на сторону Турции? Вот в этом возможном вмешательстве Германии император Николай и видел главную опасность новых осложнений, грозящих Востоку. И вот, для того, чтобы помешать Турции получить помощь Германии и в особенности, чтобы обеспечить себе (в подлиннике белое место), он надеется на быстрое заключение соглашения с Англией.

«Я позволю напомнить вашему превосходительству, что император Николай заявил мне, что он был бы очень благодарен г-ну президенту, если тот в разговоре с королем Георгом приведет доводы, требующие, согласно его мнению, сближения англо-русских отношений».

Не сочтет ли нужным г-н президент сообщить императору лично о результате его разговоров?

Я знаю, что Сазонов тоже будет рад всякому сообщению по поводу наших разговоров с сэром Эдуардом Греем».

Нравы дипломатии старого строя здесь, как в зеркале. Один сосплетничал другому, тот спешит протелеграфировать подхваченный секрет своему начальству, но его депешу, в свою очередь, перехватывают по дороге (даром, что союзники), и она попадает в руки того самого, кого касалась сплетня. Этот последний, впрочем, едва ли не был этим весьма доволен, ибо суть для него в том и состояла, чтобы заставить своего друга на берегах Сены немножко пошевелиться и выудить более реальные доказательства симпатий другого друга. Депеша Палеолога, видимо, заставила, наконец, Пуанкаре «обратить внимание» на русскую истерику. Как раз в том же апреле месяце столицу французской республики удостоили посещением король Георг и Эдуард



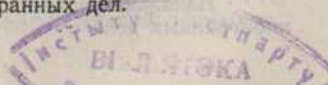
Грей. Решено было воспользоваться этим случаем, и 16(29) апреля Извольский имел возможность «весьма доверительно» сообщить своему начальству по поводу приезда англичан нижеследующее:

«Обмен мнений между французскими и английскими государственными людьми, прежде всего, коснулся отношений между Францией и Англией; приступая к нему, обе стороны единодушно признали, что существующие между обеими странами соглашения не нуждаются ни в каком формальном изменении или дополнении и что, продолжая последовательно и лояльно применять ко всем выдвигаемым политическим вопросам так называемую «entente cordiale», Франция и Англия тем самым с каждым днем укрепляют и развивают соединяющие их узы; при этом признано также, что Россия самым тесным образом приобщается как Францией, так и Англией к их совместной политике. Мысль эта, как вы, конечно, изволили заметить, вполне рельефно выражена в опубликованном здесь и в Лондоне после вышесказанного совещания сообщения печати: г. Думерг<sup>1</sup> сказал мне, что каждое слово этого сообщения, отредактированного г. Камбоном<sup>2</sup>, было тщательно взвешено и проверено не только им самим, но и сэром Эдуардом Греем, который всецело одобрил упоминание в нем России, а также указание, что целью трех держав является поддержание не только «мира», но и «равноправия».

Окончив обсуждение различных стоящих на очереди вопросов текущей политики, г. Думерг перешел к вопросу об отношениях между Россией и Англией и высказал сэру Эдуарду Грею условленные между ним и мною пожелания; при этом он выставил в пользу более тесного англо-русского соглашения, главным образом, два аргумента: 1) усилия Германии отвлечь нас от Тройственного Соглашения, как являющегося будто бы ненадежной и слабой политической комбинацией, и 2) возможность, путем заключения между нами и Англией морской конвенции, освободить часть английских морских сил для энергичных действий не только в Балтийском и Немецком морях, но и в Средиземном море (г. Думерг указал, между прочим, сэру Эдуарду Грею, что через два года у нас будет в Балтийском море сильная эскадра, составленная из дредноутов). Сэр Эдуард Грей ответил г. Думергу, что лично он вполне сочувствует высказанным им мыслям и был бы вполне готов заключить с Россией соглашения наподобие тех, которые существуют между Англией и Францией; он не скрыл, однако, от г. Думерга, что не только в среде правительственной партии, но

<sup>1</sup> Тогдашний французский министр иностранных дел.

<sup>2</sup> Французский посол в Лондоне.



даже среди членов кабинета имеются элементы, против России предубежденные и мало склонные к дальнейшему сближению с нею; он выразил, тем не менее, надежду, что ему удастся склонить г. Асквита и других членов кабинета к своей точке зрения и предложил следующий *modus procedendi*: прежде всего оба кабинета, Лондонский и Парижский, могли бы по взаимному уговору сообщить Санкт-Петербургскому кабинету все существующие между Францией и Англией соглашения, а именно: 1) выработанные генеральными и морскими штабами сухопутную и морскую конвенции, имеющие, как вам уже известно, так сказать, условный характер, и 2) политическое соглашение, оформленное обменом писем между сэром Эдуардом Греем и французским послом в Лондоне; в письмах этих выражено, что в случае, если по ходу событий Англия и Франция решаются на совместное активное выступление, «они примут во внимание» указанные конвенции. Одновременно с этим сообщением Лондонский и Парижский кабинеты могли бы спросить нас, как мы относимся к затронутому в нем предмету, а это могло бы, в свою очередь, подать нам повод приступить к обмену мнений с Англией о заключении соответствующего англо-русского соглашения. По мысли сэра Эдуарда Грея, между нами и Англией могла бы быть заключена лишь морская, а не сухопутная конвенция, ибо сухопутные силы Англии уже заранее распределены и, очевидно, не могут кооперировать с русскими. Сэр Эдуард Грей присовокупил, что, тотчас по возвращении в Лондон, он предложит вышеизложенный план действий на обсуждение г. Асквита и других своих коллег. На вопрос г. Думерга, не думает ли он, что было бы желательно придать соглашениям между Россией, Францией и Англией форму не параллельных соглашений, а единого «тройственного» соглашения, сэр Эдуард Грей ответил, что лично он не исключает подобной возможности, но что об этом может быть речь впоследствии, в связи с технической выработкой предполагаемого англо-русского соглашения.

Все трое присутствовавших на совещании — г. Думерг, Камбон и Де-Маржери<sup>1</sup> — сказали мне, что они были поражены выраженной сэром Эдуардом Греем ясной и определенной готовностью вступить на путь более тесного сближения с Россией; по их убеждению, высказанные им оговорки относительно г. Асквита и других членов кабинета имеют лишь формальный характер, и если бы он не был заранее уверен в их согласии, он воздержался бы от столь конкретных предложений».

<sup>1</sup> Начальник политического департамента французского министерства иностранных дел.

Мы видим, какую малую роль в возникновении войны играл факт, вокруг которого империалистской печатью стран Согласия был поднят наибольший шум. В апреле 1914 года и помина не было еще ни о каком нарушении бельгийского нейтралитета; а сэр Эдуард Грей выражал ясную и определенную готовность «организовать совместные действия английских военных сил не только с Францией, но и с Россией». Ниже мы увидим, что столь возмутившее всех честных людей попрание немцами основных начал международного права по отношению к Бельгии рассматривалось франко-русской дипломатией как событие, чрезвычайно желательное для обеих союзниц, что, впрочем, каждому, не только честному, но и неглупому, человеку было яснее дня с первой же минуты. Но об этом после. Пока доскажем судьбу морской конвенции между Россией и Англией. Переговоры о ней начались сейчас же, как только Николай Романов получил нижеследующее очень краткое, но, тем не менее, очень «важное известие» от Сазонова: «Французский посол сообщил мне, что, согласно полученной им из Парижа секретной телеграмме, Великобританское правительство решило уполномочить английский морской генеральный штаб вступить в переговоры с французскими и русскими военно-морскими агентами в Лондоне, с целью выработать технические условия возможного содействия морских сил Англии, России и Франции.

Г. Палеолог прибавил, что, по уговору между английским и французским правительствами, нам должно быть сообщено содержание заключенных до сих пор между Англией и Францией соглашений на случай совместных военных действий на суше и на море.

О сем приемлю смелость всеподданнейше доложить Вашему Императорскому величеству, в виду особой важности изложенного сообщения».

(Подпись) Сазонов.

Чтобы не возбуждать внимания заинтересованных лиц, а наипаче германской дипломатии, решено было, в противность тому, как было поступлено при заключении франко-русской морской конвенции (то ведь был секрет полишинеля, а это был настоящий секрет), не двигать с места больших колпаков военно-морского мира, а послать людей помельче, передвижения которых из города в город газеты не замечают. Ведение переговоров было доверено русскому агенту в Англии, капитану Волкову. В «заключениях», которыми его снабдили от морского генерального штаба, говорилось, между прочим: «На северном театре войны наши интересы требуют, чтобы Англия удержала возможно большую часть германского флота в Немецком море. Это компенсировало бы подавляющее превосходство герман-

ского флота над нашим и, быть может, позволило бы в благоприятном случае предпринять десантную операцию в Померании. Если бы оказалось возможным приступить к этой операции, осуществление ее представило бы значительные трудности, вследствие слабого развития наших транспортных средств в Балтийском море. Английское правительство могло бы оказать нам в этом деле существенную услугу, согласившись до открытия военных действий перенести в наши балтийские порты такое количество торговых судов, которое восполнило бы недостаток наших транспортных средств». Но как ни «спешил» лондонский кабинет «войти в виды, которые были ему изложены в Париже», понимая «не только практическую пользу дела, но и необходимость дать некоторое выражение намерениям, которые, существуя в действительности, всегда оставались, тем не менее, недостаточно ясными» (письмо русского посла в Лондоне от 20 мая—2 июня 1914 года), прямолинейность русского морского штаба могла его испугать, и тот же русский посол в Лондоне предупреждал капитана Волкова, что о десанте в Померании и о посылке с этой целью в Балтийское море английских транспортов еще до начала войны следует говорить с большой осторожностью и лишь тогда, когда по всем остальным пунктам будет достигнуто полное соглашение, «чтобы не повредить прочему» (то же письмо).

Повидимому, с русской стороны была обнаружена недостаточная воспитанность и в другом отношении: в Петербурге не только чересчур спешили, как водится, но и болтали больше, чем следует. В результате кое-что из секрета проникло-таки в европейскую печать, хотя и с неточностями. 13—26 июня, ровно за месяц до начала кризиса, тот же русский посол телеграфировал из Лондона: «Грей мне сказал сегодня, что он очень обеспокоен лживыми слухами, циркулирующими в германской прессе насчет заключения так называемой англо-русской морской конвенции относительно проливов; он счел долгом конфиденциально переговорить по этому поводу с германским посланником, который отправляется в Киль, где он увидит императора Германии. Грей категорически заявил посланнику, что уже более пяти лет как Англия и Россия в своих переговорах не касались проливов. Он заявил, что между Англией, Францией и Россией не существует ни союза, ни конвенции. Он прибавил, однако, что он никоим образом не желает скрывать, что степень близости между тремя правительствами в последние годы была такова, что они постоянно совещались между собою обо всем, при всяком случае, как если бы они были союзниками. С другой стороны, он заявил, что никогда, в течение этих лет, ни при каком случае эти пере-

говоры не имели характера, угрожающего Германии, и не преследовали того, что называется политикой окружения *enveloppement*».

Щедринское «вне оногo, но как бы в оногo» никогда не находило себе столь идеального выражения. Куда Щедрину до дипломатов! Сравнив это заявление Грея со всем вышеизложенным, читатели поймут, почему дипломатия буржуазного общества могла быть лишь тайной.

Итак, программа была дана. Нападения России на Турцию Англия не потерпит. Но если в борьбу из-за проливов будет вовлечена Германия, содействие англичан обеспечено. Следовательно, чтобы овладеть «дверью от собственного дома», нужно устроить такую войну, где немцы непременно были бы на сцене. Нам остается проследить, как эта программа осуществилась.

*«Еженедельник Правды» № 6,  
2 марта 1919 г.*

### III

Когда разразился кризис июля 1914 года, положение выяснилось уже окончательно. Вполне возможно, что даже главные действующие лица до последней минуты не были уверены, что роковой час действительно наступил. Но, что он наступает, на этот счет не могло быть двух мнений приблизительно с апреля—мая этого года. Характерно, что предчувствие кризиса уже совершенно определенно носилось в воздухе за несколько дней до открывшегося кризиса в глазах широкой публики австрийского ультиматума. Уже 9/22 июля русский посол в Лондоне доносил, что Грей «попрежнему очень встревожен» проектами Австрии касательно Сербии. «Попрежнему» — значит начал тревожиться значительно раньше этого дня. Основные тревоги Грея настолько любопытны, что стоит их привести. Они нашли себе выражение в телеграмме, посланной Греем Бьюкенену в тот же день. «Возможно, читаем мы здесь, что результатом судебного разбирательства в Сараеве будет выяснение того факта, что убийство было подготовлено на Сербской территории, по небрежности со стороны сербского правительства». Проницательные люди дипломаты, можно сказать, на три аршина в землю видят! Еще судебное разбирательство и не начиналось, а уже Грей предвидел его результат. Тут кстати вспомнить, что именно из Лондона неоднократно предупреждали Сазонова насчет неосторожности в образе действий русского представителя в Белграде. Правда, что тот, на чей счет непосредственно относились эти предостережения, Гартвиг, был уже на том свете. Но практические англичане отнюдь не склонны были смотреть на вопросы исключительно с точки зрения индивидуальности

русского посланника. Гартвиг умер, но «традиции» его политики, традиции русской политики на Балканах, вообще оставались прежними. Вдруг преемник Гартвига «займет определенную позицию», — это был бы факт «чрезвычайно трудно поправимый»<sup>1</sup>, а между тем, как мы сейчас увидим, Грей далеко еще не чувствовал под ногами вполне твердой почвы. Русские всегда спешили, и лондонский кабинет имел все основания опасаться, что эту досадную особенность они проявят и в настоящем случае.

В Петербурге, действительно, так спешили, что это тревожило не только мнительных англичан, но и испытанных друзей, французов, из кабинета Пуанкаре. Секретная переписка Извольского с Сазоновым сохранила нам интереснейшую телеграмму от 17—30 июля 1914 года № 2 (10), которую необходимо привести целиком.

«Продолжение № 209. Копия в Лондон. Прошу срочных распоряжений.

Маржери, с которым я только виделся, сказал мне, что французское правительство, отнюдь не желая вмешиваться в наши военные приготовления, считало бы крайне желательным, в виду продолжающихся переговоров с целью сохранить мир, чтобы приготовления эти носили как можно менее открытый и вызывающий характер. С своей стороны военный министр, развивая ту же мысль, высказал графу Игнатьеву, что мы могли бы заявить, что в высших интересах мира мы согласны временно замедлить мобилизационные мероприятия, что не помешало бы нам продолжать и даже усилить военные приготовления, воздерживаясь, по возможности, от массовых перевозок войск. В девять с половиной часов под председательством Пуанкаре состоится совет министров, после коего тотчас увижусь с Вивиани.

(подпись) Извольский».

Пишущий эти строки пользуется случаем, чтобы исправить одну свою ошибку. В своей статье «Виновники войны» (см. сборник «Внешняя политика», М. 1919) он, основываясь на французской «Желтой книге», имел неосторожность заподозрить русское правительство в том, что оно приступило к мобилизации, даже не подумав спросить мнение своего французского союзника. Оказывается, союзник был настолько посвящен в дело, что мог давать даже чрезвычайно полезные советы по технической части. Это, само собою разумеется, заранее предполагало полнейшую солидарность. Официальная Франция не менее официальной России готова была воевать и прекрасно понимала, что вся

<sup>1</sup> Слова в кавычках — из той же телеграммы Бенкендорфа от 9/22 июля.

эта канитель, имеющая целью якобы «предупредить нарушение европейского мира», была рассчитана лишь на отвод глаз простоватой публики. Наверху отлично знали, на что и к чему идут. Нижеследующая секретная телеграмма Сазонова Извольскому не оставляет никакого сомнения на этот счет. Приводим ее также целиком.

«Секретная телеграмма послу в Париже.

Сообщается в Лондон.

С.-Петербург, 16/29 июля 1914 г.

№ 1551.

Срочно.

Германский посол заявил мне сегодня о решении своего правительства мобилизовать свои силы, если Россия не прекратит делаемых ею военных приготовлений. Между тем, таковые стали приниматься нами только вследствие состоявшейся уже мобилизации восьми корпусов в Австрии и очевидного нежелания последней согласиться на какой бы то ни было способ мирного улажения своего спора с Сербией.

Так как мы не можем исполнить желания Германии, нам остается только ускорить наше вооружение и считаться с вероятной неизбежностью войны. Благоволите предупредить об этом французское правительство и вместе с тем высказать ему нашу искреннюю благодарность за сделанное мне от его имени французским послом заявление, что мы можем в полной мере рассчитывать на союзническую поддержку Франции. При нынешних обстоятельствах это заявление для нас особенно ценно. Было бы крайне желательно, чтобы и Англия, не теряя времени, присоединилась к Франции и России, так как только таким образом ей удастся предотвратить опасное нарушение европейского равновесия.

(подпись) Сазонов».

Обращаем внимание читателей на дату этой телеграммы. В среду 29 июля комедия «усилий сохранить европейский мир» была в самом разгаре, а Сазонов отлично понимал, что «нам остается только ускорить наше вооружение». Если он все-таки трепетал, то не за мир, а за исход войны. Пока не был решен вопрос о роли Англии, дело продолжало оставаться рискованнейшей авантюрой, какую только можно себе вообразить. Для Петербурга и Парижа интереснейшим больным в мире было в этот момент английское «общественное мнение», и этому больному неукоснительно шупали пульс чуть ли не по несколько раз в день. Телеграммы Бенкендорфа производят впечатление настоящих медицинских бюллетеней. В начале кризиса диагноз был как будто совсем благоприятным. «Язык Грея с сегодняшнего дня стал гораздо яснее», телеграфировал Бенкендорф 14—27 июля

1914 года. «Он очень рассчитывает на впечатление, произведенное мерами, принятыми во флоте, опубликованными сегодня и решенными в субботу вечером» (т.-е. немедленно после опубликования австрийского ультиматума, который появился в газетах в пятницу 24 июля). «Полученная вчера телеграмма Бьюкенена произвела, кажется, очень полезное впечатление. Во всяком случае, уверенность Берлина и Вены в нейтралитете Англии не имеет более оснований.

(п о д п и с ь) Бенкендорф».

Но, как часто бывает с первыми бюллетенями, и этот оказался чересчур оптимистическим. Уже через три дня Бенкендорф телеграфировал: «Камбон запросил Грея, считает ли он, что момент настал. Грей ответил ему, что момент наступит, как только позиция Германии вполне выяснится. Камбон не настаивал более, так как Англией приняты серьезные меры не только на море, но и на суше. Камбон говорит, что, по его мнению, положение в глазах парламента выяснилось недостаточно для того, чтобы Грей, не рискуя, мог открыто выступить сегодня же». А на другой день картина сделалась уже совсем угрожающей. Вот, что мы читаем в телеграмме Бенкендорфа от 18/31 июля: «Грей отлично понимает положение и видит совершенно ясно, что некоторая реакция в парламенте создает для него серьезные затруднения и принуждает его к большой осторожности. Помимо огромной немецкой агитации, вчерашний «Таймс» в резкой, но не очень удачной статье поставил данный вопрос, как специально славянский, между Австрией, Сербией и Россией, очень нетактично обходя молчанием французские, английские и европейские интересы. Вместо пользы эта статья принесла вред. Сегодня публика, и даже парламент, рассматривают вопрос, как специально славянский. Это, я думаю, скоро раз'яснится. Прошу вас принять в расчет, что правительство не может выступить, не подготовив общественного мнения. С точки зрения значения содействия Англии, необходимо принять это во внимание. Печать сохраняет тенденцию последних дней, но главные органы слишком перегоняют общественное мнение и уже не отражают его вполне точно. Кризис наступит лишь в тот день, когда европейская сторона вопроса станет очевидной, вследствие опасности нападения на Францию. Таково, по крайней мере, мое мнение и мнение Камбона. Примите это, насколько возможно больше, во внимание».

Итак, если положение было не вполне ясно в Лондоне, ничего не могло быть яснее для Петербурга. Снова и снова дело попадало на те же рельсы: чтобы иметь гарантию, что Англия будет воевать на стороне России и Франции, нужно было вытянуть на поле битвы Германию. Но для этого имелось верное средство: нападение России на Австрию или,



по крайней мере, такое положение России, при котором это нападение представлялось бы Германии неизбежным. Теперь нам становится понятна та роль, которую должна была сыграть русская мобилизация. Как известно, в своих дипломатических оправданиях царское правительство всячески отрицало, что оно начало мобилизовать первое, ибо совершенно очевидно, что тот, кто первый начал мобилизацию, и является непосредственным виновником войны. Нижеследующая телеграмма Сазонова Бенкендорфу, отправленная на другой день после объявления войны, является самым ярким самоизобличением, какое можно себе в этом случае представить. «Германия явно стремится переложить на нас ответственность за разрыв. Наша общая мобилизация была вызвана громадной ответственностью, которая создалась бы для нас, если бы мы не приняли всех мер предосторожности в то время, как Австрия, ограничиваясь переговорами, носившими характер провоочки, бомбардировала Белград. Государь император своим словом обязался перед германским императором, что не предпримет никаких вызывающих действий, пока продолжаются переговоры с Австрией. После такого речительства и после всех доказательств миролюбия России, Германия не имела права и не могла сомневаться в нашем утверждении, что мы примем с радостью всякий мирный выход, совместный с достоинством и независимостью Сербии. Иной исход был бы совершенно несовместимым с нашим собственным достоинством и, конечно, поколебал бы равновесие Европы, утвердив гегемонию Германии. Этот европейский мировой характер конфликта бесконечно важнее повода, его создавшего».

«Повод», нужно признать, пришел во время: в самый день русской мобилизации лондонский бюллетень был чернее ночи. Бенкендорф телеграфировал: «...сегодня было констатировано, что в настоящий момент парламент не может одобрить определенной позиции, что сербское дело не имеет никакого значения в глазах общественного мнения, что все финансовые, торговые и промышленные центры северной Англии против войны». А несколько часов спустя Бенкендорф прямо бил тревогу: «Прошу срочно инструкций. Лично. События могут развиваться так быстро, что всякое, слишком поспешное суждение о позиции Англии в настоящий момент могло бы быть вредным и, в особенности, парализовать Грея, влияние которого может возродиться в несколько часов». (Телеграммы Бенкендорфа от 18/1 июля, № 223 и 224).

Когда отправлялась эта телеграмма, в Лондоне уже знали об объявлении Германией «крюгсцухтанда», «изображаемого германским правительством, как ответ на приказ

о мобилизации морских и сухопутных сил в России» (слова Бенкендорфа). Изображение едва ли очень грубо искажало оригинал, ибо еще утром 18/31 в Париже была получена от Палеолога, французского посла в Петербурге, телеграмма, «подтверждающая полную мобилизацию русской армии без всяких исключений» (секретная телеграмма Извольского от вечера того же числа). Если и после этого приходилось говорить о восстановлении влияния Грея в будущем времени, это показывает, насколько туго реагировало в этот момент «общественное мнение» Англии на австро-русско-сербский конфликт. Но, раз лавина мобилизаций начала двигаться, остальное совершилось само собою уже автоматически. 20 июля (2 августа) Извольский телеграфировал Сазонову: «Немцы переходят отдельными маленькими отрядами французскую границу, и на французской территории уже произошло несколько стачек. Это даст возможность правительству заявить палатам, созданным во вторник, что на Францию сделано нападение, и избежать формального объявления войны. Сегодня получено известие, что германские войска вступили на Люксембургскую территорию и тем нарушили нейтралитет герцогства, гарантированный трактатом 1867 года, подписанный, между прочим, Англией и Италией. Это обстоятельство считается весьма выгодным для Франции, ибо оно неминуемо вызовет ответ со стороны Англии и заставит ее действовать более энергично. Есть также известие, что германские войска двигаются по направлению к Арлону, что указывает на намерение нарушить и бельгийский нейтралитет. Это будет еще более чувствительным для Англии. Председатель Совета министров тотчас телеграфировал в Лондон, поручая Камбону обратить внимание Грея на это».

«Весьма выгодное для Франции» нарушение нейтралитетов сделало свое дело, и 4 августа Англия уже воювала с Германией. Понимала ли эта последняя, атакуя Льеж, что она идет тем самым в мышеловку русско-французской провокации? Но можно поставить и другой вопрос: понимали ли русско-французские провокаторы, что их ведет на поводу военная партия Германии? Кто кого тут обманывал? Мы думаем, что, в данном кругу,—никто и никого: война была нужна всем империалистским хищникам, и обман был нужен не для них, а для тех народных масс, которые они гнали на бойню. Этим массам и «втирали очки».

*«Еженедельник Правды» № 7 от 9 марта 1919 года. Орган Центр. К—та и Моск. Окр. К—та Росс. Комм. Партии (большевиков).*

## ТРИ СОВЕЩАНИЯ

Что война 1914 года была для императорской и буржуазной России, объективно, войной за Царьград, войной за «турецкое наследство», это для людей мало-мальски проницательных было ясно с самого начала. Иначе быть не могло — к этому вела вся политика русского империализма, начиная от времен Николая I, если не Екатерины II. Но оставалась под вопросом субъективная сторона дела. Увлекал ли Николая Последнего и его министров злой рок? Соблазнились ли они попутно возникшей перед ними, благодаря всемирной войне, возможностью осуществить заветную мечту ряда романовских поколений (мы уже знаем теперь, что к Константинополю «царь миротворец», Александр III не менее жадно протягивал руку, чем его отец и дед)? Осмелились бы они начать войну ради этой цели даже независимо от той «благоприятной» кон'юнктуры, какая обрисовалась перед ними летом 1914 года? На все эти вопросы до сих пор можно было отвечать лишь гадательно.

Работы состоящей при Социалистической Академии Комиссии по изучению войны 1914—18 гг. дали возможность поднять завесу. Мы знаем, как готовили четвертую восточную войну русские дипломаты<sup>1</sup>. Но то было делом отдельных лиц. Из этого круга не выводило вопроса даже и явное соучастие самого Николая: оно только лишний раз подчеркивало, до чего и здесь, как повсюду, фактическим самодержцем был Григорий Распутин. Из писем Александры Федоровны мы знаем, что благочестивое негодование «нашего друга», вызванное картиною глубокого унижения христиан в столице православного мира, вошло определяющим мотивом в психологию тех, кто своею подписью должен был скреплять требования русского империализма на Ближнем Востоке (см. в письмах А. Ф. к мужу письмо, стоящее под № 289, — от 5 апреля 1915 г.). Но психология

<sup>1</sup> В виде беглого наброска результаты работ Комиссии в этой части даны пишущим настоящие строки в статье «К вопросу о виновниках войны».

подписывающего автомата, по существу дела, пожалуй, даже менее интересна, нежели личная психология какого-нибудь Извольского. Тот все-таки «творил» и, так или иначе, накладывал печать своей личности на события. А у этого вся индивидуальность выразилась разве только в его почерке,—да и тот настолько похож на почерк его отца (отчасти и деда), что может быть назван вообще романовским, как в костюмерских каталогах бывает костюм «обще-испанский». Словом, соучастие Николая II не придает никакого интереса делу. Открытие каких-либо его писем по этому вопросу (мы имеем пока, главным образом, лишь его гениально-бессодержательные дневники), если бы только в них не нашлось фактических данных, нам неизвестных, имело бы куда меньше значения для историка, чем письма не только какого-нибудь Фридриха II или Екатерины II, но хотя бы даже Николая I.

Шаг вперед мы сделали бы, если бы от взглядов и настроений отдельных лиц мы могли перейти к психологии и идеологии правящих групп. Секретные документы нам показывают, как разрабатывался вопрос о Константинополе не только русскими дипломатами, но русским правительством в его целом. И, благодаря этому, перед нами обрисовывается все яснее и яснее логическая неизбежность этой войны, не только объективно, в ходе вещей, но и субъективно, во всем мировоззрении людей, ставших у власти в России к 1914 году. Мы видим, как навязчивая идея мало-по-малу устраняла со своей дороги все и всех, кто мешал ее реализации. Мысль—воевать за Константинополь, т.е. вызвать мировую войну (это понимали все с самого начала), после Мукдена и Цусимы, после октября и декабря 1905 г., в первую минуту испугала всех. От нее отпрянули в ужасе. Но год проходил за годом, «кон'юнктура» становилась все благоприятнее, перспективы все соблазнительнее—и «сферы» все больше и больше поддавались шепоту лукавого. К страшной в первую минуту мысли привыкали—дикое начало казаться естественным, потом неизбежным. Протокол последнего совещания в феврале 1914 года уже не знает принципиальных колебаний первого совещания в декабре 1908 года. Обсуждаются лишь деловые подробности, взвешиваются лишь практические затруднения. Но и они преодолимы—вопрос лишь во времени, ибо уже сказана роковая фраза, что Россия «вполне готова к единоборству с Германией, а в союзе с Англией и Францией может вызвать на бой весь остальной мир. Готово ли самодержавие выдержать вторую революцию в случае неудачной войны? Этого вопроса в 1914 году никто не ставит, а в 1908 г. он был фоном, на

котором разворачивались все прения. Царизм пьянел по мере того, как отрезвляющие воспоминания об октябрьской забастовке и декабрьских баррикадах окутывались дымкой далекого прошлого—среди слуг царизма всего смелее были люди, всех дальше стоявшие от «успокоения». Застрельщиком на совещании 21 января 1908 года явился А. Извольский, тогда еще министр иностранных дел, а не посол в Париже. На другом посту он был тот же. Как и позже, его горизонт был усеян «черными точками». Как и позже, свою задачу он видел не в том, чтобы эти точки стереть (направленную к этой цели соглашательскую политику своего предшественника, Ламздорфа, он решительно осуждает), а в том, чтобы их использовать. Война неизбежна; отказываясь от участия в ней, Россия «рискует разом потерять плоды вековых усилий, утратить роль великой державы и занять положение государства второстепенного значения, голос которого не слышен». Надо воевать, одним словом. Как это возможно? Тут выступает перед нами один из интереснейших мотивов речи Извольского. Война входит в область реального для России при условии тесного сближения с Англией; на его желательность уже «намекал» Извольскому английский посол—русскому министру иностранных дел, изголодавшемуся по «активной политике», намек было достаточно. Вот как стара идея наступательного союза Англии и России против Германии! Еще в начале 1908 года Англия готова была заплатить Константинополем тому, кто поможет ей раздавить ее континентального конкурента.

Но если Извольский без труда находил могучего внешнего попутчика по своей дороге, внутри, на самом совещании, объединившем крупнейшие фигуры «объединенного правительства» (присутствовал Коковцев, тогда еще только министр финансов, а председательствовал сам Столыпин), сочувствия было гораздо меньше. Безраздельно на сторону «активной политики» стал начальник генерального штаба, но его роль несколько напоминала роль медведя в известной басне о пустынноике. Когда генерал Палицын заговорил о том, что турки «зафрахтовывают пароходы для каких-то перевозок на Черном море», и стал делать отсюда вывод, что и нам самим нужно перевозить по тому же морю войска, готовясь начинать «действия против Босфора», вероятно, даже самому Извольскому краски должны были показаться наложенными слишком густо. Рука маляра, украшавшего безоблачный небосклон «черными точками», высунулась из-за кулис слишком уж по-простецки. А когда в дальнейших словах предприимчивого генерала появилась уже и втянутая в борьбу (само собою разумеется) Болгария, когда сейчас же затем обнаружилось, что «в настоящее

время разрабатывается план мобилизации четырех корпусов», неприятное чувство дипломата должно было перейти в досаду. Такая откровенность не могла повести ни к чему доброму.

Тем более, что в рядах самих военных сразу же не оказалось единомышленников. Помощник военного министра, генерал Поливанов (столь популярный потом в кадетских кругах, когда он стал министром, во время войны) пустил первую струю холодной воды на одушевление инициаторов совещания. «Воинское обучение пошло не вперед, а назад... Не достает неприкосновенных запасов... Не хватает артиллерии, пулеметов, мундирной одежды...» Противникам «активной политики» что могло быть желаннее таких разоблачений военной администрации? Собираются воевать, а у самих ничего не готово. Да позвольте, запротестовал Коковцев, да мы этого вопроса и не рассматривали никогда совсем: готовится война, а «совет министров, объединенный указом 17 октября 1905 года, остается в полнейшем неведении» чуть не до последней минуты. Между тем, «правительство, как целое, будет нести заслуженную ответственность пред монархом и общественным мнением, если события примут неблагоприятный оборот».

Тяжелая артиллерия заговорила последняя: под ее ударами должны были окончательно рухнуть иллюзии предприимчивых дипломатов и военных их друзей. «Статс-секретарь Столыпин считает долгом решительно заявить», читаем мы в протоколе, «что в настоящее время министр иностранных дел ни на какую поддержку для решительной политики рассчитывать не может». А чтобы его не упрекнули, чего боже сохрани, в пацифизме, премьер поспешил дать сразу же и объяснение своей более чем сдержанности: «новая мобилизация в России придала бы силы революции, из которой мы только что начали выходить. На этом пути достигнуты серьезные успехи; Россия (читай: дворянская Россия) проявила изумительную живучесть и снова собирается с силами. В такую минуту нельзя решаться на авантюры (sic!) или даже активно проявлять инициативу в международных делах. Через несколько лет, когда мы достигнем полного успокоения, Россия снова заговорит прежним языком».

У формулы «прежде успокоение, потом реформы», как видим, была своя, «внешне-политическая» версия: прежде—успокоение, потом Константинополь. Военные успокоители оказались в полном и совершенном согласии со штатскими. 28 января 1908 года совет государственной обороны (от внутреннего, главным образом, врага, как всем известно) признал, «что вследствие крайнего расстройств материальной части в армии и неблагоприятного внутреннего состо-

яния страны необходимо ныне избегать принятия таких агрессивных мер, которые могут вызвать политические осложнения». Николай, видимо и тогда плененный уже яркими перспективами «активной политики», утешил себя «кратким изречением народной мудрости», написав на докладе совета обороны: «Береженого и бог бережет». Извольского отправили вскоре затем в Париж, а на его место у Певческого моста поместился человек вполне надежный, в столыпинском смысле, зять премьера Сазонов. Что Извольскому удастся «совратить» и этого последнего, ускользнуло от предвидения Столыпина, да и случилось это лишь после того, как вождь русской реакции сошел со сцены. На дальнем плане и этого последнего события нельзя ли рассмотреть силуэт святой Софии? Не была ли причастна «военная партия» к этой легкости, с какою Богров мог подобраться, 2 сентября 1911 года, к премьеру на расстояние безошибочного выстрела? Все это одни предположения, но, как бы то ни было, исчезновение «русского Бисмарка» до чрезвычайности облегчило игру русских Мольтке. Уже на следующем «совещании», 13 декабря 1913 года, мы находим совершенно иную картину, хотя председателем его и был все тот же Коковцев, и настроение последнего несколько не изменилось.

В руках у военной партии был теперь козырной туз в образе немецкого генерала Лимана фон-Сандерса, в качестве верховного инструктора турецкой армии являвшегося ее фактическим главнокомандующим. Это было побольше «черных точек», которые могли ведь быть и обманом зрения. На этот раз и Коковцев должен был согласиться, «что Россия не может остаться равнодушной к командованию иностранным офицером частью в Константинополе, что создавало бы преимущественное положение в Турции для одной державы, изменяя направление всего ближне-восточного вопроса». Он, правда, пытался было проводить тонкое различие между командованием «частью», т. е. ротой, батальоном или дивизией, и неопределенной «инспекцией», но военные члены совещания без труда доказали, что фактически нет разницы между «инспектором» и «командующим войсками», особенно при терминологии, принятой у турок. У Коковцева остался только один аргумент—проявить «активность» в вопросе о Лимане ф. Сандерсе, значит итти на конфликт не с Турцией только, но и с Германией: «желательна ли война с Германией и может ли Россия на нее итти?» Преемник Столыпина хорошо помнил старое, но если он надеялся «запугать» военную партию повторением аргументации покойного премьера, он жестоко ошибался. Не всякому по плечу дубина Геркулеса, и, увидав ее в руках, столь мало способных ею орудовать, военные

люди ощутили не страх, а новый прилив бодрости. «Военный министр (Сухомлинов) и начальник генерального штаба (Жилинский) категорически заявили о полной готовности России к единоборству с Германией, не говоря уже о столкновении один на один с Австрией». Вот если бы со всем «Тройственным союзом» пришлось иметь дело в одиночку, риск был бы: эта оговорка ничего не стоила военной партии, прекрасно знавшей, конечно, как о франко-итальянском соглашении, с одной стороны, так и о полной готовности Пуанкаре принять участие в драке, лишь только в нее вовлечена будет и Германия, с другой. Но военным надо было вытащить на сцену дипломатов и заставить их засвидетельствовать свою солидарность с партией «активной политики». Пусть скажут, что России нечего опасаться остаться одной.

Сазонов, однако же, хорошо помнил участь Извольского и при Коковцеве прямо скомпрометировать себя не дал. На вопрос Коковцева он ответил с своей стороны вопросом: «какое положение надлежит занять правительству в случае, если оно получит уверенность в активной поддержке Англии и Франции?» Открывать свои карты пришлось «партии мира». «Статс-секретарь Коковцев, считая в настоящее время войну величайшим бедствием для России, высказывался в смысле крайней нежелательности вовлечения России в европейское столкновение»,—говорит протокол, добавляя: «к каковому мнению присоединяются и остальные члены совещания». «Поймать» дипломатов и генералов на сей раз не удалось. Но неумолимый Сазонов продолжал свой допрос. «Министр иностранных дел, предусматривая возможность неудачи переговоров, ставит вопрос о том, какое должно быть принято решение в этом случае?» Положение Коковцева становилось все труднее. Он что-то говорил о каком-то финансовом бойкоте Турции, о том, что переговоры в Берлине «следует продолжать до выяснения полной их неуспешности», но, видимо, все более и более сам чувствуя себя прижатым к стене, должен был договориться до необходимости «перейти к намеченным мерам воздействия вне Берлина, в согласии с Францией и Англией», при чем из дальнейшего было совершенно ясно, что, в случае обеспеченности «активного участия как Франции, так и Англии», можно будет рисковать даже и «войной с Германией». А мы знаем, что к этому моменту «активное участие» Англии было уже обеспечено на 50% вероятия, Франции—уже и на целых 100%. Подписывая «заклучения» совещания, редактированные в духе заявлений Коковцева, делал уступку лишь «готовый к единоборству» Сухомлинов, Сазонов же мог считать себя победителем.



Как победитель, он и взял теперь дело в свои руки. На третьем совещании — последнем, протокол которого здесь печатается, — 8 февраля 1914 года, председательствовал уже он, и кроме генералов и дипломатов, среди членов никого уже не было. Принципиальная игра считалась выигранной—переходили к практическому осуществлению плана. И тут, конечно, должно было обнаружиться, что практика слушается «единоборцев» гораздо хуже, чем теория. На поставленный Сазоновым вопрос «о десантной армии, ее составе и мобилизации» начальник генерального штаба должен был признаться, что и «трата войск на экспедицию против проливов и даже самая возможность этой операции зависят от общей кон'юнктуры начала войны». «Единоборство» должно было потребовать такого напряжения сил, что, возможно, с западной границы не удастся увести ни одного батальона, да и южные корпуса придется перебросить туда же. Жилинский и его помощник Данилов утешали тем, что зато борьбой на западной границе решится и весь вопрос—ключи святой Софии мы найдем в Берлине. Но беспристрастные свидетели, в лице специалистов морских, поспешили указать, что тем временем проливы «могут занять чужие флоты и армии»: к «моменту мирных переговоров» русские должны твердой ногой стоять в Константинополе—«только в таком случае Европа согласится на решение вопроса о проливах на тех условиях, на которых нам это необходимо». Мы увидим, что эта реалистическая точка зрения разделялась трезвыми людьми и долго после того, как Царьград был за Россией закреплен формальным договором с ее союзницами: свидетельством служит «всеподданнейшая докладная записка министра иностранных дел» от 21 февраля 1917 года. «Надо иметь в виду», писал в этом замечательном документе Н. Покровский, «что важнейшее для нас соглашение о Константинополе и проливах является в сущности лишь векселем, выданным Великобританией, Францией и Италией, но платеж по нему должен быть произведен третьим лицом—Турцией, которая в соглашении не участвовала и, в зависимости от обстоятельств на интересующем ее театре войны, может отказаться удовлетворить наши требования. Несомненно, что состояние географической карты войны к моменту открытия мирных переговоров будет иметь решающее значение для проведения в жизнь политических проектов».

Но в феврале 1914 года, как и три года спустя, средства русского империализма для изменения «географической карты» были, явно и очевидно, недостаточными. Даже если бы потребные для десанта в Босфоре два или три корпуса (это был, опять-таки явно и очевидно, минимум, едва уравновешивавший силы, которые турки могли стянуть для за-

щиты (своей столицы в первый же момент) были как-нибудь найдены—военные авторитеты очень в этом сомневались,—оставался вопрос: на чем их перевезти? И тут оборона переходила к морякам, а наступать могли уже сухопутные воители. «В отношении железных дорог», ведущих к черноморским портам, положение можно было «признать удовлетворительным», но дальше? Тут сам морской министр должен был признать, что «выполнение операции находится в малоудовлетворительных условиях». Главное затруднение лежит «в полной недостаточности имеющихся у нас на Черном море перевозочных средств». После этого можно было уже не искать затруднений второстепенных: эту неблагоприятную задачу адмирал Григорович предоставил одному из своих подчиненных. Заключение этого последнего должно было прозвучать похоронным звоном в ушах штатских и военных «единоборцев»: «главным средством обеспечить перевозку столь значительной десантной армии» морской специалист признал... «развитие нашего торгового флота на Черном море». Но его, этот торговый флот, «развивали» уже 40 лет—и все же 95% всей нашей черноморской торговли оставались в иностранных руках. Сколько же лет нужно ждать еще?! А затем, если бы даже, всеми правдами и неправдами, удалось достать потребное число транспортных судов, являлся новый вопрос: кто же будет охранять эту новую армаду от турецкого военного флота? И тут обнаружилось, что к 1914 г. дело мало чем изменилось сравнительно с 1887 г.: турецкие морские силы, со включением двух новых, приобретенных Турцией, дредноутов, оказывались крупнее русских. У России в Черном море не было еще ни одного дредноута на воде, ближайший должен был появиться в 1915 году; расширить же силы своего флота покупкой новых броненосцев, как это делали турки, царь Николай не мог, ибо проливы, пока что, оказывались все еще закрытыми для русских военных судов. Оставалось только помешать дальнейшим покупкам турок, купив за русский счет все имевшиеся на рынке готовые дредноуты—что уже и было решено морским ведомством еще до совещания. Дипломаты, узнав это, высказали «большое удовлетворение», от чего, впрочем, положение не стало удовлетворительнее, ибо все равно ясно было, что ранее 1915 (а строго говоря, даже ранее 1917 года, когда должна была быть готова вся черноморская бригада дредноутов), ни о каком захвате Константинополя с моря помышлять было нельзя.

Итак, для начала единоборства за Константинополь не дали этой отсрочки. Есть все основания думать, что нужна была отсрочка, может быть, года на три. Судьба

и в этом случае приняла вполне конкретный облик. Мясоедов уже в то время состоял при Сухомлинове, и «чрезвычайно секретный» протокол оказался, по всей вероятности, в руках германского генерального штаба одновременно с тем, как Николай начертил на оригинале этого протокола свое одобрение. В этой связи становится понятен тот адский шум, который подняла германская печать, как раз в марте 1914 года, по поводу агрессивных стремлений России. Теперь совершенно ясно, что этот шум должен был подготовить германские народные массы к тому, что их поведут на бойню... за Константинополь. Почему Германия должна была отложить фактическое начало войны до середины лета (дождавшись, тем временем, «второго предостережения» в образе переговоров об англо-русской морской конвенции), этого из наших документов не видно. Надо думать, что этот секрет откроет нам победа коммунистической революции в Берлине.

*«Вестник Наркоминдела» 1919 г.*

## КТО ТАКОЙ ПУАНКАРЕ?

Во Франции, сколько можно судить по отрывочным телеграммам, нечто вроде нашей «диктатуры Трепова» весны 1905 года. Тогда тяжело больное самодержавие поставило у власти самого «сильного», как ему казалось, человека, какой был в его распоряжении: бывшего московского обер-полицеймейстера, отца зубатовщины, Трепова. «Патронов не жалеть». Сильный человек не помог—октябрьская забастовка 1905 г. разразилась, самодержавие должно было пойти на уступки, хотя бы и «принципиальные». Знаменитый приказ «не жалеть патронов» повис в воздухе.

Теперь французский империализм, чувствуя такое же тяжелое недомогание, как его союзник в 1905 г., ставит у власти своего «сильного человека», Пуанкаре-«Войну». Надо надеяться, что французский Трепов окажется не сильнее своего русского предшественника и образца. Но некоторое время он будет стоять на авансцене международной политики,—стоит присмотреться к этой, во всяком случае характерной, личности поближе.

У нас есть очень ценный для этого источник: письма и донесения русских дипломатов, имевших дело с Пуанкаре перед 1914 годом. Именно этот период, когда «Война» впервые выступил руководителем французской политики, особенно интересен. На своем пути он сейчас же встретил, тоже крупную и характерную фигуру с русской стороны. Это был тогдашний царский посол в Париже Извольский (не так давно умерший), которого стоило бы, в подражание прозвищу Пуанкаре, назвать Извольский-«Проливы». Министр иностранных дел Николая II с 1905 по 1910 г., Извольский был тем человеком, который повернул русскую политику с Дальнего Востока, где она завязла в 1905 году, на Ближний. Он заключил в 1907 г. соглашение с недавним противником Российской империи на берегах Тихого океана, Англией—союзницей Японии; с этих пор Англия становится союзницей России. Ища, чем загладить позор Цусимы и Портсмутского мира, Извольский тогда же робко стал намекать новому союзнику на желательность для Рос-

сии получить, наконец, в свои руки «ключи от собственного дома», т.-е. захватить Босфор и Дарданеллы. Английский бульдог в первую минуту глухо заворчал, увидав руку, протянутую к этой кости, давно им обглоданной и ему не нужной, но за которую он привык грызться уже сто лет. Английский посол в Петербурге уже тогда успокаивал, однако, что бояться нечего,—собака не кусается, не надо только спешить чересчур и дразнить ее.

Ободренный этим, Извольский уже в январе следующего 1908 г. ставит на совещании под председательством Столыпина вопрос о войне за Константинополь<sup>1</sup>. «Проваленный» этот раз Столыпиным, Извольский не успокаивается и затевает игру с австрийским премьером Эренталем, на таком условии: Австрии—Босния и Герцеговина, России—проливы. Эренталь оказался хитрее и обыграл: Австрия аннексировала Боснию, а русский министр остался с носом. Взбешенный Извольский опять заговорил о войне, но опять не встретил поддержки ни со стороны Столыпина, ни со стороны союзницы Николая II, Франции, которая при этом случае обнаружила какие-то непонятные симпатии к Австрии: вернее, просто не привыкла еще к мысли, что ей придется воевать вместе с Россией за Константинополь. Мы увидим, что и Пуанкаре к этой мысли приходилось позже приучать.

Неудачи Извольского начинали портить ему репутацию. В русских дипломатических кругах острили, что это «Наполеон, который начал свою карьеру с Ватерлоо». Столыпин стал относиться к нему подозрительно, как к беспокойному человеку, который, того и гляди, втянет в беду. В 1911 г. Извольский перестал быть министром и очутился русским послом в том самом Париже, который так огорчил его во время русско-австрийского конфликта: надо думать, что Столыпин считал это место особенно надежным для обуздания Извольского.

В первое время французские министры, с которыми ему приходилось иметь дело, в особенности Кайо и де-Сельв (летом 1911 г.), ничего, кроме огорчений, не доставляли: с ними не о чем было говорить, на «военные» темы они ничего не желали слушать. Какой был великолепный случай затеять драку в июле—августе этого года после того, как германский военный корабль осмелился бросить якорь в «нейтральной» мароккской гавани (так называемый «агадирский инцидент»),—а Кайо и тут ухитрился пойти на компромисс с немцами. Но вот в январе следующего года французская политика попадает в твердые руки Пуанкаре (его кабинет

<sup>1</sup> См. „Три совещания“, 103 стр. настоящего сборника.

сменил кабинет Кайо в это время), и картина резко меняется, а с нею и настроение Извольского.

В это время Сазонов, новый русский министр иностранных дел, который получил от Столыпина портфель именно для того, чтобы не повторять бестактных выходов Извольского, завел переговоры с «наследственным врагом»—Австрией. Это очень опечалило, конечно, бывшего министра,—но его печаль осталась бы неразделенной, будь во Франции у власти прежние люди. Можно представить себе восторг Извольского, когда в Пуанкаре он вдруг открыл родственную душу. Прежние французские министры и слышать не хотели о балканских делах, а Пуанкаре обиделся, что с ним об этих делах не заговорили. «Г. Пуанкаре несколько раз спрашивал меня, пишет Извольский Сазонову (от 16/20 февраля 1912 г.), что мне известно о происходившем, судя по газетам и получаемым им из других источников сведениям, об обмене мыслей между вами и венским кабинетом о балканских делах; при этом он еще раз напомнил мне о своей готовности вступить с нами в разговор об этих делах и дал мне понять, что он ожидал бы с нашей стороны такого же осведомления о наших переговорах с Веной, какое он получил от лондонского кабинета после поездки лорда Хольдена в Берлин. Пишу вам все это с полною откровенностью, ибо мне кажется, что для нас весьма важно сохранить и укрепить заявленные мне г. Пуанкаре, при вступлении во власть, намерения. Нынешний председатель совета и министр иностранных дел—весьма крупная личность, и кабинет его является наиболее сильной комбинацией за длинный ряд годов. Насколько при гг. Круппи и де-Сельв было бесплодно разговаривать с Францией об обще-политических вопросах, настолько при нынешнем составе французского правительства подобные разговоры не только полезны, но и необходимы. Кроме того, насколько я мог заметить, г. Пуанкаре, обладая крупными достоинствами, в то же время чрезвычайно самолюбив и весьма сильно воспринимает всякое, по его мнению, пренебрежение его участием или мнением. На этой почве у него с Титтони<sup>1</sup> происходят весьма чувствительные трения. Ко мне он относится с большою предупредительностью и с видимым желанием как можно чаще и подробнее со мною беседовать».

«Проливы» нашли, наконец, собеседника... Правда, дальше разговоров первое время Пуанкаре не обнаруживал охоты идти. Извольский был рад и этому и, проявляя и здесь излишнюю нервность, бранился с Питером, где продолжали кокетничать не только с Австрией, а и с Германией (свидание Николая и Вильгельма в Балтийском порту

<sup>1</sup> Тогдашний итальянский премьер.

в июле 1912 г.). Но в Питере знали, что делали. Сазонов, в сущности, шел по той же дороге, что и Извольский, только умнее и осторожнее. Уже весной этого года усилиями русской дипломатии был заключен союз Сербии и Болгарии— настоящее «орудие войны» (*instrument de guerre*), как метко определил его Пуанкаре, познакомившись с ним, орудие направленное не столько против Турции, сколько против Австро-Венгрии. Приехав в Петербург в августе, Пуанкаре изложил эти свои мысли и Сазонову, прибавив, «что французское общественное мнение не позволит правительству республики решиться на военные действия из-за чисто балканских вопросов, если Германия останется безучастной и не вызовет по собственному почину применения *casus foederis*<sup>1</sup>, в каком случае мы, разумеется, могли бы рассчитывать на полное и точное выполнение Францией связывающих ее по отношению к нам обязательств».

Судя по наблюдениям над Извольским, французский премьер, вероятно, рассчитывал увидеть смущенный взор и поникший лик. Но он имел перед собой весьма хитрую лисицу и сейчас же получил сдачи. Сазонов со своей стороны сказал французскому министру, что «всегда готовые решительно встать на сторону Франции в случае наступления предвиденных нашим союзом обстоятельств, мы также не могли бы оправдать перед русским общественным мнением нашего активного участия в военных действиях, вызванных какими-нибудь внеевропейскими колониальными вопросами до тех пор, пока жизненные интересы Франции в Европе останутся незатронутыми».

Ты не хочешь нам помогать завладеть проливами? Хорошо! Мы тебе не поможем захватить Марокко. Это было тем более чувствительно, что перед этим Сазонов выудил из своего собеседника весьма важное сведение, долго оставшееся неизвестным Извольскому. «Предметом особенно откровенного обмена мыслей между г. Пуанкаре и мною были отношения между Францией и Англией», докладывал царю Сазонов. «Указав, что эти отношения приняли за последнее время, под влиянием агрессивной по отношению к Франции политики Германии, характер особенной близости,— французский первый министр поведал мне, что, хотя между Францией и Англией не существует никакого писаного договора, тем не менее, как сухопутные, так и морские генеральные штабы обоих государств находятся между собою в тесном общении и непрерывно сообщают друг другу с полной откровенностью все могущие их интересовать сведения. Этот постоянный обмен мыслей имел своим последствием заключение между французским и английским правительствами устного соглашения, в силу которого

<sup>1</sup> Условия, которые обязывают Францию вмешаться в войну.

Англия выразила готовность оказать Франции, в случае нападения со стороны Германии, помощь как морскими, так и сухопутными силами. На суше Англия обещала поддерживать Францию посылкою сотысячного отряда на бельгийскую границу для отражения ожидаемого французским генеральным штабом вторжения германской армии во Францию через Бельгию»<sup>1</sup>.

Итак, знаменитое «нарушение бельгийского нейтралитета» было самым деловым образом предусмотрено Англией ровным счетом за два года до того, как это «неожиданное» поправление основ международного права вызвало в Англии единодушный взрыв негодования! Но не будем отвлекаться от Пуанкаре. После таких излияний данный Сазоновым урок был особенно чувствителен—и потому именно он был великолепно усвоен. Извольский очень скоро мог убедиться, насколько его преемник сильнее его. Когда «орудие войны» начало действовать, война между Болгарией и Турцией началась (ноябрь 1912 г.), Извольский, к немалому своему удивлению, открыл «совершенно новый взгляд Франции на вопрос о территориальном расширении Австрии за счет Балканского полуострова. Тогда как до сих пор Франция заявляла нам, что местные, так сказать, чисто балканские события могут вызвать с ее стороны лишь дипломатические, а отнюдь не активные действия, ныне она как бы признает, что территориальный захват со стороны Австрии затрагивает общее европейское равновесие и потому и собственные интересы Франции. Я не преминул заметить г. Пуанкаре, что, предлагая обсудить совместно с нами и Англию способы предотвратить подобный захват, он этим самым ставит вопрос о практических последствиях предположенного им соглашения; из его ответа я мог заключить, что он вполне отдает себе отчет в том, что Франция может быть вовлечена на этой почве в военные действия». (Письмо от 25-го октября—7-го ноября 1912 года).

Что к войне уже тогда, в ноябре 1912 г., готовились совершенно деловым образом, доказывает письмо Извольского от 8/21 ноября. «Заявления, сделанные вчера итальянским послом, если они подтвердятся итальянским правительством, могут возыметь весьма серьезные последствия в сфере дислокации французских войск; вы знаете, что с 1902 г. Франция значительно ослабила состав своих военных сил на итальянской границе; если не ошибаюсь, разница исчисляется в целых два корпуса. Если окажется, что Франция не может рассчитывать на нейтралитет Италии, это изменит весь план кампании, основанный именно на этом нейтралитете. Вопрос этот настолько важен, что, как

<sup>1</sup> Из доклада Сазонова Николаю II от 4 августа 1912 г.



мне известно, Пуанкаре созвал сегодня утром экстренный совет министров для его рассмотрения».

Дальше следует место, не столь важное политически, но чрезвычайно любопытное в бытовом, так сказать, отношении. Напомнив Сазонову о необходимости щадить несколько щекотливое самолюбие Пуанкаре, Извольский продолжает: «Между тем в решительную минуту, если не дай бог она наступит, от него лично будет зависеть весьма многое. Я всегда с ужасом думаю, что бы было, если бы вместо него в настоящие критические минуты во главе французского правительства стоял Кайо или Клемансо. Не забудьте, что ему приходится бороться с весьма влиятельными элементами собственной его партии, которые настроены недоброжелательно к России и открыто проповедуют, что Франция ни в коем случае не должна быть вовлечена в войну из-за балканских дел».

Думал ли когда-нибудь Клемансо, что его имя где-нибудь стоит рядом с именем посаженного им впоследствии в тюрьму за «измену» Кайо в качестве пацифиста? Такова ирония истории... И так плохо еще было «обработано» общественное мнение Франции даже в конце 1912 г. (Извольский непрестанно жалуется в своих письмах на отсутствие в его распоряжении достаточных фондов для подкупа французских газет). Но зато сам Пуанкаре был обработан более, чем достаточно. В январе следующего года он стал президентом республики, и русский посол мог телеграфировать своему начальству: «Только что имел длинную беседу с Пуанкаре, который высказал мне, что в качестве президента республики он будет иметь полную возможность непосредственно влиять на внешнюю политику Франции и что он не преминет воспользоваться этим, дабы обеспечить в течение предстоящих семи лет неизменность политики, основанной на тесном союзе с Россией. Он выразил мне при этом надежду продолжать часто видеться со мною и просил меня во всех случаях, когда это мне покажется желательным, обращаться прямо к нему. По поводу текущих вопросов он высказывал мне приблизительно то же, что я слышал вчера от Жоннара. По его словам, для французского правительства весьма важно иметь возможность заранее подготовить французское общественное мнение к участию Франции в войне, могущей возникнуть на почве балканских дел; вот почему французское правительство просит нас не предпринимать единоличных действий, способных вызвать подобную войну, без предварительного обмена мыслей с Францией». (Секретная телеграмма Извольского 16/29 января 1913 г.).

Такая преданность заслуживала поощрения. Все французские президенты, со времени основания франко-русского

союза, получали высший из царских орденов Андрея Первозванного, но получали его обыкновенно после паломничества в царскую столицу. Пуанкаре дали орден сразу, как только в Петербурге было получено известие об его избрании. «Пожалование г. Пуанкаре, при самом вступлении его в должность президента республики, ордена Андрея Первозванного, писал Извольский 14/27 февраля, присылка орденских знаков со специальным посланцем, а главное, содержание письма государя императора произвели здесь глубокое и самое отрадное впечатление».

Пуанкаре почувствовал потребность излить свою душу перед русским послом. Он «начал с того, что, с видимым волнением, высказал мне свою глубокую благодарность за оказанный ему государем императором знак внимания и расположения. Переходя к очередным политическим вопросам, он подтвердил мне все, что я уже слышал от г. Жоннара относительно германских вооружений и необходимых ответных мер со стороны Франции. По его словам, события последних восемнадцати месяцев произвели во французском общественном мнении крутой переворот и вызвали здесь давно небывалое патриотическое настроение. В этом отношении агадирский инцидент оказал Франции величайшую услугу; нынешнее же увеличение германской армии окажется, может быть, столь же благодетельным, ибо наглядно докажет несостоятельность теорий пацифистов и необходимость еще более прочной организации французских боевых сил».

«Неосновательность теорий пацифистов» доказывается всеми приведенными нами документами так же неотразимо, как и правильность прозвища, данного французскими рабочими Пуанкаре-«Война» (Poincaré la Guerre). Какие черные замыслы теперь таятся в этой черной душе? Сильно ли тоскует кавалер Андрея Первозванного, что он лишен возможности получить бриллиантовые знаки этого ордена? Во всяком случае, у монархической русской реакции за границей нет, вероятно, более верного друга, нежели этот бывший президент и нынешний премьер французской республики. Пуанкаре не только «Война», но—специально война против «пацифизма», т.-е. интернационализма и воплощающей его Советской России. Его новое пришествие к власти—это символ, будем надеяться, такой же символ последней предсмертной судороги французского империализма, как диктатура Трепова в 1905 г. оказалась символом последней судороги старого русского самодержавия.

*Предисловие к книге Пуанкаре «Происхождение мировой войны».*





## КАК ВОЗНИКЛА МИРОВАЯ ВОЙНА

1 августа нынешнего года исполняется десять лет с того дня, когда началась война, которую иные называют «великой», другие «мировой», третьи, проще и точнее — «империалистской».

Великой она была, без сомнения, в том смысле, в каком иногда говорят о «великой чуме» XIV столетия. Большого военного бедствия не видел мир. Ни одна война из этой эпохи, когда уже существовала статистика и мы более или менее точно знаем число погибших, не идет даже в отдаленное сравнение... Крымская война 1853—1856 годов, где участвовало пять стран, в том числе три крупнейших тогдашнего мира, унесла немного более 600 тысяч человеческих жизней; франко-прусская 1870 года, перевернувшая равновесие сил континентальной Европы, — всего 166 тысяч; бойня 1914—1918 годов обошлась в десять миллионов жизней. Сравнительно с этим какая-нибудь австро-прусская война 1866 года, с двадцатью пятью тысячами убитых у обеих стран, почти не заслуживает упоминания в летописях взаимного истребления человечества, — а еще тридцать лет назад Берта Зуттнер выбрала именно ее темой для своего пацифистского романа «Долой оружие!». «Нашла ужасы!», с горькой усмешкой мог бы сказать теперешний читатель, если бы теперь кто-нибудь читал Берту Зуттнер.

И мировой война была в гораздо более широком смысле, чем какая бы то ни было из ее предшественниц. Не в том дело, что дрались во всем мире: это бывало всегда с тех пор, как история вступила в «океанский» период развития и в боях участвовали крупные морские державы. Уже в Семилетнюю войну, середины XVIII века, сражались и в Индийском океане, и в Балтийском море, на берегах реки св. Лаврентия и на берегах Одера, на Антильских островах и на острове Джерзее, в Ламаншском проливе. Но все эти далекие друг от друга места политически были лишь объектами войны. Ее субъектом была небольшая группа старых европейских наций — англичане, французы, пруссаки, австрийцы, русские. В войне 1914—1918 годов

политически участвовали самые экзотические страны: Австралия, Южная Африка, Япония и Китай. Никогда более выпукло не выступало на политической сцене мировое хозяйство. Никогда не было более яркой иллюстрации тому, как далеко мы ушли от времен, изображаемых в гетевском «Фаусте», когда мирные обыватели немецкого городка могли благодушно болтать вечером о том, что вот где-то там в Турции «дерутся». Где бы ни начали драться, до нас дойдет, будьте уверены!

И этот мировой характер войны больше всего подчеркивал ее империалистский смысл. Фактически перед 1914 годом уже не было национальных капитализмов — французского, английского или германского: был мировой капитализм, отдельные группировки которого спекулировали на национальных чувствах мелкой буржуазии различных стран. В России этого периода железо было на 55% в руках французов, на 22% в руках немцев и на 10% в руках франко-германских объединений. В каменном угле эти последние объединения были заинтересованы на 10,5%, в то время как «чистые» французы имели 74,3%, а «чистые» немцы 13,1%. Англичане особенно любили, как известно, русскую нефть, но «национально» владели ею лишь менее, чем на  $\frac{1}{5}$  (18,5%): почти половину (44,5%) они держали в братском союзе с французами. Юридической же оболочкой для всего этого иностранного держания русских благ были отечественные российские банки, которым принадлежали акции соответствующих предприятий, тогда как акции самих банков были в портфелях заграничных капиталистов. В руках банков было 85,8% всей русской металлургии, 76,9% каменноугольных копей и 86% нефтяных предприятий<sup>1</sup>. Только текстильная промышленность России перед войной сохраняла еще свой старый индивидуалистический характер. Все остальное было уже объединено финансовым капиталом, хотя форменные тресты только начинали лишь образовываться. Отчасти это объяснялось устаревшей политической оболочкой — попытка образовательной трест в 1908 году натолкнулась на административные препятствия. Но гегемония банков означала по существу то же самое, а она была совсем не новым в России явлением: уже в конце 1890-х годов промышленные ценности в портфелях некоторых русских банков составляли более 50% (Торгово-промышленный банк) и даже до 70% (Частный Коммерческий банк в 1896 г.). «Таким образом», заключал исследователь, книжка которого вышла в 1902 г., ранее даже японской войны, «помимо обыкновенного кредита, оказывавшегося

<sup>1</sup> Цифровые данные заимствованы из неизданной пока работы тов. Ванана (из Института Красной Профессуры). (См. Вананг. «Финансовый капитал в России»).

банками лишь вновь возникавшим промышленным предприятиям под тем или иным обеспечением, банки являлись непосредственными участниками, а иногда и основателями этих предприятий в качестве собственников значительного числа их акций. Одни банки покровительствовали одним промышленным предприятиям, другие—другим»<sup>1</sup>.

Из этого переплета капиталов некоторые пацифисты, мыслившие образами старых «национальных» войн, сделали заключение о невозможности, в начале XX в., международных войн вообще. Они упустили из виду, что отдельные группы капиталистов, отдельные «концерны», преобладающие в том или другом государстве, могут пустить в ход «последнее средство» этого государства, пушки, для достижения целей, не имеющих ничего общего с национальными, но тем более рьяно накачивая в головы мелкого буржуа «патриотический» дурман через свою прессу. Переплет капиталов должен был только придать последней войне более гнусно-лицемерный характер, чем имела когда-либо какая-либо другая. Нельзя заставить людей идти на смерть из-за «Лионского Кредита» или «Немецкого Банка»: нужно было внушить им, что «Лионский Кредит» — это Франция, а «Немецкий Банк» — это Германия, а для этого, прежде всего, крепко зажать рот всякому порядочному человеку, который мог бы крикнуть одураченным: «позвольте, это вовсе не отечество, это — биржа!». Вот отчего неизбежным вступительным аккордом к объявлению войны любой из участвовавших в ней стран было провозглашение осадного положения. Простаков уверяли, что во время войны всегда так делается, и никакая военная цензура не позволила бы напомнить, что в 1870 году, когда  $\frac{1}{3}$  французских департаментов была занята неприятельскими войсками, осадное положение существовало только в тех частях страны, где фактически происходили военные действия, и за двести километров от фронта действовали законы мирного времени.

Империалистский характер войны и господство финансового капитала в царской России делали участие в войне этой последней фактом, само собою разумеющимся. Этому нисколько не противоречит то, что непосредственно война была связана с интересами русского торгового капитала, давшего ей лозунг: «ключи от собственного дома!». Эта последняя война царской России достойным образом заканчивала «историческую миссию» дома Романовых, начавших с борьбы за такие же «ключи» на севере, с борьбы за господство на Балтийском море. Война за «про-

<sup>1</sup> Б. Брандт. «Торгово-промышленный кризис в Западной Европе и в России (1900—1901)». Ч. I, стр. 52—53.

ливы» была точно такой же борьбой за торговые пути, и крайне нетрудно найти статистическое обоснование для начала этой последней борьбы в 1914 году. Если мы возьмем размеры русского хлебного вывоза и размеры русского активного баланса в последнее пятилетие перед войной, мы получим две чрезвычайно выразительные колонны цифр:

Года	Хлебный вывоз	Торговый баланс
	Милл. руб.	в пользу России Милл. руб.
1909	760,7	581
1910	847,1	431
1911	821,2	491
1912	548,5	391
1913	647,8	200

Вывоз 1912 года составлял только 64,7% вывоза рекордного, 1910 года, а баланс 1913 года всего 34,4% рекордного баланса 1909 года. При чем три последние года давали прогрессию падения прямо катастрофическую — от 20% почти до 50% в год. Это была такая дыра в кармане, что ее не могли не заметить в те годы люди, весьма далекие не только от теоретической, но и от прикладной экономии. В известном, неоднократно цитировавшемся, разговоре с английским послом Бьюкененом, в апреле 1914 года, Николай сказал ему, что, если Турция опять закроет проливы, он, Николай, «прибегнет к «силе», чтобы очистить дорогу русскому хлебу. Ибо в основе всей вышеприведенной статистики лежал тот факт, что, благодаря ряду войн, начавшихся с 1911 года (итало-турецкая, балканская, турецко-греческая и т. д.), знаменитые «проливы» — Босфор и Дарданеллы, большую часть времени были закрыты для плавания. Что означало это для русского хлебного вывоза, нетрудно понять, если вспомнить, что этот вывоз, в трехлетие 1906—1908 г.г., например, на 89% шел через порты Черного моря. В 1911 году вывоз через Дарданеллы составлял более  $\frac{1}{3}$  всего, не только хлебного, русского вывоза (568 милл. руб. из 1.597 милл. руб.). Убытки от закрытия Дарданелл русское министерство финансов исчисляло в 30 милл. руб. в месяц. «Свобода морского торгового пути из Черного моря в Средиземное и обратно является... необходимым условием правильной экономической жизни России и дальнейшего развития ее благосостояния», — говорит секретная записка министерства иностранных дел о захвате проливов, составленная осенью 1914 года. Читай — «благосостояния российского торгового капитала».

С гегемонией банков это великолепно увязывается, поскольку мы знаем, что банки принимали деятельное участие в спекуляциях с хлебом. И, тем не менее, как ни на-



глядно кажется это объяснение, здесь мы имеем только наиболее близкий, реальный повод войны (о формальных поводах мы будем говорить ниже). Причины же лежат глубже.

Прежде всего, та же секретная записка министерства иностранных дел в своей аргументации оперирует вовсе не одним вывозом, а и гораздо более общими соображениями. «Значение для России морского торгового пути через проливы в будущем несомненно во много раз увеличится», — говорит ее автор (известный Н. А. Базили — один из соавторов отречения Николая). «Экономическое развитие нашего юга происходит особенно скоро и успешно. Можно ожидать, что, благодаря обилию железа и угля и близости моря, наши южные губернии превратятся в богатый промышленный район. Это не сможет не вызвать роста черноморской торговли. Такое же влияние окажет и развитие путей сообщения и эксплуатация богатств экономического Hinterland'a Черного моря и в частности Персии».

Таким образом, и в официальной постановке речь шла отнюдь не только о транзите, — в перспективе стояли и рынок для металлургии русского юга, и эксплуатация черноморского Hinterland'a — читай: Малой Азии. Тут кстати вспомнить, что, ведь, и Николай I в свое время лег костями не ради русского хлебного вывоза, в его время шедшего, главным образом, через Балтику (еще в 1870-х годах этим путем шло 54% всего русского хлебного вывоза): «пролагая вооруженною рукою пути торговле русской на Востоке», он хлопотал больше о русской мануфактуре, которой становилось тесно на прокрустовом ложе русского крепостного хозяйства. Нужно было или освободить русского мужика, или удвоить его турецким... Первого Николай боялся больше, чем внешней войны, и только, когда опыт показал обратное, его сын пошел на расширение внутреннего рынка.

Империализм Николая I был, главным образом, «ситцевый». Не следует думать, что к XX веку этот мотив — интересы русской мануфактуры — совершенно исчез из обращения. Если мы возьмем вывоз бумажных тканей из России по азиатской границе, мы получим для 1909 г. 21,5 милл. руб., а для 1913 г. — уже 40,8 милл. руб.: за четыре года увеличение почти вдвое. Но в ряду реальных поводов к войне 1914 г. этому моменту приходится отвести совсем второстепенное место. Уже в 1870-х годах русский империализм (для конца века приходится говорить об империализме в весьма точном, отнюдь не переносном смысле, не в виде метафоры, как для времен Николая I) приобрел ту твердую металлическую базу, которая всякому империализму свойственна. Уже война 1877—78 г.г. была в известной сте-

пени попыткой выбросить за границы России железнодорожное строительство, возможности которого внутри «империи» нетерпеливым грюндерам казались исчерпанными. Об этом неопровержимо свидетельствует болгарская политика Александра III, железнодорожный смысл которой так бьет в глаза, что его не могли не заметить совершенно не причастные к марксизму русские генералы и болгарские «предприемачи» 1880-х г.г.<sup>1</sup> Но если для Болгарии этого времени «главная суть дела заключалась в разрешении железнодорожного вопроса», по свидетельству генерала Соболева, то нетрудно догадаться, что и к сути русско-турецкой войны 1877—78 г.г. дело это было весьма близко. А насколько вообще был близок и при Александре III вопрос о «проливах» к основной оси русской внешней политики, показывают, с одной стороны, постройка при этом царе чрезвычайно сильного, по тем временам, черноморского флота и сформирование в одесском округе специального «высадочного» корпуса, который предназначен был к тому, чтобы под прикрытием этого флота захватить Константинополь; с другой — русско-германский договор 1887 года, приложенный к которому «дополнительный и весьма секретный протокол» гласит (ст. 2-я): «В случае, если бы его величество император российский оказался вынужденным принять на себя защиту входа в Черное море в целях ограждения интересов России, Германия обязуется соблюдать благожелательный нейтралитет и оказывать моральную и дипломатическую поддержку тем мерам, к каким его величество найдет необходимым прибегнуть для сохранения ключа своей империи»<sup>2</sup>.

«Меры», как теперь известно, решил было принять наследник Александра III, очень скоро после своего воцарения. О проекте захвата Босфора 1895—96 г.г. мы знаем и из записок Витте, и из секретных документов русского министерства иностранных дел, недавно опубликованных<sup>3</sup>. Не знаем только, что стало поперек дороги осуществлению этого проекта: конечно, не его стратегическая нелепость, ибо он, во-первых, не только «обсуждался», но был почти доведен до осуществления, а во-вторых, он возникал периодически и в последующее время, в 1908 и, в последний раз, зимою 1913—14 годов, при чем неосуществимость его воен-

<sup>1</sup> См. статью пишущего эти строки в сборнике «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии», изд. «Красная Новь», 1924 г., стр. 345 и след.

<sup>2</sup> «Красный Архив», т. I, стр. 150—151.

<sup>3</sup> «Воспоминания» Витте, ч. I, стр. 80 и сл., русск. изд. «Красный Архив», там же, стр. 152 и сл.

ными специалистами все время сознавалась как нельзя более отчетливо<sup>1</sup>.

Во всяком случае вопрос даже о Константинополе приходится далеко расширить за пределы влияния русского хлебного вывоза и торгового баланса в 1912—13 г.г. Это был большой вопрос русского империализма, зревший по мере того, как зрел последний, и практически подведший к возможности европейской войны уже весной 1912 года, за два года до разговора Николая II с Бьюкененом о проливях. Мы имеем в виду тот сербско-болгарский договор февраля 1912 года, от близкого знакомства с которым так тщательно — и так комично иногда — старается откреститься Пуанкаре в своей последней книжке<sup>2</sup>. Стараясь отвести от себя ответственность за появление на свет этого «орудия войны», как метко окрестил вождь французских империалистов этот документ при первом на него взгляде, Пуанкаре, в сущности, достаточно детально выясняет смысл этого эпизода с точки зрения мировой политики, и за деталями мы отсылаем читателя к его книжке, легко всем доступной. Напомним лишь, что речь в нем шла, фактически, ни более, ни менее, как о разделе Европейской Турции — операция, куда почище пресловутой «аннексии» Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 году, а и из-за той едва не вспыхнула война. В каком стиле был составлен этот «мирный» трактат, покажет маленькая выдержка из секретной телеграммы управляющего тогда министерством иностранных дел Нератова, относившейся еще к первой редакции договора, осенью 1911 г. «Вся редакция «Соглашения», особенно же статья 4-я, основана на идее военных действий и насильственных захватов, между тем, как та же мысль могла бы быть изложена в форме определения культурных сфер влияния, что не казалось бы прямо направленным против Турции и вполне покрывалось бы формулой сохранения *status quo*» (Пуанкаре очень остроумно замечает, что *status quo* упоминается в трактате исключительно на предмет его нарушения...). Указания начальства были приняты во внимание, и договору была придана, «культурная» форма, но вытравить из него военный дух оказалось выше сил человеческих: в самом конце процесса, уже в феврале 1912 года, мы встречаем телеграмму Неклюдова (русского посланника в Софии), передающую просьбу болгар уговорить сербов «подписать соглашение на основании границ Романовского». Романовский — это тогдашний русский военный агент в Софии: за невозмож-

<sup>1</sup> См. «Воспоминания» Сухомлинова, нем. издание, стр. 240.

<sup>2</sup> «Происхождение мировой войны», стр. 120 и сл. по русскому переводу.

ностью привести к соглашению единокровные славянские нации, от имени которых договор составлялся, Турцию делил русский генеральный штаб...

Эта маленькая черточка показывает, насколько непричастна была к этому делу Россия, министр иностранных дел которой, Сазонов, якобы, до мая месяца «совершенно не был осведомлен о сербско-болгарском договоре». (!Так, подлинно, стоит у Пуанкаре, стр. 121 русск. перев.). Дело с русской невинностью, впрочем, настолько ясно, что серьезно выгораживать своего русского коллегу Пуанкаре и не пробует. Но он совершенно серьезно выгораживает себя и уверяет, что он-то, Пуанкаре, до самого сентября 1912 г. ровнешенько ничего не знал об «орудии войны», а когда узнал, то пришел в ужас, но было слишком поздно. Для того, чтобы быть справедливым ко всем участвующим сторонам, необходимо привести еще одну телеграмму из той же серии. Еще в ноябре 1911 г. русский посланник в Белграде Гартвиг телеграфировал Нератову, со слов сербских министров, сопровождавших короля Петра в Париж: «Франция в полном единомыслии с Россией готова всячески содействовать осуществлению национальных задач Сербии. В Париже, по словам министра (сербского), относятся весьма скептически к Балканской федерации, но глубоко сочувствуют сербско-болгарскому союзу, видя в нем серьезный оплот против германо-австрийского натиска». Правда, министром иностранных дел Франции в это время формально был еще де-Сельв, но кто же будет настолько наивен, чтобы поверить, что Пуанкаре не было известно то, что было известно де-Сельву, Делькассе, Бареру и «другим государственным деятелям» Франции, о которых упоминает Гартвиг.

Но оставим второстепенный вопрос о политическом жульничестве и о том, кому в нем принадлежит пальма первенства,—Пуанкаре или Сазонову. Для нас важно установить одно: что царская Россия уже в 1911—12 г.г. готовила раздел Европейской Турции, что—это мог бы не понять только новорожденный младенец—имело 95% вероятия привести к европейской войне. Вопрос, как видим, расширяется и за пределы Константинополя. В европейской войне нужно было иметь европейских союзников. На этих союзников нельзя было повлиять рассуждениями о вывозе русского хлеба через Дарданеллы. У них должны были быть какие-то более общие мотивы.

Тут многое приоткрыли уже цитированные однажды выше воспоминания Сухомлинова. Очень лживые в том, что касается личной роли и личной ответственности бывшего лидера русской военной партии, они безусловно заслуживают доверия во всем, что он говорит против этой пар-

тии, — ибо уж кого-кого, а Сухомлинова заподозреть в желании здесь сгустить краски не приходится. Если он сам признается, значит тут, самое меньшее, 50% истины. И когда мы у него читаем: «Раздавить Германию было лозунгом, который определял всю деятельность наших (русской и французской) армий; но момент для разрешения этой военной задачи определяли не солдаты, а дипломаты», — этому можно поверить. А Сухомлинов резюмирует так свой рассказ о его совместной работе с генер. Жоффром — перед войной, как известно, начальником главного штаба французской армии.

И тут же в воспоминаниях Сухомлинова приводится ряд документов, великолепно устанавливающих связь между дружной работой французского и русского генеральных штабов и, боимся, едва ли не позабытым читателем, финансовым капиталом. Документы эти — происходившая летом 1913 года, за год до начала войны, переписка между Коковцевым, Сазоновым, Нератовым и другими руководителями русских финансов и русской внешней политики по поводу займов России на парижской бирже<sup>1</sup>. Открывается эта серия письмом Коковцева к Сазонову по поводу предложения де-Вернейля, председателя комиссии парижских биржевых маклеров, гарантировать России ежегодный выпуск в Париже обязательств на сумму от 400 до 500 миллионов франков (золотых, разумеется, — бумажных еще не было тогда...) под двумя условиями:

- 1) что Россия немедленно примется за постройку стратегических железных дорог, признанных необходимыми на совещании французского и русского генеральных штабов;
- 2) что мирный состав русской армии будет значительно увеличен.

Едва ли во всей предвоенной литературе есть что-нибудь выразительнее этого непосредственного и официального участия парижской биржи в реализации не каких-нибудь «промышленных ценностей», а решений военных специалистов по стратегическому вопросу. Прекрасно зная «план Шлиффена», по которому работал германский штаб, и который заключался в том, что первый удар в случае войны наносился Франции, оставляя для России вторую очередь, в расчете на медленность русской мобилизации и концентрации, Жоффр и его коллеги настаивали на максимальном ускорении этих последних процессов. Русская армия должна была успеть схватить за шиворот немцев раньше, чем французы будут разбиты. Для ускорения мобилизации служило усиление мирного состава, позволявшее русской армии выступить в поле, в крайнем случае, даже и

<sup>1</sup> Suchomlinov. «Erinnerungen», Berlin. 1924, стр. 244 и сл.

не дожидаясь окончания мобилизации: так именно, мы знаем, и случилось в августе 1914 г. А ускорить концентрацию этих сил на Висле должны были новые железные дороги. Как видим, события августа 1914 г., одновременность сражения на Марне и русского наступления в Восточной Пруссии, были отлично предусмотрены за год до этого. Только, так как железных дорог построить не успели (война намечалась первоначально не раньше 1915 г.), концентрация совершилась с некоторыми недочетами, стоившими России в конечном счете более 100.000 человек, — но главная цель, спасение французской армии от разгрома, была достигнута...

Совершенно ясно, что парижская биржа (одной из главных фигур ее в это время был австриец Розенберг) действовала из соображений не только патриотических, что, по меньшей мере, ее патриотизм имел некоторое материальное основание. Это основание вскрывается особенно отчетливо именно теперь, когда мы имеем и политически, и экономически законченные процессы, имеем, с одной стороны, рурскую экспедицию Пуанкаре, с другой — кривую развития французской металлургии за двадцать слишком лет. Теперь, когда мы знаем, что Франция имела 2,7 миллиона тонн чугуна в 1900 году, 4 миллиона тонн в 1910 и имеет 11 миллионов тонн сейчас<sup>1</sup>, металлургическая база французского империализма становится совершенно очевидной. Совершенно ясно, кому и зачем были нужны и саарский уголь, и лотарингская руда, а в конечном счете — и рурский бассейн. А если мы вспомним, как нежно любили парижские банки русскую металлургию (55% русского железа было фактически во французских руках), дело станет еще очевиднее. Начиналась борьба не на жизнь, а на смерть между двумя могучими металлургическими концернами — борьба, продолжающаяся при ином соотношении сил, и на наших глазах. Столицей одного концерна был Берлин, другого — Париж. Первый под конец персонифицировался окончательно, и имя этому воплощению было Стиннес; второй продолжает оставаться анонимным, довольствуясь частичным полувоплощением лишь в политической плоскости: имя этому полувоплощению — Пуанкаре.

Что последний при таких условиях должен был немедленно же по вступлении в должность французского министра иностранных дел заинтересоваться русскими восточными делами<sup>2</sup>, это разумелось само собою: там же был тот лакомый кусок, которым вернее всего можно было вы-

<sup>1</sup> В новых границах, в старых — 5,3 милл. тонн.

<sup>2</sup> См. статью пишущего эти строки „Кто такой Пуанкаре“, перепечатанную при русском переводе цитированной выше книги Пуанкаре — «Происхождение мировой войны». (См. 112 стр. настоящего сборника).

манить русского медведя из его берлоги. Если бы в основе войны, с русской стороны, был только «реальный повод», статистически выражавшийся в цифрах русского хлебного вывоза и торгового баланса, Россия оставалась бы столь же одинокой, как и в 1878 году. Если ее «верная союзница» оказалась верною безо всяких кавычек, то это потому, что, благодаря переплету банковских капиталов, Россия уже входила в цепь мировых империалистических сил, к 1912 году сгруппировавшихся окончательно в два лагера—английский и германский.

По вопросу о роли Англии в подготовке войны мне приходилось писать не раз<sup>1</sup>. К тому, что я писал пять лет назад, много нового прибавлять не приходится, а повторяться не хочется, ограничусь поэтому напоминанием главного и основного. Как мне представляется, непосредственно промышленное соперничество Англии и Германии не играло тут главной роли. Мировой рынок в этом отношении был достаточно емок, вывоз всех трех соперничавших империалистических колоссов мог расти довольно быстро, и Англия в этой конкуренции была не на последнем месте (с 1904 по 1910 г. английский вывоз возрос на 75%, германский — на 86%, американский — на 62%). Крутое и непримиримое соперничество начиналось в области мирового транспорта: этой монополией Англия никому не могла уступить, ибо, лишившись ее, она переставала быть «Великой Британией, владычицей морей», переставала быть Англией. Между тем, тут угроза была явная и очевидная. Если мы возьмем за 100 число английских пароходов в 1870 году, число их в 1908 году выразится цифрой 365; если мы возьмем за 100 их вместимость (число тонн 1870 года), для 1908 года мы получим 910: число пароходов увеличилось слишком втрое, их вместимость менее чем в 10 раз. А если мы произведем такое же сравнение для Германии, мы получим:

	Пароходы	Тоннаж
1871	100	100
1909	1.328	2.808

Число германских пароходов за такой же промежуток времени увеличилось в тринадцать раз, а их тоннаж в 28 раз. Еще явственнее будет нам видно, как Германия догоняла «владычицу морей», если мы возьмем пароходы новейшего типа, суда-гиганты, вместимостью более 12.000 тонн каждое. Во всем мире их было в 1910 году 80: из них 42 принадлежали Англии, 22 Германии и 16 всем

<sup>1</sup> В статьях: «Винновники войны» в сборнике «Внешняя политика», М. 1919, и «К вопросу о виновниках войны» в еженедельнике «Правды», февраль и март 1919 г. (см. 82 стр. настоящего сборника).

остальным странам, вместе взятым. И в то время, как германские сверх-гиганты по 40 тысяч тонн, «Фатерланд» и «Император», благополучно плавали (под другими именами и под другим флагом плавают и до сих пор), английский пароход этого типа, «Титаник», пошел ко дну при первом же рейсе.

При свете этих цифр нам становятся понятны речи, которые Сазонов услышал в Бальморале, приехав туда в сентябре 1912 г., когда Грей, «не колеблясь, заявил, что если бы наступили предусматриваемые (Сазоновым) обстоятельства (т.е. вспыхнула русско-германская война. *М. П.*). Англия употребила бы все усилия, чтобы нанести самый чувствительный удар германскому морскому могуществу», а Георг V еще более энергично заявил, что англичане намерены пускать ко дну всякое германское торговое судно, которое они встретят на своем пути. („We shall sink every single German merchant, ship we shall gethold of“). Если будущее Германии «лежало на воде», то настоящее Англии было там же—и тут уже для двоих места никак найти было нельзя.

Дополнительным «реальным поводом», приблизительно такой же силы, как для России хлебный вывоз через Дарданеллы, был для Англии вопрос о Багдадской железной дороге<sup>1</sup>. Всякий, кто протягивал руку к Египту и Индии, обнаруживал опасную тенденцию вынуть из английского кармана побольше тех 30 милл. р. в месяц, что вынимали из русского кармана запертые Дарданеллы: одна Индия давала англичанам столько же, сколько стоил весь ежегодный русский хлебный вывоз. Но это был все же не более, чем «реальный повод» крупного, но все же местного значения, а мировую войну могли развязать лишь причины значения мирового. Такой и было соперничество Англии и Германии в области океанского мирового транспорта.

Если мы к этой причине присоединим столкновение двух металлургических концернов и дарданелльский вопрос для России, мы получим три конфликта, которые могли быть разрешены только силой: ни Германия не уступила бы добром, без драки, Саарского бассейна и Лотарингии, ни Турция—Дарданелл, не говоря уже о том, что германский флот добровольно не пошел бы на дно морское. Между тем, весь ход войны показал, какое значение для Англии имел этот последний конфликт: как ни грандиозны были английские операции на суше, они все, по существу, были дополнением к обороне или нападению на море; на западном театре английская армия защищала

<sup>1</sup> См. «Внешняя политика», стр. 182 и сл.



подступы к Па-де-Кале, на восточном она пыталась взять Дарданеллы—даже когда война превратилась в интервенцию, англичане не сошли с проторенной колеи, наложив руку на выходы Советской России к океану, на Мурман и Архангельск. И заострился весь англо-германский поединок в подводную блокаду, в которой немцы под конец стали видеть главное средство достигнуть победы.

Чтобы развязать войну, было больше причин, чем нужно, — вот почему спрашивать о «виновнике» в буквальном смысле этого слова, останавливать главное внимание на формальных поводах к войне, как это делали все, о ее возникновении писавшие, включая и Каутского,—дело, в значительной степени, праздное. При таком соотношении сил, какое сложилось к лету 1914 года (фактически уже к осени 1912 г.), не тот, так другой формальный повод должен был найтись. Но раз вопрос о «виновнике» поднят, об этом пишутся книги, этому посвящаются целые журналы (*Die Kriegsschuldfrage*), под этим лозунгом подвергаются травле целые страны и народы,—если не научных, то житейских оснований достаточно, чтобы отвести и этому сюжету долю внимания. Кстати же мы и тут имеем кое-какие штрихи, рисующие «быт и нравы» империализма.

Изыскания Каутского и прочих открывателей «виновника» берут за исходную точку убийство сербскими националистами эрцгерцога Франца-Фердинанда 28 июня 1914 г. Между этой датой и 1 августа того же года стараются они открыть «причины войны». И так как для этого промежутка времени воинственные настроения не только Австрии, но и Германии вне всяких сомнений, то установление «виновника» дается Каутскому с самым блестящим успехом. В самом деле, разве мы не имеем депеши Чиршкого<sup>1</sup> из Вены от 10 июля (за две недели до ультиматума), где черным по белому написано: «Если бы сербы приняли все выставленные требования, это был бы исход, который ему (графу Берхтольду, австрийскому министру иностранных дел) «очень несимпатичен», и он (Берхтольд) еще обдумывает, какие бы требования можно было поставить, чтобы их принять было для Сербии совершенно невозможно». Получивший эту депешу своего венского представителя, Вильгельм подчеркивает набранные разрядкою строки и на полях подает добрый совет насчет «совершенно неприемлемых условий»: «Очистить Санджак! Вот ссора и готова».

Итак, уже 10 июля и для Вены и для Берлина дело шло только о том, чтобы создать формальный повод для войны с Сербией. Четыре дня спустя граф Берхтольд кончил

<sup>1</sup> Посол Германии в Вене.

«обдумывать». Делеша Чиршкого от 14 июля с торжеством сообщает: «Нота (адресованная Сербии) так составлена, что принятие ее совершенно исключено». Слово «исключено» подчеркнуто Вильгельмом дважды. Как же не виновник и не соучастник?

Опубликованные Каутским и его сотрудниками документы не оставляют сомнения, что в этот промежуток времени, 28 июня—1 августа, у Вильгельма была одна забота: и з б е ж а т ь в о й н ы с А н г л и е й. Войну Австрии с Сербией он провоцировал, на войну с Россией—и Францией—из-за Сербии он шел с совершенно открытыми глазами. Правда, у него была тень надежды, что Николай II «постыдится» выступить на защиту «цареубийц», но он жил не этой тенью, а уверенностью, что со своими сухопутными противниками германо-австрийский союз справится легко и быстро. Поджилки у него дрогнули в первый раз, когда ему стало ясно, что Англия не останется на нейтральной позиции; этот поворот отмечен телеграммой Бетмана-Гольвега<sup>1</sup> Лихновскому<sup>2</sup> от 28 июля, письмом Вильгельма к своему министру иностранных дел от того же числа и, наконец, в виде заключительного аккорда, бешеными замечаниями Вильгельма на депеше Лихновского от 29-го. Тут уже неприемлемость австрийского ультиматума перестает быть его достоинством, напротив, Вильгельм разуетя, что Сербия все-таки его приняла, что «для войны нет больше никакого основания»—и это вовсе не так плохо, как ему казалось двумя неделями раньше, ибо теперь война означала гибель германского торгового флота и всех связанных с ним надежд.

Так будет, доколе мы, уподобляясь загипнотизированной курице, не могущей отвести нос от проведенной на полу мелом черты, не сможем оторваться от роковой даты 28 июня 1914 г. Но если мы решимся сбросить с себя этот гипноз и заглянуть только на месяц-другой ранее (не больше!), то мы найдем ряд фактов, которые посрамят Вильгельма с его коварными намерениями насчет Сербии, ибо покажут, насколько германский хищник был мельче и ниже полетом своих соперников. Его мечтания в начале июля не шли дальше аннексии Сербии, хотя бы путем войны с Россией и Францией, и он в ужасе отпрянул от идеи мировой войны с участием Англии, а его соперники готовили уже именно мировую войну, с широтою целей и энергией средств поистине беспримерной.

Первый из этих майских документов относится к переговорам России и Англии о заключении морской конвен-

<sup>1</sup> Тогдашний германский канцлер.

<sup>2</sup> Германский посол в Лондоне.

ции, переговорам, существование которых так энергично отрицал сэр Эд. Грей перед германским послом. Частично он был уже опубликован, целиком же, кажется, нет,—а он не длинен и стоит того. Приводим его в точной копии.

«13 мая у начальника морского генерального штаба состоялось совещание для обмена мыслей касательно предстоящих переговоров о заключении соглашения между Россией и Англией о согласованных операциях их морских сил в случае совместных военных действий России и Англии при участии Франции. На этом совещании присутствовали: начальник морского генерального штаба вице-адмирал Русин, товарищ министра иностранных дел гофмейстер Нератов, помощник начальника морского генерального штаба капитан I ранга Ненюков, директор канцелярии министерства иностранных дел в должности гофмейстера д. с. с. барон Шиллинг, военно-морской агент в Англии флигель-адъютант капитан I ранга Волков и вице-директор канцелярии министерства иностранных дел в звании камергера коллежский советник Базили.

Отметив прежде всего всю желательность заключения такого соглашения, как со специально военно-морской точки зрения, так и в особенности с общеполитической, совещание по всестороннему обсуждению вопроса пришло к нижеследующим заключениям:

Прежде всего признано было, что морское соглашение наше с Англией должно, подобно Франко-Русской морской конвенции, иметь в виду согласованные, но отдельные действия наших и английских морских сил.

В отношении стратегических целей, выдвигаемых с наше йточки зрения в случае войны держав «Тройственно-го соглашения» с державами «Тройственного союза» надлежит различить, с одной стороны, морские операции в районе Балтийского и Немецкого морей, с другой—борьбу морских сил в Средиземном море. В том и другом из этих районов мы должны стремиться получить от Англии компенсацию за отвлечение на нас части германских морских сил. На северном театре войны наши интересы требуют, чтобы Англия удержала возможно большую часть германского флота в Немецком море. Это компенсировало бы подавляющее превосходство германского флота над нашим и, быть может, позволило бы в благоприятном случае, предпринять десантную операцию в Померании. Если бы оказалось возможным приступить к этой операции, осуществление ее представило бы значительные трудности вследствие слабого развития наших транспортных средств в Балтийском море. Английское правительство могло бы оказать нам в этом деле существенную услугу, согласившись до открытия военных действий перевести в

наши балтийские порты такое количество торговых судов, которое восполнило бы недостаток наших транспортных средств. Морское положение в Средиземном море также весьма существенно затрагивает наши интересы, так как в случае господства в этом море австро-итальянских сил возможны наступательные операции австрийского флота в Черном море, что явилось бы для нас опасным ударом. Поэтому с нашей точки зрения представляется весьма важным установление прочного перевеса сил «Тройственного соглашения» над австро-итальянским флотом в Средиземном море. В виду существующего превосходства австро-итальянских морских сил над французскими, желательно, чтобы оставлением необходимого количества судов в Средиземном море Англия обеспечила господство в этом море сил «Тройственного соглашения», по крайней мере, пока развитие нашего собственного флота не позволит нам взять эту задачу на себя. Было бы также желательно получить согласие Англии на то, чтобы наши суда могли пользоваться в качестве базы английскими портами в восточной части Средиземного моря, подобно тому как Франция, в силу морской конвенции, предоставила нам право базироваться на ее порты в западной части этого моря. Если бы в связи с положением в Средиземном море зашла речь о проливах, то надлежало бы, не касаясь политического вопроса о Босфоре и Дарданеллах, предусмотреть лишь временные военные меры в проливах, как одну из возможных стратегических операций наших в случае войны.

Помимо вышеизложенного, совещание признало желательным, чтобы предположенным морским соглашением нашим с Англией установлен был во всех подробностях порядок сношений между нашими и английскими морскими силами. Для этой цели необходимо будет согласиться о выработке системы общих сигналов и специальных шифров, об организации обмена радиотелеграммами и о способах сношений между морскими генеральными штабами России и Англии.

Необходимо, кроме того, договориться о том, чтобы наше и английское морские ведомства обменивались сведениями как о флотах третьих держав, так и собственных флотах и в частности техническими данными о применяемых в морском деле приборах и изобретениях.

По мнению совещания, надлежало бы также установить по образцу Франко-Русской морской конвенции периодический обмен мнений между начальниками нашего и английского морских генеральных штабов для обсуждения вопросов, интересующих морские ведомства обоих государств и проверки совместно намеченных мероприятий.

Переходя от содержания предположенного соглашения к порядку его заключения, совещание признало вполне соответственным предложение Английского правительства, чтобы оно выработано было нашим военно-морским агентом в Англии и английским морским ведомством при участии французского военно-морского агента в Лондоне и затем представлено было на одобрение правительств. В виду тесной связи, существующей между выработанным английским и французским генеральными штабами планом совместных действий и возможной кооперации нашей с английским флотом, необходимо, чтобы, как, повидимому, и предполагается, нам был сообщен текст Англо-Французского морского соглашения.

В заключение совещание высказало убеждение в необходимости, чтобы наш морской агент в Лондоне держал в курсе всего хода переговоров императорского посла в Лондоне, который, в свою очередь, окажет ему зависящее содействие».

Мы видим, до чего наивен был император Вильгельм, в июле рассчитывавший еще на английский нейтралитет, фактически агонизировавший уже в мае: переговоры морских штабов велись на основании принципиального соглашения, состоявшегося еще в апреле<sup>1</sup>. В особенности, конечно, драгоценно это желание русского морского штаба получить десантные средства для высадки в Померании «до начала военных действий»: несумасшедший мог так рассуждать лишь в том случае, если военные действия собирался начать он — если это начало предоставлялось инициативе противника, говорить об этом начале, как об определенном моменте, было бы смешно. Кто ж их, немцев, знает, когда они начнут? Совершенно ясно, что, когда Сухомлинов с Жоффром мирно беседовали о разгроме Германии, предоставляя дипломатам лишь установление момента этой операции, — они говорили не на ветер.

Другой «майский» документ еще более заслуживал бы воспроизведения целиком, но, к сожалению, у меня под руками сейчас только выдержки. Это — депеша Палеолога<sup>2</sup> к Делькассе<sup>3</sup>, заключающая в себе отчет о беседе французского посла «с влиятельным членом русского государственного совета» по поводу предстоящей судьбы Австро-Венгрии на случай смерти императора Франца-Иосифа.

«Прежде всего», заявил «член государственного совета», «мы должны будем присоединить Галицию. Наш военный министр, генерал Сухомлинов, мне на днях доказывал, что

<sup>1</sup> См. «К вопросу о виновниках войны», стр. 82 настоящего сборника.

<sup>2</sup> Французский посол в Питере.

<sup>3</sup> Французский министр иностранных дел.

обладание Галицией необходимо для безопасности нашей западной границы. И потом—это глубоко русская страна».

Дальнейшее содержание депеши Палеолога посвящено доказательству этого последнего утверждения его собеседника. И география, и этнография, и история, и даже религия,—все, по мнению Палеолога, доказывает, что Галиция «глубоко русская страна». Между прочим, Палеолог тут выбалтывает, что «православная пропаганда» в Галиции «поддерживается панславистскими комитетами» в Москве и Киве, —т.-е. носит чисто-политический и притом агрессивный (наступательный) со стороны России характер. Теперь-то конечно, никто в этом не сомневается, но в то время русское правительство тщательно скрывало, что его заботы о православии в Галичине имеют целью подготовить захват этой страны царской Россией.

Некоторые исторические и географические недоразумения, содержащиеся в этой части депеши, нисколько не мешают тому, что здесь Палеолог попросту передает пожелания своего собеседника, который, в свою очередь, говорил «конфиденциально» от имени русского правительства. Конец депеши, где Палеолог прямо говорит о «притязаниях нашей союзницы», не оставляет на этот счет сомнений: «влиятельный член государственного совета» высказывал не только свое личное мнение. Смерть же императора Франца-Иосифа была припутана ни к селу, ни к городу, просто затем, чтобы дать империалистским вожделям России хоть какой-нибудь предлог. Надо было с чего-нибудь начать разговор, притом не испугав чересчур французов перспективой вот-вот готовой надвинуться войны. Из других документов мы знаем, что президент Пуанкаре и то считал русских чересчур торопливыми: так вот «влиятельный член» и успокаивал—это, мол, не сейчас, ужотка, когда Франц-Иосиф помрет. А ему еще бог, может, два—три годочка жизни пошлет (австрийскому императору было тогда под 80).

Итак, весной 1914 года, за три месяца до начала войны, Россия готовилась к разделу Австро-Венгрии и уговаривалась об этом со своей союзницей Францией.

Но смерти Франца-Иосифа, как и кораблей для десанта в Померанию, было дожидаться долго. А руки чесались, и питаться далекими мечтаниями было все больше не в состоянии. И вот, пока морской штаб договаривался с англичанами, сухопутный решил действовать.

Летом прошлого года вышла брошюра сербского профессора Станоевича, мало обратившая внимания на себя у нас, но являющаяся самым крупным разоблачением из

истории подготовки войны за последнее время. Вот что там можно было прочесть:

«После свидания кайзера Вильгельма II и австрийского кронпринца Фердинанда в Конопиште, полковник Д. Дмитриевич, начальник осведомительного отделения сербского генерального штаба, получил секретное сообщение от русского генерального штаба о том, что русское правительство получило точные сведения о характере и цели свидания Вильгельма II и кронпринца Фердинанда, во время которого Германия одобрила план нападения Австро-Венгрии на Сербию и завоевания ее, а также обещала ей свою помощь и поддержку. Другие сведения, которые после этого получил полк. Д. Дмитриевич, подтвердили точность данных, полученных от русского генерального штаба. Среди же сербской публики по поводу решений, принятых на свидании двух монархов в Конопиште, были распространены фантастические и возбуждающие слухи, всеми овладела страшная нервозность, и воздух был наполнен электричеством.

Когда были назначены маневры австро-венгерских войск в Боснии и когда стало известно, что кронпринц Фердинанд намерен прибыть в Сараево, полк. Д. Дмитриевич был уверен, что Австро-Венгрия желает совершить нападение на Сербию. После долгого размышления,—как он (полк. Дмитриевич) сам рассказывал об этом в апреле 1915 года,—он пришел к заключению, что нападение на Сербию и войну можно предупредить только убийством Фердинанда, которого все сербское общественное мнение в тот момент рассматривало, как самого большого врага Сербии и сербского народа и как главного инициатора всякого действия против них».

Немецкие исследователи вопроса о «виновнике» немедленно представили целый ворох доказательств, что на последнем свидании Франца Фердинанда с Вильгельмом в Конопиште говорилось только о Румынии—а вовсе не о Сербии. Современное событиям секретное сообщение русского посла в Вене (от 13—26 июня 1914 г.) подтверждает немецкую версию. Шебеко писал Сазонову:

«Во время свидания в Конопиште, которое посвящено было, повидимому, главным образом, морским вопросам, там, оказывается, подвергся также обсуждению и румынский, при чем со стороны императора Вильгельма были сделаны успокоительные заверения, основанные на воодушевляющих, будто бы, короля Карла чувствах глубокой преданности личности императора Франца-Иосифа и главе дома Гогенцоллернов.

Более пессимистично отнесся император Вильгельм к будущему.

Исчезновение с политической арены короля Карла, по его мнению, может сильно отозваться на направлении внешней политики Румынии и повести к заключению союзов, на которые нынешний король никогда не согласится. В виду этого вопрос об укреплении Австро-Венгерской границы с Румынией должен быть решен в утвердительном смысле.

Слухи о возбуждении нами вопроса о проливах в связи с возрождением нашего флота тоже, повидимому, сильно беспокоили членов «Тройственного союза» и служили также предметом обсуждения в Конопиште, при чем эргерцог Франц Фердинанд, по свидетельству присутствовавших при свидании лиц, имел весьма продолжительные совещания с адмиралом Тирпицем, во время которых, как говорят, обсуждалась не только настоящая судостроительная программа Австро-Венгрии, согласно которой к 1918 году монархия должна располагать 12 дредноутами, но и секретная программа, состоящая в изготовлении на заводах отдельных частей судов, могущих быть собранными, в случае надобности, весьма скоро. Посещение Кронштадта английской эскадрой и пребывание в Париже начальника нашего морского штаба послужили также предметом самого оживленного обсуждения со стороны здешних политических кругов.

Нет никакого сомнения, что Дмитриевич лгал, уверяя, будто убийство Фердинанда казалось ему единственным средством «предупредить войну»: даже не очень глупый маленький ребенок понял бы, что этим средством войну можно только вызвать. Но сербская военщина, чувствуя на своем плече могучую руку северной покровительницы, не боялась войны. А покровительница играла большую игру,—и не даром один из наиболее близких к месту действия игроков, не упоминаемый Станоевичем, но незримо парящий над всею этой картиной—Гартвиг<sup>1</sup>, не выдержал волнения и умер скоропостижно через несколько дней после того, как в Белград пришло известие о сараевском выстреле.

Концепция Каутского оказывается не то что не верной, а уж очень близорукой. Конечно, после сараевского убийства Вильгельм рвал и метал и в лепешку готов был расшибить несчастную Сербию. Но уже тут сказано, насколько его соперники ловчее его и шире размахом: инициатива с самого начала была в их руках. Германский империализм потерпел первое поражение за полтора месяца до начала войны.

Итак, война непосредственно была спровоцирована русской военной партией. После того, как эта провокация совершилась, история политической подготовки войны была кончена, но не была окончена подготовка «обще-

<sup>1</sup> Русский посланник в Сербии. Умер 10 июля, а Сараевский выстрел имел место 28 июня.



ственного мнения» к войне. Одурачивание масс только теперь и начиналось. В истории этого одурачивания видную роль играет эпизод с русской мобилизацией. Изучая «формальные поводы»—как они сами по себе ничтожны,—этого эпизода обойти нельзя.

Тут мы получили за последние годы три первостепенных источника. Ранее всего появился первый том «Царской России во время войны» Палеолога—чрезвычайно подробный рассказ о том, что делалось в социальных верхах «Петрограда» за время войны, поскольку это было видно из французского посольства. Хотя и расположенный в форме поданных записей, рассказ Палеолога, на самом деле, как показывает ближайший анализ, обработан по различным материалам впоследствии и потому содержит в себе не мало мелких неточностей. Но в крупном, опираясь на документы и, вероятно, нечто в роде коротенького дневника, изложение Палеолога не вызывает больших сомнений. Позднее вышли по-немецки воспоминания Сухомлинова<sup>1</sup>. Это еще больше «мемуары», чем книга Палеолога (вышедшая—мы говорим о I томе—в 1921 г.). Их апологетически-лживый тон, по отношению лично к автору, мною уже отмечен. Но тем ценнее те места, где Сухомлинов невольно «пробалтывается». Пытаясь рассказывать, как и Палеолог, день за днем (вероятно, тоже по современной записи), Сухомлинов тоже путается в подробностях, а иногда явно их скрывает. Вот почему ценнейшим дополнением к обеим версиям, онемечившегося главы русской военной партии и французского «друга России», является вполне современная, составленная следом за событиями, запись русского министерства иностранных дел, опубликованная в IV томе «Красного Архива». По существу, это дневник Сазонова или материалы для его мемуаров, но им окончательно необработанные: последнее и придает им исключительную ценность.

Официальная, распространявшаяся книгами всех цветов и газетными к ним комментариями, версия была такова: Россия мобилизовалась лишь после того, как были исчерпаны все средства мирного соглашения. Австрия напала на Сербию, Германия явно поддерживала Австрию и, по сообщению официальной газеты „Local Anzeiger“, сама мобилизовалась; правда, сообщение было сейчас же официально опровергнуто, но слишком поздно: в Петербурге уже «нажали на кнопку». Это было в пятницу 31 июля. 1 августа Германия объявила России войну.

Перечисленные нами источники, исходящие от самых близких к событиям и наиболее осведомленных лиц, дают

<sup>1</sup> Помечены 1924 г., закончены, как видно из предисловия, уже в 1923 г.

такую картину. Немедленно по получении австрийского ультиматума Сазонов восклицает: «с'est la guerre européenne» (это—европейская война). В три часа дня того же 24 июля, т.-е. через несколько часов после получения в Петербурге известия об ультиматуме, происходит совет министров, на котором, по предложению министра иностранных дел, «была принципиально решена мобилизация 4 военных округов, а также обоих флотов, черноморского и балтийского»<sup>1</sup>. После этого сколько угодно можно было толковать, что «наши военные приготовления направлены исключительно против Австро-Венгрии и не могли быть истолкованы, как недружелюбные действия против Германии»—дело было ясно даже для младенцев, ибо в Балтийском море ни одного австрийского военного судна не было и быть не могло. Вслед за тем, вечером, Сазонов в самом вызывающем тоне („sur un ton très vif“) ведет беседу с германским послом, и получает первое одергивание со стороны Палеолога, которому он под свежим впечатлением рассказал о своем разговоре с Пурталесом<sup>2</sup>: «Не забывайте, что мое (французское) правительство есть правительство общественного мнения и что оно может вам оказать существенную поддержку лишь при условии, что общественное мнение будет на его стороне. Наконец, подумайте и об общественном мнении Англии»<sup>3</sup>. Сазонов одумался и пообещал всю ответственность свалить на Берхтольда<sup>4</sup>.

Повидимому, однако, совет быть сдержанным Сазонов понял, как относящийся исключительно к германским и австрийским дипломатам, так как на следующее утро, на совещании в Красном Селе под председательством Николая, он произнес ярко агитационную речь, «сильно подействовавшую на наши солдатские чувства», по словам Сухомлинова<sup>5</sup>. Что этот последний ни гу-гу о происходившем накануне при его участии совете министров, очень, конечно, выразительно для оценки общей его правдивости,—но тем больше у него было оснований скрывать и воинственный характер совещания в Красном Селе: он, однако, ограничивается тем, что сваливает ответственность за воинственный тон на Николая Николаевича, будто бы натаскавшего в соответственном духе Николая II за кулисами, перед совещанием.

Все это было в субботу. В воскресенье Сазонов имеет беседу с австрийским послом и на этот раз вел себя при-

<sup>1</sup> «Красный Архив», т. IV, стр. 8. Курсив мой. М. П.

<sup>2</sup> Германский посол в Петербурге.

<sup>3</sup> «La Russie des Tzars», p. 25.

<sup>4</sup> Австрийский министр иностранных дел. Там же, 26.

<sup>5</sup> «Erinnerungen», 358.

лично, получив за то комплимент от Палеолога. В ответ на комплимент, Сазонов пообещал впредь всегда быть пайнкой: «до последнего мгновения я буду вести переговоры<sup>1</sup>. Но в то же время, «между нами» задал Палеологу вопрос: неужели тот думает, что войны все-таки не будет? На что Палеолог успокоил его, что войны ни в каком случае не избежать. Дело не в войне, а в «общественном мнении», т.е. в одурачивании масс... На этот предмет Сазоновым было дано распоряжение по газетному ведомству: «ругайте, сколько хотите, Австрию,—но будьте сдержанны по отношению к Германии»<sup>2</sup>.

Что Палеолог был прав относительно методов действия, очень скоро подтвердил аналогичный совет английского посла Бьюкенена. Весьма, видимо, довольный, что Россия «двинулась серьезно» («she is thoroughly in earnest»), он, в свою очередь, приходил напоминать Сазонову о необходимости всячески избегать мер, могущих подать повод Германии изобразить дело так, что на нее напали: «надо предоставить германскому правительству всю ответственность и всю инициативу нападения. Английское общественное мнение допустит мысль об участии в войне только в том случае, если не будет сомнения, что нападающей стороной является Германия». Палеолог всячески поддерживал эти настояния: «С Берлином и Веной дело кончено», говорил он Сазонову.

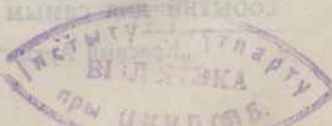
«Теперь вы должны думать о Лондоне. Я вас умоляю не принимать никаких военных мер на германском фронте и быть очень осторожным даже на австрийском, пока Германия не открыла своих карт. Малейшее неблагоприятное с вашей стороны нам может стоить поддержки Англии». «Это и мое мнение», отвечал Сазонов, «но наш главный штаб торопится (s'impatiente), и мне очень трудно его сдерживать»<sup>3</sup>.

Глава этой последней организации, Сухомлинов, по его «Воспоминаниям», все это время жил безмятежной жизнью «текущих дел» и «ничего не знал». С Сазоновым даже не виделся... Из этого видно, что лгать надо тоже умеючи. Характерно, впрочем, что некоторая пауза между воскресеньем и средой имеется и в дневнике министерства иностранных дел. Повидимому, там эти дни были слишком заняты охаживанием Англии, с одной стороны, и Румынии (на которую очень рассчитывали)—с другой. Решительный день наступил в среду, 29-го. Нет сомнения, что в этот день война висела на волоске,—разумеется, лишь постольку, поскольку дело шло о «моменте». Накануне Николай получил

<sup>1</sup> «Erinnerungen», pp. 32—34.

<sup>2</sup> *ibid.*, p. 29.

<sup>3</sup> *ibid.*, p. 30.



от Вильгельма, уже начинавшего понимать английскую игру, как я уже указывал выше, телеграмму с предложением посредничества в переговорах с Австрией. Но он не согласовал своего выступления со своим представителем в Петербурге, и Пурталес в этот самый день сделал резкое представление Сазонову по поводу русской мобилизации. Когда Николай позвонил Сазонову о примирительном письме Вильгельма, Сазонов ухватился за представление Пурталеса, как за якорь спасения. Тут же кстати подоспело известие о бомбардировке Белграда австрийцами. На спешном совещании с Сухомлиновым и Янушкевичем «по всеобщему обсуждению положения оба министра и начальник генерального штаба пришли к заключению, что, в виду малого вероятия избежать войны с Германией, необходимо своевременно всячески подготовиться к таковой, а потому нельзя рисковать задержать общую мобилизацию впоследствии, путем выполнения ныне мобилизации частичной. Заключение совещания было тут же доложено по телефону государю императору, который изъявил согласие на отдачу соответствующих распоряжений. Известие об этом было встречено с восторгом тесным кругом лиц, которые были посвящены в дело. Тотчас были отправлены телеграммы в Париж и Лондон для предупреждения правительств о состоявшемся решении».

Что о б щ а я мобилизация означает н а в е р н о е войну, это знал всякий военный специалист. В 1894 г. ген. Обручев высказал это всеми словами. Никакая страна не может стерпеть, чтобы на ее границах стоял вооруженный до зубов соперник, и чтобы ему принадлежал выбор момента, когда напасть. Германия давно заявляла во всеуслышание, что лучшая оборона есть нападение («Die beste Deckung ist der Hied») — и в этом с ней были совершенно согласны ее будущие противники. «Оба начальника главного штаба объявляют с общего согласия», — гласит протокол совещания французского и русского начальников штаба от августа 1913 г., «что слова оборонительная война не должны быть истолковываемы в смысле войны, которая ведется оборонительным образом. Они, напротив, подтверждают абсолютную необходимость для русской и французской армий предпринять решительное и, насколько возможно, единовременное наступление, согласно тексту 3 пункта Конвенции, который гласит, что силы обеих договаривающихся держав действуют со всей энергией и настойчивостью»<sup>1</sup>.

Дело, казалось, было в шляпе. Но к вечеру околпаченный своими министрами Николай сообразил, что изо всех событий дня самым поздним, по возникновению, была те-

<sup>1</sup> „Красный Архив“, I, 21.

леграмма Вильгельма,—и что неловко на предложение посредничества отвечать всеобщей мобилизацией. Неловко, прежде всего, пред теми же французами и англичанами—здесь последний Романов оказался тактичнее своих слуг. В 11 часов вечера «военный министр сообщил по телефону министру иностранных дел, что им получено высочайшее повеление об отмене общей мобилизации»<sup>1</sup>. Тем временем и до Пурталеса дошло изменение берлинских настроений, и в 2 часа ночи он, «растроганный и взволнованный», ломился к Сазонову, умоляя дать какую-нибудь формулу для соглашения. Сазонов продиктовал ему нечто, содержащее в себе фактический отказ Австрии от ультиматума. Было по крайней мере 90 шансов из 100, что этого ни в Берлине, ни в Вене не примут,—и таким путем можно было хоть выиграть время.

На утро вся компания снова пришла в движение. Сазонов, справедливо опасаясь, что после вчерашнего Николай его не примет, звонил по телефону Кривошеину, фактическому премьеру за крайней ветхостью номинального премьера, Горемыкина, прося его повлиять на Петергоф в нужном смысле. Но Николай и Кривошеина не принял. Тем временем Сазонов, Сухомлинов, невинный, как агнец, и Янушкевич<sup>2</sup> снова собрались у последнего. Было очевидно, что нужно спасать войну во что бы то ни стало, иначе момент мог быть упущен безвозвратно,—а когда-то придет другой? «Генерал-адъютант Сухомлинов и генерал Янушкевич вновь старались убедить по телефону государя вернуться ко вчерашнему решению и дозволить приступить к общей мобилизации. Его величество решительно отверг эту просьбу и, наконец, коротко объявил, что прекращает разговор. Генерал Янушкевич, державший в эту минуту в руках телефонную трубку, успел лишь доложить, что министр иностранных дел находится тут же, в кабинете, и просит разрешения сказать государю несколько слов. Последовало некоторое молчание, после которого государь изъясил согласие выслушать министра. С. Д. Сазонов обратился к его величеству с просьбой о приеме в тот же день для неотложного доклада об общем политическом положении. Помолчав, государь спросил: «Вам все равно, если я приму вас одновременно с Татищевым в 3 часа, так как иначе у меня сегодня нет ни одной минуты свободного времени?» Министр благодарил государя и сказал, что прибудет в указанный час».

Из предосторожности решено было, значит, не разговаривать с Сазоновым без свидетелей. «Начальник штаба

<sup>1</sup> «Красный Архив», *ibid.*, 22.

<sup>2</sup> Начальник генерального штаба.

горячо умолял С. Д. Сазонова непременно убедить государя согласиться на общую мобилизацию в виду крайней опасности для нас оказаться неготовыми к войне с Германией, если бы обстоятельства потребовали от нас принятия решительных мер после того, как успех общей мобилизации был бы скомпрометирован предварительным производством частичной мобилизации. Генерал Янушкевич просил министра, чтобы, если ему удастся склонить государя, он тотчас бы об этом передал ему, Янушкевичу, по телефону из Петергофа для принятия немедленно надлежащих мер, так как необходимо будет прежде всего как можно скорее уже начатую частичную мобилизацию превратить во всеобщую и заменить разосланные уже приказания новыми. «После этого,—сказал Янушкевич,—я уйду, сломаю мой телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать для преподания противоположных приказаний в смысле новой отмены общей мобилизации»<sup>1</sup>.

В Петергофе Сазонов, в присутствии Татищева, готовившегося ехать в Берлин разговаривать с Вильгельмом, «в течение почти целого часа доказывал, что война стала неизбежной, так как по всему видно, что Германия решила довести дело до столкновения, иначе она не отклоняла бы всех делаемых примирительных предложений (она сама их делала, и Татищев был живой иллюстрацией!!) и легко могла образумить свою союзницу». Мотив был, можно сказать, традиционный, так хорошо знакомый еще по анекдотам о Павле Петровиче: «ваше величество, немцы вас обманывают». После часа уламываний Николай, сильно обозленный, как показывали вырывавшиеся у него выражения, но не уверенный, что Вильгельм его действительно не обманывает—кто же в этом кругу и в подобной обстановке мог бы питать такую уверенность?—взял назад отмену мобилизации. «С. Д. Сазонов испросил высочайшее соизволение немедленно передать об этом по телефону начальнику генерального штаба и, получив таковое, поспешил в нижний этаж дворца к телефону. Передав высочайшее повеление ожидавшему его с нетерпением генералу Янушкевичу, министр, ссылаясь на утренний разговор, прибавил: теперь вы можете сломать телефон».

Едва Сазонов вышел от Николая, у того опять начались колебания, и он телеграфировал Вильгельму, что мобилизация еще не война и т. п. Но это уже не могло изменить хода дела—лавина двинулась. Германия, правда, не ответила немедленным открытием военных действий—как Япония в 1904 г.,—а на первое время ограничилась ультиматумом, требовавшим прекращения мобилизации. С.

<sup>1</sup> «Красный Архив», I, 29—30.

таким же успехом можно было требовать прекращения наводнения: элементарная истина, высказанная в 1894 г. Обручевым, не могла не оправдаться—в с е о б щ а я мобилизация означала войну.

Прекрасно это понимая, защитники «русской» точки зрения («русской», конечно, ее можно называть только иронически, ибо не могло быть ничего, более противоположного интересам русской народной массы) выдвигают две оправдательных версии.

Первая. Шаг Сазонова (фактически ведь он настоял на мобилизации) объяснялся полученным из Берлина в этот день, четверг 30-го, известием о мобилизации германской армии. Пусть известие оказалось ложным, психологическое впечатление оно должно было произвести; когда же выяснилось недоразумение, было слишком поздно. Объяснение это не выдерживает критики: известие об утке, пущенной „Lokal Anzeiger“ом пришло в Питер только в 4 часа дня, а Сазонов уговаривал Николая с 2-х до 3-х. Когда пришла телеграмма из Берлина, телеграммы о мобилизации летели уже по России.

Вторая. Военные специалисты, с бывшим именно в те дни начальником мобилизационного отдела ген. Добровольским во главе, утверждают, что частичная мобилизация, только против Австрии, была технически неосуществима: она сломала бы весь план. Но как они ответят на мобилизацию балтийского флота с первого же часа? А, во-вторых, до 1914 года Россия не имела ни разу всеобщей мобилизации, а воевала и мобилизовала несколько раз. Мобилизация 1877—78 и 1904—1905 гг. все были частичные. Как же это технически происходило?

Царский генеральный штаб, таким образом, был не одинок летом 1914 года. Он имел надежного союзника в царском министре иностранных дел. Все они, конечно, не «виновники», а простые орудия могучей объективной силы, именуемой империализмом. Но иногда полезно присмотреться, как и какими средствами эта сила действует.

Дневник русского министерства иностранных дел почти начисто уничтожает 16-ю главу работы Каутского («Мобилизации»). Лейтмотивом этой главы является «автоматическая» мобилизация России, как ответ на австрийскую мобилизацию. Но мы знаем, что Россия мобилизовала тотчас после австрийского ультиматума, не дожидаясь австрийской мобилизации, притом мобилизовала не только против Австрии, но и против Германии. Вот как опасно составлять обвинительные акты по показаниям только одной стороны. Приведем еще несколько документов—кстати не опубликованных,—которые покажут, что события развертывались в политической плоскости гораздо раньше,

чем мог дать себя почувствовать «автоматизм» мобилизаций.

Во-первых, еще до не только австрийской мобилизации, но и до австрийского ультиматума мы имеем такую секретную телеграмму Сазонова русскому посланнику в Белграде от 24 июня (7 июля): «Государю Императору благоугодно было разрешить уступку за плату Сербии из военных запасов 120 тысяч трехлинейных винтовок и 120 миллионов патронов с пулями». Винтовки и пули могли понадобиться только для военных целей, а ультиматумом Австрии, упавшим, как гром с ясного неба, 24 июня (7 июля), еще и не пахло...

Ультиматум пришел, а с ним «автоматически» и русская мобилизация — против Австрии. 28 июля Сазонов извещает об этом русских послов за границей, а 29 мы имеем такую телеграмму Сазонова посланнику в Бухаресте:

«Прошу вас передать Братиано<sup>1</sup> следующее: в случае фактического вооруженного столкновения Австрии с Сербией, нами предусматривается ваше (т.-е. Румынии. *М. П.*) выступление, дабы не допустить разгрома последней (т.-е. Сербии. *М. П.*). В этом будет заключаться цель нашей войны с Австрией, если таковая окажется неизбежной. Ответив таким образом на вопросы, поставленные Братиано, благоволите поставить ему в свою очередь категорический вопрос об отношении, которое занято будет Румынией, при чем можете дать понять ему, что нами не исключается возможность выгод для Румынии, если она примет участие в войне против Австрии вместе с нами. Мы хотели бы знать, каковы виды на этот счет румынского правительства».

А сутками позже, 30-го, в день борьбы за мобилизацию в Петергофе, имеем новую телеграмму в Бухарест, расшифровывающую подчеркнутые строки первой:

«Весьма доверительно. Если считаете возможным приступить к более конкретному определению выгод, на которые может рассчитывать Румыния в случае участия в войне против Австрии, можете определенно заявить Братиано, что мы готовы поддержать присоединение к Румынии Трансильвании».

Для нас с читателем, знающих, что проект раздела Австро-Венгрии существовал в петербургских «сферах» уже в мае, тут ничего удивительного нет. Но для Карла Каутского, копающего в том, мобилизация каких именно австрийских корпусов должна была «автоматически» вызвать русскую мобилизацию, поучительно узнать, что за два дня до «почти единовременной» всеобщей мобилизации в Австрии и в

<sup>1</sup> Румынский министр иностранных дел.



России, последняя вполне «конкретно» предлагала Румынии за союз кусок монархии Франца-Иосифа, рассуждая при этом о войне с Австрией как о деле, само собою разумеющемся.

Как наивны были после этого германские «правлящие круги», если они точно, как утверждает Каутский, объясняли русскую мобилизацию не воинственными намерениями русского правительства. Последнее отнюдь не было столь наивно и, не ограничиваясь Румынией, искало и посылало искать, помимо Румынии, еще и других союзников на Балканах. От 31 июля мы имеем такую телеграмму Сазонова уже поверенному в делах в Сербии: «Доверительно. Осведомьтесь у сербского правительства, не считает ли оно своевременным нащупать почву, быть может через наше посредничество, о соглашении с Болгарией насчет не только действительного обеспечения ее нейтралитета, но и военного содействия путем территориальных компенсаций, в случае если бы Сербия получила их в другом месте».

Читая подчеркнутые строки, надо помнить, что Сазонов и мысли не допускал о какой бы то ни было «территориальной компенсации» Австрии за счет Сербии: а вот сербам дать «компенсацию» в Боснии и Герцеговине — это другое дело...

Как видим, «автоматический» марксизм никогда себя не оправдывает. За «автоматизмом» событий всегда скрываются живые и сознательные агенты, не зная о которых и о событиях судить трудно.

*Предисловие к кн. К. Каутского  
«Как возникла мировая война».*

## КАК РУССКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ ГОТОВИЛСЯ К ВОЙНЕ

Для начинающего марксиста всего труднее — учиться мыслить диалектически, то есть представлять себе каждое общественное состояние не как нечто неподвижное и замкнутое, точно и строго ограниченное, как спереди, так и сзади, а как нечто текучее, заключающее в себе одновременно и некоторые остатки прошедшего и рядом некоторые зародыши будущего. У нас возможны споры чуть не в таком роде: с какого года в России «начался» империализм? И в то время как одни уверенно заявляют: «не раньше 1906 года», другие готовы спуститься до 1900 года, если не до 1896 г.

И то, и другое, конечно, далеко от диалектики, как земля от Сириуса. Царская Россия была страной торгового капитала больше чем на 50% еще и в 1915 году: кто этому не поверил бы, тому достаточно было бы посмотреть на Распутина. Абсолютизм, специфическая «форма правления» эпохи торгового капитала, был налицо в разгаре империалистской войны. А эпоха торгового капитала и эпоха империализма отделены, в Англии например, почтенным промежутком в полтора столетия. И в то же время, за десять лет до этого, мы имеем ту же Россию, идущую на завоевание Китая во всеоружии банкового капитала, учреждающую Русско-Китайский банк в союзе с Лионским Кредитом, Генеральным Обществом и прочими левиафанами парижской биржи. Господство банкового капитала — это как будто весьма характерный признак империализма, а именно в русской внешней политике 90-х годов банковый капитал уже господствовал. Если припомнить, что в эти же дни налицо были и другие симптомы империализма (колоссальные таможенные пошлины и стремление расширять все дальше и дальше таможенную границу, захват Манчжурии, попытка захвата Кореи, о которой будущий русский министр иностранных дел Извольский отзывался, что она должна стать «второй Бухарой», и т. д.), — то может явиться искушение об'явить Россию находящейся «в стадии империализма» уже в дни Витте. Но тут полезно вспомнить,

что вся эта машина держалась на активном балансе, а стало быть, на русском хлебном вывозе. Без активного баланса не на что было строить броненосцы для империалистских захватов на Дальнем Востоке. А хлебный вывоз — какая это старая вещь! Ведь около хлебного вывоза вертится история русской экономики еще в дни Александра I.

В особенности туго приходится не-диалектику с такой ультра-диалектической страной, как Россия. Мы недаром стали первыми марксистами мира — под этим есть глубочайшая «материальная база». Нигде больше не встретишь такого диковинного сочетания политических форм эпохи первоначального накопления, недоконченного, неразложившего еще окончательно старых, «натуральных» форм хозяйства аграрного капитализма и надвигающегося уже, вполне отчетливо нащупываемого, финансового капитала. Кто определял, в конце-концов, политическую линию поведения этого несурзаемого целого?

Отвечать на это приходится опять-таки с точки зрения диалектики. В развивающейся стране берет верх то, что толкает вперед, а не то, что тянет назад. К 1900 году было вложено в русскую промышленность:

Капиталов русского происхождения	447,2 милл. р.
	21,1%.
» иностранного	» . . . 762,4 милл. р.
	35,8%.
» полученных от продажи русских фондов за границей	. . . . . 915,6 милл. р.
	43,1%.

Последняя группа, конечно, тоже должна быть причислена к капиталам «иностранного» происхождения — и обе последних группы, прежде чем попасть в русскую промышленность, прошли через иностранные банки. Банковский капитал на  $\frac{1}{5}$  определял судьбы русского капитализма 90-х годов. Правда, это было «сращение» совершенно особого вида: почти в 50% всех случаев связующей пуповиной являлось государственное казначейство. Это впрыскивало живую кровь в устаревший организм абсолютной монархии. Но в общем и целом экономическая картина не менялась. Основная зависимость все же шла по линии финансового капитала. Заведывавший в 1908 году снабжением русской армии генерал Поливанов записал в своем дневнике под 2 декабря: «У Столыпина сегодня был французский посол адм. Тушар просить, чтобы военное министерство заказами пушек не обошло завод Шнейдера, так как он слышал, что хотят заказать Круппу, а для успеха нашего займа во Франции лучше бы обращаться к французской промышленности».

Заказ, в конце-концов, попал не Шнейдеру и не Круппу, а русским заводам, — но работавшим на французском капитале. Факт относится к 1909 году, когда гегемония банкового капитала в России была в глаза. Банки росли чудовищно — за промежутки с 1909 по 1914 годы их капиталы увеличились почти в четверо (с 222 милл. зол. руб. до 836 миллионов — прирост 276%). Концентрированные им частные «сбережения» только по 1912 год увеличились почти в двое (с 976 милл. руб. до 1.817 милл. руб.). Но характерно, что даже и в это время вся эта благодать держалась — и больше, чем когда бы то ни было, — на хлебном вывозе. Затруднения с этим последним были главным из реальных поводов войны. А в то же время уже в 1897 г. русское железо и русский каменный уголь были в руках 60 обществ, вложивших в дело иностранного (т.-е. пришедшего через банки) капитала на 223 милл. рублей.

Было уже тут «сращение» или нет, не будем на этом останавливаться, это вопрос больше теоретический. Ясно одно: огромное участие не-русских капиталов в русском хозяйстве должно было выводить это последнее из национальных рамок и заставлять его разделять судьбы мировых конъюнктур. И если признать, что западный — английский, французский, германский — капитал уже целиком вошел к этому времени в финансовую стадию, русский капитализм не мог избежать общей участи. Национальная политика была для него закрыта, даже если бы он хотел ее вести. Русско-турецкая война 1877—78 гг. была последним проявлением этой национальной политики, и уже ее неудача, подчеркнутая неудачей болгарской политики Александра III в 80-х гг., означала невозможность национальных войн и для России.

Следующая война, русско-японская 1904—1905 г.г., носит уже отчетливо империалистический характер, не отличаясь в этом отношении от испанско-американской войны в 1898 г. и англо-бурской 1899—1901 гг. Резкий идеологический протест против японской войны, доходивший направо до «освободенцев», выпускавших антивоенные прокламации, тем и объясняется, что русская буржуазия и обслуживавшая ее интеллигенция еще всецело жили понятиями эпохи промышленного капитализма, с его деланным пацифизмом и лицемерным отвращением к оружию (которое, однако, выделялось и употреблялось в промышленную эпоху в достаточном количестве). К 1914 году идеология догнала экономику, и против империалистской войны протестовал уже один пролетариат.

Вот отчего, если архи-нелепо искать русских корней разразившегося в 1914 году мирового конфликта в пределах «роковой недели» 24 июля — 1 августа этого года, не

многим более глубоко привлекать к делу и только последние 3—4 года перед конфликтом, как это делает большинство исследователей и не столь близоруких, как Каутский<sup>1</sup>. В литературе, посвященной «предвойне», не цитировался, кажется, до сих пор один драгоценный источник — показания Колчака перед следственной комиссией в Иркутске. Колчак непосредственно после русско-японской войны стоял чрезвычайно близко к русскому военно-морскому центру и «присутствовал на всех решительно обсуждениях вопросов, которые касались флота». И вот что он показывал следственной комиссии:

«Еще в 1907 г. мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом, германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. совершенно определено и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли к 1915 г. В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее будет исходить от Германии, знали, что в 1915 г. она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы на это должны реагировать. После долгого и весьма детального изучения, исторического и военно-политического, было решено как морским, так и сухопутным штабами, что мы будем на стороне противников Германии, что союза с Германией заключить нельзя и что эта война должна будет решить в конце концов вопрос о славянстве — быть или не быть ему в дальнейшем. Были известные группы, которые резко расходились с этой точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией, но та политическая обстановка, которая была положена в основание, показывала, что война произойдет с союзом срединных империй. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной, и даже при определении начала ее ошиблись только на полгода, да и немцы сами признают, что они начали ее раньше, чем предполагали».

Мы не будем останавливаться на вопросе, кто «начал» войну. Подробный ответ на это дан в другом месте. Да Колчак делает и излишним этот вопрос.

«Для того, чтобы выработать программу, надо было иметь определенного противника и определенный

<sup>1</sup> Как одну из последних сводных работ, см. статью Bernadott E. Schmidt «Amerikan Historikal Review», апрель 1924 г. Автор использовал все, напечатанное до этого времени, кроме некоторых русских публикаций.

срок. Этот срок был фиксирован 1915 г., главный же противник был определен как Германия».

Немец должен был напасть, хочет или не хочет. А по существу дела, руководители германской политики были бы, разумеется, круглыми идиотами, если бы они стали дожидаться, пока русская «программа» будет совсем готова — т.е. пока русские станут сильнее немцев на Балтийском море. Если бы русский генеральный штаб не поторопился, войну, с точки зрения простоватого «общественного мнения», можно было бы начать куда чище.

Что сухопутные коллеги адмирала Колчака были ничуть не менее предусмотрительны, показывает ряд отметок в уже цитированном выше по другому поводу дневнике Поливанова. По отношению к сухопутной армии этот, заведывавший всем военным снабжением, генерал был осведомлен не хуже, чем Колчак о флоте. Прежде всего, он подтверждает своим дневником всецело показания своего собрата по морской части. Под 25 мая 1907 года (еще до разгона 2-й Думы — т.е. до «официального» конца революции...) он записал:

«С 11 час. у меня был генерал Протопопов. Он заседает в комиссии ген.-ад'ютанта Дикова по программе судостроения. Задумывают широкие планы на два миллиарда, ссылаясь на испрошенное высочайшее повеление; Совет Государственной Обороны оставляют в стороне; хотят устроить заседание под председательством государя; дело ведется в секрете, но заводчики, повидимому, знают, что им нужно».

Под 14 декабря 1909 г.:

«К 9 часам веч. совещание у председателя Совета Министров для обсуждения программ судостроительной и крепостной. Сущность программы Морского Министерства: создать на Балтийском море цельную эскадру, которая могла бы действовать наступательно, когда Германия ведет войну на два фронта, и оборонительно на линии укреплений Ревель — Паркалауд, когда неприятельский флот сильнее; для этого надо построить 8 линейных кораблей с соответствующим количеством крейсеров и подсобных судов».

Сухопутная подготовка начинает как будто особенно остро чувствоваться в 1910 году, когда в марте была проведена «чистка» корпусных командиров, а в мае началось обсуждение новой военной программы в Комиссии Государственной Обороны. Нет надобности говорить, что октябрьское большинство 3-й Государственной думы было всецело на стороне программы, и штатские «оборонцы» даже опережали военных. Под 13 мая этого года Поливанов записал:

«А. И. Гучков предупредил меня, что в субботу вечером будет назначено заседание Комиссии Государственной Обороны по кредитам на оборону, где затронут возможность выделить кое-что на весну, дабы дать работу по изготовлению орудий и снарядов заводам, остающимся без работы. Он намекнул, что было бы полезно, если бы приехал и сам военный министр...».

«К 8½ час. веч. я прибыл в Государственную Думу, где застал уже военного министра; пришел председатель комиссии кн. Шаховский и предупредил министра, что сегодня первое заседание для изучения новой программы обороны. Заседание началось с того, что я изложил сущность программы, затем пошли перекрестные разговоры, и прения приняли весьма доброжелательный для военного министра характер. Нам ставили на вид, что мы должны требовать все, что нужно для обороны, не стесняясь Мин. Финанс.; постановили, что надо выяснить, что надо дать теперь же, главным образом, для заказов артиллерии, и это выяснение производится первоначально в особой подкомиссии...».

«Валяйте во-всю, денег жалеть не будем!» («тем более, что они пойдут в наши же карманы») — так можно охарактеризовать позицию «благонадежных» думских элементов. Не только штабы, но и российская буржуазия была в эти годы совершенно готова воевать. Не менее готов был и глава всей системы. Под 9 ноября Поливанов записывает:

«В разговоре с военным министром был затронут еще вопрос о вызове командующих войсками западных округов для проверки их подготовки к управлению армиями. Здесь неизбежно возникла необходимость установить, кто же будет командовать всеми армиями. На докладе государю его величества изволил указать, что верховное командование он берет на себя. Но так как нельзя же привлекать его величество к занятиям военной игрой, то полагалось бы на военной игре иметь в роли главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича...».

Эта военная «игра» была столь нешуточной, что отмена ее — по «интриге» Николая Николаевича — едва не повела за собою отставки военного министра Сухомлинова<sup>1</sup>. От него же узнаем, что приготовления к этой военной игре — в сущности, экзамену будущих полководцев — продолжались несколько месяцев. А в каком духе должна была быть ведена «игра», показывает откровенное признание Сухомлинова, что целью всех его военных реформ было

<sup>1</sup> См. «Erinnerungen» последнего, стр. 294 и сл.

«превратить русскую армию из чисто оборонительного оружия, каким она была еще в 1909 году, в наступательное оружие первого сорта»<sup>1</sup>.

В этой именно связи Сухомлиновым было проведено то изменение мобилизационного плана, которое делало частичную мобилизацию технически почти неосуществимой. Сухомлинов откровенно признается, что о частичной мобилизации он думал с большой неохотой, ибо с 1909 года был твердо убежден, что Россия идет к войне с Германией и ей понадобится напряжение всех сил, поэтому нечего тратить времени по пустякам. Но он в своей откровенности идет еще дальше. Он в корне разрушает официальную концепцию русской «Оранжевой книги» о том, будто эта всеобщая мобилизация могла носить оборонительный характер. Он приводит в высочайшей степени любопытное высочайшее повеление, спроектированное в 1912 году и не пущенное в ход Николаем из осторожности. Это высочайшее повеление гласило:

«Телеграфный приказ о мобилизации европейских военных округов, в случае политических осложнений на западной границе, следует рассматривать одновременно как приказ об открытии военных действий против Германии и Австрии. Что, напротив, касается Румынии, то открытие военных действий должно последовать лишь по прямому приказанию».

Дневник министерства иностранных дел разрушил легенду о русском «оборончестве» в июле 1914 года. Теперь мы видим, что царское правительство неповинно было в этом оборончестве уже и в 1912 году. Готовилась наступательная война против Австрии и Германии, морально оправдываемая тем, что Германия «хочет напасть». Имея такого миролюбивого соседа, как царская Россия, хочешь — не хочешь, а нападешь... Если правильно указание Каутского, что в немецких военных кругах не рассматривали русскую мобилизацию 30 июля как прямой вызов к войне, это свидетельствовало бы о крайней наивности этих кругов. При чем фиговый листок — «Германия хочет напасть» — вовсе не был обязателен, поскольку планы русско-германской войны строились в те времена, когда Вильгельм, по собственному заявлению Николая, «был так дружески настроен, как никогда».

Напечатанная до сих пор часть дневника А. Н. Куропаткина начинается с такой записи:

«Приехал в Петербург из Крыма 10 ноября. 12 ноября был у вел. князя Николая Николаевича. Сидел

<sup>1</sup> См. «Erinnerungen» последнего, стр. 331.



2 часа. Все время обсуждали исполнение воли государя, дабы в случае войны Николай Николаевич был главнокомандующим войск германского фронта, а я — главнокомандующим войск австро-румынского фронта.

Николай Николаевич говорил мне, что им получено письмо государя, в котором значилось это предназначение, при чем войска фронта, которыми я назначаюсь командовать, названы: австро-румынским фронтом. В том же письме значилась воля государя, чтобы и при этих назначениях высочайше утвержденное расписание № 18 осталось без перемены, с тем, чтобы изменения в плане действий, кои признает сделать нужным великий князь, отразились бы лишь на расписании № 19. В письме указывалось, что государь передал мне свою волю, дабы командующие войсками в округах были поставлены в известность о сих важных решениях государя. По этому вопросу вел. князь высказал мнение, что лучше, чтобы сам государь лично сообщил им об этом свою волю.

Мы обсуждали вопрос и о том, пускать ли В. В. Сахарова в одесский военный округ или задержать его в главном штабе, дабы государь мог иметь в нем надежного начальника штаба верховного главнокомандующего. Условились, что надо задержать. Николай Николаевич сказал мне, что на должность начальника своего штаба он преднаметил Палицына: я его давно знаю и мы друг друга дополняем. Я для этой должности наметил ген. Сухомлинова.

Наиболее тревожит меня предвзятость, повидимому, мнения Николая Николаевича относительно того плана, который он предложит государю, по получении по его приказанию плана, ныне принятого по расписанию № 18. Я указывал князю, что не позволит ли он мне с Сахаровым, в присутствии Палицына, ознакомить его самым подробным образом со всеми нашими расчетами и соображениями, на основании коих принят план № 18, что тогда он увидит лучше, что, по его мнению, следует переменить. Но Николай Николаевич стоял на своем, что ему этого не надо, как бы указывая, что решение его уже принято. Я всего более боюсь, что это будет решение для нас невыгодное — отдать без борьбы весь передовой театр и, не принимая боя на Нареве или у Белостока или Червонноборской позиции, отступить к Барановичам или Минску».

Эта запись помечена «17 ноября 1902 года». А от 9 числа того же месяца (все числа по старому стилю), мы имеем такую телеграмму Николая Вильгельму II:

«Очень благодарен за твое сообщение<sup>1</sup>. Я надеюсь, что и в других случаях мы всегда сможем рассчитывать на нашу взаимную искреннюю дружбу и на нашу любовь к миру». (!).

В следующем, 1903, году генерал Сухомлинов будущий военный министр, намечавшийся тогда в начальники штаба австро-румынского фронта, «пришел к твердому убеждению в неизбежности столкновения с габсбургской монархией». О планировавшемся уже столкновении с Германией теперешний германофил умалчивает, но что будущий начальник штаба Куропаткина не мог не быть посвящен в разговоры будущих командующих фронтами, это ясно само собою. 5 января этого же года Куропаткин, докладывая Николаю, отмечал, что «успехи Германии в Турции (занятие Гайдар-Паши, Багдадская жел. дорога, реорганизация турецких сил) могут ускорить столкновение России с Германией или с Турцией или с той и с другой».

Принципиального вопроса о русско-германской войне даже и не ставилось — это разумелось само собою: разногласие могло быть лишь о том, как скоро произойдет это — вопрос был о темпе исторического процесса, точь в точь как для нас стоял вопрос о революции в промежутке 1907—1917 года. И так как темп событий, повидимому, ускорился, то уже 5 марта этого года Куропаткин переходит к планировке практических мероприятий.

«Вчера вечером у меня собрались в первый раз: Сухомлинов, Соболев, Протопопов, Гершельман, Маврин, Жилинский для выслушивания моих указаний в качестве будущего, в случае войны, главнокомандующего о задачах III, IV и V армий».

На основании полученных мною директив я обязан представить государю общий по всем армиям план действий. Ранее сего требуется, чтобы мне представлены были планы действий частных армий. Еще раз на заседании подтвердилась наша неготовность к наступлению. Ни по одной из армий соображений о наступлении не составлено. Но и по обороне лучше других армий обставлена только IV армия, но и в ней позиции наши у Ровно, Луцка и Дубно скорее только обозначены, чем укреплены. Надо усиленно будет поработать. В III армии в оборонительном отношении ничего не сделано, а между тем на эту армию могут обрушиться очень большие силы австрийцев и вынудить III армию к отступлению к Бресту. Вероятно, в виду возможного быстрого прорыва германцев через Нарев, наступление

<sup>1</sup> Речь шла о свидании Вильгельма с английским королем Эдуардом VII. Вильгельм хвастался, что он при этом случае произнес некоторую пацифистскую декларацию.

придется вести к Влодаве и далее правым берегом Буга. Между тем местность по правому берегу Буга не подготовлена к действиям больших масс (пути, мосты), не обеспечена также возможность отступления III армии к Пинску, что может представиться необходимым.

На маневре сего года, с соизволения государя, я намереваюсь командовать армиею, собранною у Холма, которая для проверки наших предложений и будет отступать к Влодаве и далее на правый берег р. Буга».

Мы пропускаем дальше мало интересные теперь стратегические подробности. Но у генерала Куропаткина была наготове не только стратегия, но и политика.

С разгромом первых австрийских корпусов, надо надеяться на оставление рядов австрийских войск массою славян. Надо умело воспользоваться первым же успехом и иметь людей, подготовленных еще в мирное время, дабы войти в быстрое сношение с потрясенными и колеблющимися еще элементами, дабы оторгнуть их из рядов австрийской армии. Операции между нашею границею и Львовом надо обдумать со всех сторон, надо организовать подвоз всех запасов. Надо передвинуть ко Львову осадный парк очень быстро. Надо затем, если Львов будет нами взят, организовать переход до Львова нашею колеєю железной дороги, а далее австрийскою. Надо организовать охрану тыла и охрану со стороны Карпат. Надо организовать охрану со стороны действий румыно-австрийской армии. При дальнейшем движении от Львова навстречу главным австрийским силам движение будет затруднено: 1) крепостью Перемышлем, 2) фланговым положением Карпат с их проходами. Марш выйдет как бы фланговым по отношению к Карпатам. Требуется очень тщательное изучение этой сложной обстановки, дабы избежать в возможной степени роковых случайностей. Подвоз запасов будет затруднителен, и при всем том требуется возможная быстрота действий. Успех этих действий не может быть обеспечен в достаточной степени, если ко времени появления IV и V армий в районе к западу от Львова Ковель попадет в руки австрийцев».

Мы видим, что манчжурский неудачник, как многие неудачники, был весьма предусмотрителен. Он предвидел, в сущности, все трудности будущей кампании 1914—1915 гг.: и возню с Перемышлем, и затруднения со снарядами и т. д. При этом он попутно разоблачает уже до конца сухомлиновское лицемерие, определенно подчеркивая, что на заседании, где Сухомлинов присутствовал, обсуждался вопрос о войне не только с Австрией, но и с Германией.

«Маленькая победоносная война» с Японией, рассматривавшаяся почти как маневры в боевой обстановке, помешала разразиться большей войне на Западе в 1903—1904 годах. Вильгельм это великолепно предвидел—оттого «адмирал Атлантического океана» и подзуживал так «адмирала Тихого океана» к авантюре, отправившей на дно Тихого океана весь русский флот. Охваченный после Цусимы паникой и бессильной яростью против англичан одновременно, Николай минутно пошел даже на русско-германский союз (договор в Бьоркэ 24 июля 1905 г.), тотчас же, правда, спохватившись. Особенно характерно это влияние морского поражения на Николая. Нам редко рисуется русско-германская война в этом аспекте—столкновения на море. Между тем, это была довольно естественная точка зрения. Именно с воды, с Финского залива, всего легче было нанести царской России решительный удар в центр— в форме ли нападения на Кронштадт, в форме ли высадки в Финляндии или в Эстляндии. Колчак подробно рассказывал на допросе, с какой горячей энергией он и его товарищи спешили заградить вход в Финский залив, начав эту работу уже 16—29 июля, накануне общей мобилизации.

В этой связи становится понятна мобилизация балтийского флота в первую голову, о чем мы узнаем из дневника министерства иностранных дел: еще ни один батальон на суше не был мобилизован против Германии, а уже минные заградители вышли в море. Но еще более в этой связи становится понятна глубочайшая стратегическая логика русско-английского союза. Пока английский флот висел над берегами Германии со стороны Северного моря, она физически не могла перебросить главные свои силы в Балтику. Как бы ни хотелось Вильгельму одним ударом стать под «Петроградом», он никогда на это не пошел бы ценою потери Гамбурга и Бремена. Союз с Англией ручался Николаю за целостность его столицы. Вот отчего, лишенный сразу и флота, и надежды на английскую помощь, он мог впасть в такую протрацию, что соглашался даже на союз с Вильгельмом; при чем характерно, что первые разговоры об этом союзе пошли тотчас после «Гульского инцидента»<sup>1</sup>, когда англо-русская война казалась в двух вершках.

Русско-японская война и последовавшая за ней революция оттянули русско-германскую войну на 10 лет. Но мы видим, до какой степени Англия неповинна в «искушении»

<sup>1</sup> «Гульский инцидент» — расстрел, в припадке паники, эскадрой адм. Рождественского, шедшей под Цусиму, английских рыбачьих судов в Северном море, принятых за японские миноносцы. Это было в октябре 1904 г.

царской России. Последняя была «всегда готова» начать драку на Висле и Немане, и ее подталкивали в этом направлении не соблазны английских дипломатов, а миллиарды французского золота, влитые в русскую промышленность. Желание воевать со стороны Франции было основным из войно-образующих факторов. Недаром военная подготовка пошла уже без всяких перебоев с того момента, как во главе Франции стал Пуанкаре-Война. Говорить только о русском империализме было бы половинчатым решением задачи: уже с конца XIX века мы имеем русско-французский империализм. На континенте Европы он стоял против германского империализма: английский был «третьим радующимся» в этом споре. В июле 1914 г. ему могло казаться, что он великомерно использовал континентальную драку, получив возможность раздавить своего главного конкурента — Германию, и парализовать, самым фактом своей помощи, второго, возможного — судьбы атлантических берегов Франции, как и восточного берега Балтики, одинаково решались в Лондоне. Лондон не предусмотрел одного: что может явиться четвертый радующийся, который положит в карман всех троих... Последствий этой своей ошибки Лондон не ликвидировал до сих пор. Ликвидовала ее пока только одна страна, на которую все участники смотрели только как на запас пушечного мяса, — а она неожиданно оказалась запасом самого сильного взрывчатого вещества, которое когда-либо знал мир.

*Журнал «Большевик» № 9, 1924 г.*

## КАК ГОТОВИЛАСЬ ВОЙНА

30 июля исполняется десять лет с того дня, когда Сазонов, уговорив Николая объявить всеобщую мобилизацию русских военных сил, «развязал» европейскую войну.

Долгое время эта роковая дата оставалась неизвестной широким кругам. Долгое время первым днем русской мобилизации считали 31 июля — день одновременно австрийской всеобщей мобилизации и объявления Германии «в состоянии военной угрожаемости» (Kriegsgefahrzustand). Эта маленькая хронологическая передержка позволила замаскировать чересчур поспешный шаг царского правительства, покрыв его доносившимся отовсюду шумом бряцающего оружия. В этом шуме могли, должны были не заметить, что первой звякнула русская сабля.

В тесном кругу настоящая последовательность событий была, конечно, хорошо известна, и Сазонов уже 2 августа находил нужным оправдывать перед Парижем и Лондоном свою поспешность. «Наша общая мобилизация», — писал он соответствующим русским послам, Извольскому и Бенкендорфу, — «была вызвана громадной ответственностью, которая создалась бы для нас, если бы мы не приняли всех мер предосторожности... Европейский мировой характер конфликта бесконечно важнее повода, его создавшего». (секретная телеграмма № 1627, 20 июля ст. ст. 1914 г.).

Нужда, как видим, заставляла иной раз быть марксистами даже царских министров. Да, конечно, суть не в «поводах», их было слишком достаточно. Кроме того, Сазонов мог бы с полным правом сослаться на то, что русская мобилизация требовала 17 дней, тогда как германская только 6: отставая от возможного противника на 11 суток, не грешно было взять в запас пару дней.

Но только ли о «паре дней» шла речь? Недавно в России был опубликован документ, прогремевший на весь мир и, конечно, у нас оставшийся совершенно незамеченным. Это — напечатанная в последней книжке «Красного Архива» поденная запись русского министерства иностранных дел, веденная в конце июля — начала августа 1914 г. директором

его канцелярии Шиллингом, под непосредственным руководством Сазонова. Об этом документе за границей выйдут не только статьи, а книжки. У нас о нем не было заметки и в 5 строк. Нам все еще некогда быть историками.

Дневник министерства иностранных дел установил непререкаемо, что мобилизация в России не только против Австрии, но и против Германии началась 24 июля, в день получения в Петербурге известия об австрийском ультиматуме Сербии. В этот день состоялось постановление совета министров о мобилизации балтийского флота<sup>1</sup>. Смысл этой меры вполне поясняется восклицанием, вырвавшимся у Сазонова, когда ему пришлось сказать об этом ультиматуме: «Это европейская война!». К сожалению, запись не воспроизводит интонации. Фонограф нам бы передал, звучало ли это: «Как? Неужели европейская война?!» или «Наконец! Европейская война!» По всему, что мы дальше изложим, больше похоже на последнее.

Что австро-сербское столкновение должно было привести к войне, это, впрочем, в русском министерстве иностранных дел отчетливо сознавали раньше даже и ультиматума. Еще 7 июля Сазонов телеграфировал русскому посланнику в Белграде: «Государю императору благоугодно было разрешить уступку за плату Сербии из военных запасов 120 тысяч трехлинейных винтовок и 120 миллионов патронов с пулями» (тел. № 1352 от 24 июля ст. ст. 1914 г.). Кто вспомнит, как год спустя русские запасные упражнялись с дубинками, как мы отовсюду скупали сами винтовки уставших образцов, тот согласится, что речь шла не о «вывозе излишков». Делились, можно сказать, последним.

Но помочь младшему брату-славянину, на которого собираются напасть австро-венгерские хищники, это еще не такой большой грех. Телеграмма Сазонова доказывает, конечно, всю пустопорожность рассуждений о «неожиданно», как гром из ясного неба, свалившемся австрийском ультиматуме. Уже больше чем за две недели предвидели не только ультиматум, но и войну. Последняя, однако, все еще могла оставаться войной «оборонительной». На нас напали или собираются напасть, мы защищаемся или принимаем свои меры на всякий случай,—что ж тут предосудительного?

В последние годы сербские ученые и дипломаты, стараясь отвести от себя вину, сами начали разбалтывать, кто на кого «напал». В прошлом году сербский профессор Станоевич, «оправдывая» министерство Пашича, раскрыл, что убийство Франца-Фердинанда 28 июня 1914 г.,—с чего пошла вся кровь, по-старорусски выражаясь—было организовано без ведома будто бы сербского правительства,

<sup>1</sup> Фактически мобилизация флота началась 27-го.

разведочным отделением сербского главного штаба, в лице полковника Димитриевича (кстати сказать, расстрелянного в 1917 г. «за измену»). Правда, профессор несколько ослабил свою аргументацию на счет райской невинности в этом деле сербского правительствa, добавив, что последнее предупредило австрийского наследника об опасностях поездки в Сараево (где он и был убит). Как же это «ничего не знало» и «предупреждало»?

Доказать слишком много иногда бывает вредно.

В известии Станоевича для нас самое интересное то, что Димитриевич действовал на основании указания русского главного штаба, будто поездка Франца-Фердинанда в Сараево есть лишь прелюдия к об'явлению Австрией войны Сербии. Вздорность этого сообщения русского штаба мною выяснена в другом месте<sup>1</sup>; провокаторский же характер этого сообщения станет нам совершенно ясен, когда мы узнаем, что убийство Франца-Фердинанда, главы австрийской военной партии, входило в «план действий» с сербской стороны уже с 1913 г. Об этом любезно сообщил такой осведомленный человек, как бывший перед войной посланник Сербии в Берлине Богичевич<sup>2</sup>.

Обстоятельная полемическая статья последнего против Станоевича по поводу «предупреждения» сербами эрцгерцога на счет угрожавшей ему опасности незаметно для автора (характерно, что все сербские авторы не понимают значения того, что они выбалтывают,—поистине райская невинность) устанавливает любопытнейшую подробность: предупреждение не только имело место, как ни оспаривает это Богичевич, но оно наводило австрийскую полицию на ложный путь, внимание ее обращая на опасность во время маневров, где должен был эрцгерцог Фердинанд присутствовать. Теперь становится понятной удивившая, например, Пуанкаре (см. его последнюю книжку) беззаботность этой австрийской полиции насчет охраны наследника австрийского престола в Сараево: ведь покушение-то, по сербскому сообщению, должно было иметь место на маневрах, чего ж заботиться о Сараево? А именно на улицах Сараева, а не на маневрах, эрцгерцога и поджидали мобилизованные Димитриевичем сербские юноши.

В результате перекрестных «оправданий» сербских авторов перед нами картина очень «тонко» проведенного заговора, где все было предусмотрено, даже и оправдание на случай могущих явиться «подозрений»: предупреждали, мол, сами предупреждали, какие же мы «виновники»?

<sup>1</sup> См. «Как возникла мировая война», 119 стр. настоящего сборника.

<sup>2</sup> См. последнюю июльскую книжку «Kriegsschuldfrage».



Инцидент с Дмитриевичем переносит конкретную подготовку войны по крайней мере на два месяца раньше, если не еще более (май 1914 или даже конец 1913 г.). Что убийство эрцгерцога будет сигналом к войне, это было ясно для всякого: еще в начале того же 1914 г. сербские офицеры открыто говорили о предстоящей войне с Австрией. Для автора статьи, откуда мы заимствуем это сведение, это вместе со многими характерными мелочами служит доказательством, что Сербия готова была «напасть». Но одна ли Сербия?

Тут нам на помощь приходят, с одной стороны, русские источники, среди которых, как ни покажется это удивительно, на одном из первых мест приходится поставить допрос Колчака в Иркутске, с другой,—разоблачение одного английского офицера генерального штаба, появившееся все в том же выпуске «Kriegsschuldfrage».

По рассказу Колчака, в морском штабе «еще в 1907 г. пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны». «Начать», конечно, должна была Германия. Но в предвидении этого «была разработана судостроительная программа, долженствовавшая быть законченной к 1915 году». Всем этим очень интересовались «различные политические группы, политические организации» в Государственной думе. «Мне,—говорит Колчак,—приходилось постоянно там бывать в качестве докладчика и эксперта на многих заседаниях». Это, очевидно, те заседания, о которых упоминает Сухомлинов, как о доступных не всем даже членам комиссии по обороне. «К этому времени относится чрезвычайно близкая связь между обоими штабами (морским и сухопутным) и Государственной думой и ее военными комиссиями».

Некоторые представители высшего морского командования не обнаруживали, однако же, той же чуткости, как «политические организации» третьедумских октябристов, и из-за адмирала Воеводского выполнение судостроительной программы было задержано на два года. Поэтому, когда появились на сцене «чрезвычайно серьезные и грозные признаки, которые возникли весной 1914 г. относительно войны» (самым серьезным была, конечно, англо-русская морская конвенция, переговоры о которой начались как раз в это время), «мы к войне не были готовы». Это, как известно, с русскими империалистами случалось всегда, то же было, например, и в 1903 г. на Дальнем Востоке. Тем не менее, «с весны до начала войны шла подготовка к войне»... «Период 1914 г., с начала весны, в балтийском флоте про-

---

<sup>1</sup> См. статью английского консула в Цетинье Даргама в том же вып. „Kriegsschuldfrage“.

шел в усиленной работе, в скорейшем утверждении программ стрельб, подготовке минных учений и т. д., так как война казалась все более и более приближающейся».

Итак, подготовка к войне в балтийском флоте началась тогда, когда никаким австрийским ультиматумом Сербии и не пахло, и эрцгерцог Фердинанд благополучно здравствовал, хотя судьба его и была уже predetermined сербской разведкой.

А теперь дадим слово сухопутной армии.

«Приблизительно с 1903 г. для меня стала ясна вероятность столкновения с Габсбургской монархией»<sup>1</sup>, — рассказывает Сухомятин<sup>2</sup>. «С 1909, а еще больше с 1912 г., я укрепился в убеждении, что при этом столкновении Германия будет помогать Габсбургам». Все они были, как видим, необычайно предусмотрительны. Как бы то ни было, с 1909, а уж с 1912 г. наверно, Сухомятин готовится к войне с Германией. Для этой цели, во-первых, мобилизация русской армии ставится так, что она не может быть проведена по частям: частная война (например, с одной Австрией или с одной Турцией) рассматривается как нечто невероятное. Нельзя найти лучшего военного доказательства, до какой степени Россия уже вошла в империалистический период развития: другой войны, кроме европейской, не предполагалось. Затем явная мобилизация была дополнена периодом мобилизации скрытой—в образе так называемого «периода подготовки к войне». В это время выполняется все из мобилизационного плана, кроме непосредственного призыва запасных, так что, как только появятся эти последние, часть может тотчас выступить, ее обозы, снаряжение и т. д. уже в полном боевом порядке. Провозглашение мобилизации при таких условиях и должно было равняться приказу о выступлении, что и засвидетельствовано заготовленным еще в 1912 г., хотя и не разосланным высочайшим повелением. Оно гласило: «Телеграфный приказ о мобилизации в европейских военных округах... есть одновременно приказ об открытии военных действий против Германии и Австрии».

Всеобщая мобилизация есть начало войны. Правда, эту истину высказал еще в 1894 г. русский начальник штаба ген. Обручев, но царская дипломатия употребила столько усилий, чтобы заглушить этот факт, что восстановить его стоило труда. Событие 30 июля в представлении русских военных на суше и на море означало уже не подготовку к войне (она закончилась в предыдущий период), но самую войну. А теперь, эта самая «подготовка»—закончилась ли

<sup>1</sup> Т.-е. Австро-Венгрий.

<sup>2</sup> «Erinnerungen», стр. 333.

она только в торопившейся царской монархии или ее почтенные союзники от нее в этом не отставали?

Тут нам и приходят на помощь воспоминания майора английского генерального штаба Бриджа, напечатанные в последнем выпуске цитировавшегося выше немецкого журнала «Вопрос о виновниках войны» «Kriesschuldfrage». Сначала Бридж приводит факты, известные уже и ранее: о том, например, что английский экспедиционный корпус был в изобилии снабжен материалами для постройки мостов и т. п., указывавшими, что ему придется действовать в болотистой, изобилующей каналами, реками и речками стране, каковой как раз и была Западная Бельгия и прилегающая к ней часть Франции, где именно англичанам и пришлось вести войну. Таким образом, нарушение бельгийского нейтралитета немцами было столь же мало неожиданно, как и австрийский ультиматум Сербии. Мы об этом знали и раньше, из разговора Пуанкаре с Сазоновым (1912 г.), о котором последний доложил Николаю. Лишнее, вполне конкретное, подтверждение, конечно, не помешает так же, как, опять-таки, уже известный факт обстоятельного изучения английским штабом в 1912 г. бельгийских берегов, в частности окрестностей столь прославившегося в период подводной войны Зеербрюгге.

Но личные воспоминания Бриджа прибавляют сюда еще несколько любопытных черточек. В английском штабе он исполнял обязанности переводчика. И вот, в первый же день войны ему пришлось переводить документ, сделавший английского майора на всю жизнь антиимпериалистом. Это было подробное соглашение между британским и французским правительствами относительно урегулирования расчетов по содержанию британского вспомогательного корпуса, оперирующего в Северной Франции. В расчетах подробно устанавливался курс, по которому будут производиться платежи, так что для всякого разумного человека было совершенно ясно, что дело шло в документе не о неопределенно-далеком будущем, а о нынешнем годе, самое дальнее. Кто же мог знать, какой будет курс через несколько лет? А помечен был документ началом февраля 1914 года.

Как видим, в Лондоне были не менее предусмотрительны, чем в Петербурге: знали с точностью чуть не Лиги Времени, когда злые немцы «нападут». После этого мы относительно Англии не будем придирчивы к формальным срокам объявления мобилизации, войн и т. п. Какой-нибудь педант мог бы, пожалуй, придаться к тому, что в конце июля, когда немцы еще и времени не имели нарушить бельгийский нейтралитет, офицеры мобилизационного отдела английского штаба не спали ночей над работой по рассылке

соответствующих приказов. Или к тому, что, хотя Англия объявила войну 4 августа, уже 2-го сам Бридж сидел за перлюстрацией почты, шедшей транзитом в Германию из Соединенных Штатов, при чем ему было приказано изъять из писем все ценные бумаги (!). Это за два дня до объявления войны! Мы не педанты и к этому придирааться не будем: таковы «законы и обычаи» империалистских стран. Когда пролетариат положит конец империализму, исчезнут и эти обычаи. А до тех пор—что же тратить негодование по тому случаю, что вода мокрая, а если она взята из сточной канавы, то она еще и скверно воняет...

*Газета «Правда» № 171, 30 июля 1924 г.*

## ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ВОЙНА ЗИМОЮ 1914—1915 гг.

(К подготовке секретного соглашения о Константинополе и проливах)

В читающей публике очень распространено убеждение, будто, раз начались военные действия, дипломатам остается укладывать чемоданы и ехать в отпуск. Вместо «нот» стороны начинают обмениваться артиллерийскими снарядами, и «внешние сношения» отражаются только в реляциях о военных действиях.

Представление это свидетельствует лишь о наивности публики, воображающей, что дипломатическая бутафория, «ноты», приемы послов и т. п. — это и есть настоящая «внешняя политика», тогда как в действительности внешняя политика делается в стороне от нескромных глаз, в тиши дипломатических кабинетов. И в этих кабинетах гром орудий не только не заглушает обычной работы, а, наоборот, делает ее напряженной и энергичной как никогда. Параллельно сражениям, о которых повествуют «реляции» (по теперешнему «сводки»), всякая война дает длинную нить дипломатических шахматных ходов той и другой стороны, при чем шахматницей служат обыкновенно кабинеты нейтральных держав, а если война ведется не отдельными странами, а союзами стран, то и кабинеты союзников.

Война 1914—18 г.г. в этом отношении ничем не отличалась от других войн буржуазного мира. И у нее были две стороны: всем видная чисто-военная<sup>1</sup> и никому не видная дипломатическая. История этой военной дипломатии, когда она будет написана, представит собою книгу, ничуть не менее интересную, чем история стратегии и тактики империалистской войны. Нижеследующее изложение дает набросок только одной из глав этой книги, той главы, которую можно назвать «пред-историей соглашения о про-

<sup>1</sup> «Видная», впрочем, довольно условно, ибо, как известно, старого обычая помещать в газетах «реляции» держались только немцы, их противники ограничивались столь лаконическими «сводками», что понять, что делается на театре войны, было очень трудно.

ливах в марте 1915 г.». набросок и в этой части, заранее признаем, не полный, но кое-какие весьма любопытные шахматные ходы он все же намечает.

1 августа перед царской дипломатией стояла задача, которая была, пожалуй, сложнее всего, что ей приходилось проделывать, создавая войну<sup>1</sup>. Война велась из-за Константинополя и проливов, а Турция не воевала,—мало того: была опасность, что она сделается союзницей...

Чтобы оценить весь трагизм положения Сазонова, положения, отразившегося в нижепечатаемых—целиком впервые—телеграммах русского посла в Константинополе, нужно вернуться на минуту к моменту «зачатия войны», к осени 1913 года. 23 ноября ст. стили Сазонов представил Николаю записку<sup>2</sup>, где, впервые после неудачной попытки Извольского в 1908 г.<sup>3</sup>, вопрос о захвате проливов ставится официально и вполне практически. Охарактеризировав настроение, сложившееся у европейских кабинетов под впечатлением только-что разыгравшихся балканских войн, Сазонов продолжает: «В связи с таким настроением все великие державы без исключения учитывают уже теперь возможность окончательного распада Османской империи и задаются вопросом о заблаговременном обеспечении своих прав и интересов в различных областях Малой Азии, стремятся создать и упрочить основания политических притязаний в будущем дележе Османской империи».

Для России «притязания» в первую голову заключались, конечно, в «ключах от собственного дома». «Сомнение в прочности и долговечности Турции связано для нас с постановкой исторического вопроса о проливах и оценкой всего значения их для нас с политической и экономической точек зрения».

Дальше дается характеристика значения «проливов» для России,— характеристика, настолько полно и откровенно рисующая вождедения российского империализма, что ее стоит привести целиком: «Согласно объяснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 год, торговый баланс России в 1912 году был на 100 миллионов менее в сравнении с средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи с этим весной последовало также повыше-

<sup>1</sup> См. статью «Как возникла мировая война», 119 стр. настоящего сборника.

<sup>2</sup> См. приложение № 1.

<sup>3</sup> См. «Три совещания», стр. 103 настоящего сборника.

ние Государственным Банком учета на  $\frac{1}{2}\%$  для трехмесячных векселей. Таким образом, временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни страны, лишней раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса. Если теперь осложнения в Турции отражаются многомиллионными потерями для России, хотя нам удавалось добиваться сокращения времени закрытия проливов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство, способное оказать сопротивление требованиям России? И для этого не нужно, чтобы государство, владеющее проливами, обладало само по себе силою великой державы. Оно неизбежно приобретет эту силу, обосновавшись на проливах, из-за исключительных географических условий. В самом деле, тот, кто завладеет проливами, получит в свои руки не только ключи морей Черного и Средиземного, он будет иметь ключи для поступательного движения в Малую Азию и для гегемонии на Балканах. Вследствие этого государство, заменившее Турцию на берегах проливов, по всем вероятностям будет стремиться пойти по дорогам, проторенным в былое время турками.

Выше указано было на недопустимость для нас такого рода чуждого завладения проливами с экономической точки зрения. Но не представляется ли это столь же мало допустимым и с точки зрения политической? Не создают ли указанные выше тенденции к гегемонии на Балканах и проникновению в Малую Азию неизбежность резкого антагонизма между всяким новым государством, которое стало бы на место Турции, и Россией?...

Даже в секретных записках царю—официальных—приходилось выдерживать «оборонческий» стиль и говорить о «другой державе, которая могла бы и т. д.», тогда как по существу дела все выгоды от «поступательного движения на Малую Азию и для гегемонии на Балканах» оставались на своем месте, если бы проливами владела Россия. И для нее они оставались бы «ключами морей Черного и Средиземного», со всеми остальными последствиями. «Другая держава» была фиговым листком, наклеенным на возжелания царской России, что со всею очевидностью следует из маленького исторического обозрения, следующего немного дальше: «Уже тридцать лет прошло с того времени, когда державною волею покойного императора Александра III возродился черноморский флот. Около 60 лет прошло со времени появления торгового пароходного движения на Черном море. Оба начинания связаны были с мыслью о мощи России, о возможном утверждении наших интересов на проливах. Сотни миллионов были истрачены на это дело,

равно как и на содержание войск Одесского военного округа, призванных к совместным с нашим флотом операциям. Как известно, еще в 1895 году в связи с армянскими избиениями был поставлен вопрос о временном занятии Константинополя нашими войсками с ведома и согласия наиболее опасного из возможных в то время для нас соперников—Англии. От плана этого пришлось отказаться по недостатку транспортных средств и несовершенству сухопутной мобилизации».

Николаю оставалось только идти по стопам своего родителя и осуществить мечту своей юности. Тем более,—тут опять начинала звучать грустная оборонческая флейта,—что коварная Турция явно хлопчет об увеличении своих морских сил. Очевидно, что проекты Извольского и подготовка русского десанта во время первой балканской войны (о чем тут же упоминает Сазонов) не остались совершенно втайне. Турки заказывали за границей все новые и новые броненосцы, и приходилось «притти к заключению, что в период 1914—1916 годов турецкий военный флот будет иметь преобладание над нашим в Черном море по качеству своих судов и силе их артиллерии». «Россия не может ни допустить в настоящее время морского превосходства Турции в Черном море, ни в будущем остаться безучастной к решению вопроса о проливах. Поручиться за то, что вопрос этот не будет поставлен в недалеком будущем, мы не можем. Следовательно, государственная предусмотрительность требует от нас внимательной подготовки к выступлению, которое может потребоваться. Указанная подготовка не может не носить характера всесторонней планомерной программы с привлечением к работе различных ведомств».

А раз дело дошло уже до столь делового пункта, как «всесторонняя планомерная программа», оборонческие украшения можно было снять. «Указанные вопросы ставят на очередь обсуждение следующих конкретных мероприятий: 1) по ускорению мобилизации достаточно численного десантного корпуса; 2) по оборудованию потребных для сего путей сообщения; 3) по приведению черноморского флота в положение, при коем он превосходил бы силы оттоманского флота и мог бы совместно с армией выполнить задачу прорыва через проливы для их временного или постоянного занятия, если это потребуется; 4) по увеличению наших транспортных средств до размеров, отвечающих потребностям десантной операции». Для этой цели Сазонов и предлагал созвать то совещание, протокол которого целиком напечатан в упоминавшейся выше статье «Вестника Нар. Ком. Ин. Дел». Но он отчетливо видел, что операция в проливах никоим образом не могла бы остаться изолированным действием, с глазу на глаз между Россией и Турцией: «По-



второя высказанное вначале пожелание о возможно более длительном поддержании status quo, приходится также снова повторить, что вопрос о проливах едва ли может выдвинуться иначе, как в обстановке общеевропейских осложнений».

И вот долгожданное «общевропейское осложнение» было налицо, а до проливов было все так же далеко... Между тем, в них была вся суть дела. Без участия в войне Турции, и притом против России, игра не стоила свеч. Можно себе представить настроение Сазонова, когда он получил от российского посла в Константинополе Гирса такую телеграмму:

«23 июля / 5 августа 1914 года. № 628. Срочно. Прошу срочных указаний. По моему поручению генерал Леонтьев<sup>1</sup> посетил сегодня Энвера-пашу, который заявил ему, что мобилизация отнюдь не направлена против России, что если это будет отвечать интересам России и может успокоить ее со стороны кавказской границы, то она (Турция) согласна взять оттуда часть войск из 9-го и 11-го корпусов. Далее он заявил, что Турция сейчас ни с кем не связана и будет действовать сообразно с своими интересами. Если бы Россия пожелала обратить внимание на турецкую армию и использовать ее для своих целей, то он такую комбинацию считает возможной. Эта армия могла бы быть использована Россией как для нейтрализации армии того или иного балканского государства, которое намеревалось бы выступить против России, так и для содействия армиям балканских государств против Австрии, если бы России удалось примирить балканские государства между собой и с Турцией на условиях взаимных уступок. На вопрос генерала Леонтьева, какие именно могли бы быть эти уступки, Энвер ответил, что они могли бы выразиться для Турции в Эгейских островах и в области Западной Фракии, при чем Греция могла бы получить компенсацию в Эпире, Болгария в Македонии, Сербия в Боснии и Герцеговине. На ряд сомнений, выраженных генералом Леонтьевым, Энвер ответил утверждением, что он убежден в возможности такой комбинации с турецкой стороны. К ней с радостью примкнут и правительство, и турецкий народ, раз только будут знать, что она может принести реальные результаты. Генерал Леонтьев просит передать копию этой телеграммы в военное министерство. (Подп.) Гирс».

В «Петрограде» желали получить турецкую столицу, а им предлагали турецкую армию! Но захватить столицу своего союзника, этого даже империалистский кодекс войны не допускал. На первый случай надеялись взять опасное

<sup>1</sup> Русский военный агент в Константинополе.

предприятие измором. На телеграмму Гирса Сазонов отвечал: «Считали бы желательным, чтобы генерал Леонтьев продолжал объяснения с Энвер-беем в благожелательном смысле, хотя бы для известного выигрыша времени, избегая каких-либо связывающих заявлений» (телеграмма № 1705, от 24 июля/6 августа). Но Энвер был упрямый турок, а Гирс—несколько туповатый дипломатический чиновник, все рассматривавший с высоты своей константинопольской колокольни. Через три дня Сазонов получил от него новую телеграмму, ничуть не более успокоительную.

«Срочная. Прошу срочных распоряжений. Согласно данному поручению телеграммой № 1705, генерал Леонтьев сегодня снова посетил Энвера. Военный министр заявил, что он стоит на прежней точке зрения, т. е. за союз с Россией. Он не скрыл, что может встретить сильную оппозицию в правящих кругах, но надеется ее побороть, тем более, что армия в его руках. Вопреки существующему мнению, Турция еще не связана с «Тройственным союзом»; он знает, что на правительство оказывается сильнейшее давление со стороны немецкого и австрийского (послов). Последние дни начали формулировать свои предложения и болгары, но он убежден, что при конкретной постановке вопроса восторжествуют национальные оттоманские интересы. Военный министр ставит вопрос ясно и коротко: турки убирают с кавказской границы все, что у них есть, с целью дать русским полную гарантию своих добрых намерений и возвратить с Кавказа большую часть войск на западную границу. Вместе с тем они собирают в ближайший срок сильную армию во Фракии и ставят ее в наше распоряжение с готовностью двинуть ее против любого из балканских государств, в том числе против Болгарии, или совместно с ними против Австрии. В день, когда будет установлено соглашение, он обязуется удалить с турецкой службы всех немецких офицеров. В заключение Энвер-паша ставит условие: возвращение Турции Западной Фракии и Эгейских островов и заключение с Россией оборонительного союза на срок от 5 до 10 лет, дабы Турция могла быть обеспечена от мести своих соседей на Балканском полуострове. Энвер-паша все время говорил в спокойном и доброжелательном тоне и с большой искренностью, совершенно правильно нарисовав генералу Леонтьеву картину общего политического положения с точки зрения турецких интересов. Вызванный Леонтьевым, он ответил, что он отлично понимает, что Турции и Болгарии придется считаться с ненавистью немцев, но, как он выразился, это обстоятельство не испугает, ибо даже в случае победы немцев им трудно будет причинить ей серьезный вред, так как у них нет общих границ, и он по примеру войны в Ливии знает, какое противодействие может

быть организовано против морской экспедиции. Генерал Леонтьев вынес убеждение, что дело может быть сделано, если только решение будет принято немедленно. Вся сила теперь в руках Энвера, тем более, что он только-что назначен главнокомандующим. Генерал Леонтьев, не имея времени шифровать, просит копию этой телеграммы передать в военное министерство. (Подп.) Гирс» (телеграмма от 27 июля/9 августа).

Приходилось ставить все точки над и, чтобы даже Гирс понял. «Пока не получим ответа из Софии,—телеграфировал Сазонов (№ 1779, от 28 июля/10 августа),—имейте в виду необходимость в переговорах с Энвером выигрыша времени. Имейте в виду, что действий Турции непосредственно против нас мы не опасаемся».

Последние (подчеркнутые мною. *М. П.*) строки самому тупому человеку должны быть даны понять, что турецкая армия «Петрограду» отнюдь не нужна, а войну с Турцией там вовсе не рассматривают как особое бедствие. Но Гирс и тут ухитрился не понять, чего желает начальство, и продолжал сыпать предложениями турецкого союза, как горохом. За двое суток, 9—10 августа по нов. стилю, Сазонов получил от него одну за другою три телеграммы. Первая гласила: «Я видел великого визиря, который теперь вполне в курсе объяснений Энвера с генералом Леонтьевым и, по видимому, сочувствует им, хотя официально стоит на почве сохранения полного нейтралитета Турцией, не соглашаясь, что присутствие германских офицеров нарушает этот нейтралитет. Наше свидание происходило до последней поездки генерала Леонтьева к Энверу, так что я мог сказать великому визирю, что буду ожидать этих объяснений, чтобы по их поводу выслушать и его отзыв». Вторая: «Прошу срочных указаний. Ссылаюсь на телеграмму 650. Почитаю долгом высказать, что нам надлежит немедленно принять предложение Энвера, не входя ни с кем в какие-либо предварительные объяснения, так как время не терпит. Если победа останется за нами, мы всегда сумеем вознаградить и Болгарию, и Грецию. Между тем, наш отказ несомненно и бесспоротно бросит Турцию в объятия наших врагов. Если даже Энвер не вполне искренен, наше согласие выяснит положение, которое в настоящем обостренном фазисе не может не привести к кризису и разрыву».

На другой день пошла третья телеграмма, самая категорическая.

«Срочная. Прошу срочных распоряжений. Ссылаюсь на №1769. Чтобы не вышло недоразумения и чтобы из-за него не было задержки в заключении соглашения, столь важного в политическом отношении в смысле приобретения, может

быть, исключительного влияния на Балканском полуострове, почитаю долгом сказать, что вопрос об отводе 9-го и 11-го корпусов выставлен самим Энвером в виде гарантии искренности Турции и сам по себе является побочным. Смею думать, что он мог бы быть решен, как, впрочем, и все остальные вопросы, касающиеся организации и действий турецкой армии, в полном соответствии с указаниями августейшего верховного главнокомандующего. Цель, к которой нам необходимо стремиться, заключается в совершенном устранении навсегда враждебного нам господства Германии в Турции. К достижению этой цели представляется теперь крайне благоприятный случай. Если мы его выпустим, то бесповоротно бросим Турцию в объятия Германии, которая, даже ослабленная и побежденная, все же будет весьма враждебна нам на Ближнем Востоке. На сегодняшнем дипломатическом приеме великий визирь доверительно высказал мне, что он сочувствует стремлению Энвера сблизиться с нами и готов оказать свое полное содействие быстрому заключению соглашения. Я заметил ему, что лично вполне сочувствую соглашению России с Турцией, но что оценка способа для условий его достижения зависит исключительно от императорского правительства. Я глубоко убежден, что настал исторический момент, когда мы имеем возможность окончательно подчинить себе Турцию и через нее парализовать готовящиеся выступить против нас враждебные нам силы на Балканском полуострове».

Но в «Петрограде» Турция нужна была вовсе не в роли союзницы, хотя бы самой смиренной и послушной. Там вообще нужна была не Турция, а Константинополь, а лучшим предлогом его занять была бы война с Турцией. А для этой войны в руках Сазонова был уже великолепный предлог: два германских военных судна, «Гебен» и «Бреслау», пришли в Дарданеллы и не были турками разоружены. Это было посерьезнее пребывания в турецкой армии германских инструкторов, к чему до сих пор привязывался Сазонов. Последний чувствовал теперь под ногами твердую почву, и Гирс не получил ни срочных, ни каких бы то ни было указаний по поднятому им вопросу. Вся дальнейшая переписка русского министерства иностранных дел с российским посольством в Константинополе посвящена «Гебену» и «Бреслау». А через пару недель турко-германское соглашение стало совершившимся фактом: «опасность» русско-турецкого союза, который мог бы испортить всю игру, была устранена.

Как видит читатель, диалектика истории принимает иногда самые неожиданные формы, и в русско-германской войне мог быть момент, когда российский министр иностранных дел готов был приветствовать германский броненосец,

как своего избавителя. Кстати, приведенная переписка<sup>1</sup> вскрывает нам и секрет несколько неожиданного появления «Гебена» в турецких водах. О борьбе партий в турецком министерстве—за союз с Россией и за союз с Германией—было, разумеется, известно и в германском посольстве. Надо было подкрепить анти-энверовскую сторону и дать перевес немецкой партии. Что это было одновременно выигрышем и для Сазонова,—для немцев было безразлично, ибо, конечно, в центре их внимания стояли не русские вождедения к проливам (им Вильгельм, при известных условиях, не прочь был даже пойти навстречу), а соперничество из-за Турции с Англией. Русско-турецкий союз отдавал в английские руки Багдадскую дорогу—стратегический подступ к Египту и к Индии. Этого несчастья, с немецкой точки зрения, следовало избежать во всяком случае. Появление «Гебена» и «Бреслау» бросило гирию на весы в тот самый момент, когда «русская» чашка начала быстро перетягивать. А что этому делу помог и Сазонов,—это была уже добавочная насмешка истории.

Но если инцидент с «Гебеном» «спас» Россию от опасности турецкого союза (и от возможности иметь на один фронт меньше), его оказалось недостаточно, чтобы втянуть Турцию в войну. Чашки весов только уравновесились с легким наклоном в германскую сторону. Шел сентябрь, а Турция все продолжала держать нейтралитет, правда, теперь явно дружественный Германии. И вдруг начала обрисовываться новая опасность—что война кончится вообще без участия Турции. Как же тогда быть с «ключами от собственного дома»?

1 сентября<sup>2</sup> российский посол в Вашингтоне Бахметев известил свое начальство, что посол германский, Бернсторф, был у Брайана—американского министра иностранных дел в те дни—предлагая, чтобы президент Соединенных Штатов Вильсон взял на себя, по примеру Рузвельта во время русско-японской войны, посредничество для начала мирных переговоров между Антантой и Германией с ее союзниками. Свидание было настолько секретное, что даже американская печать ничего о нем не пронюхала<sup>3</sup>. Но воюющие державы были уже посвящены в дело, и в Вашингтоне имелся даже ответ Франции, звучащий весьма подозрительно: «в принципе желательно было бы прекратить войну, но это возможно только, если условия удовлетворительны и гарантии достаточны». Еще более было подозрительно, что своим союзникам французское правитель-

<sup>1</sup> Не вся—я взял лишь важнейшие телеграммы Гирса.

<sup>2</sup> Дальше мы берем все числа по новому стилю.

<sup>3</sup> См. приложение II.

ство этого своего ответа не сообщило, а, наоборот, рассказывало, что оно «отклонило предложение» (телеграмма Крупенского из Рима от того же числа)<sup>1</sup>.

Все это было настолько мало удовлетворительно, что «старшина» Антанты, каковым тогда была Англия, решил вмешаться в дело, притом достаточно торжественным образом и в тоне, весьма категорическом. 19 сентября король Георг V призвал к себе русского посла в Лондоне Бенкендорфа и высказал ему свое, английского короля, решительное мнение<sup>2</sup>, что «никакой мир невозможен, пока события не позволят навязать (d'imposer, — Бенкендорф, в качестве дипломата классической старой школы, всегда писал свои депеши по-французски) Германии такой мир, который бы закрепил окончательный разгром ее военной гегемонии». «Король мне сказал,—продолжает Бенкендорф,—что его мнение на случай косвенных попыток Америки было бы оставить американские предложения безо всякого ответа, игнорируя их совершенно. Король думает, что союзным правительствам нет никакой надобности даже совещаться (на этот счет): если бы союзные правительства вошли между собою в переговоры, это очень быстро стало бы известно в Берлине и рассматривалось бы там как признак нерешительности и слабости. Король мне сказал, что он хотел совершенно конфиденциально сообщить мне его личное мнение по этому поводу». Но очевидно, что «совершенно конфиденциальное» сообщение имело только физическим слушателем Бенкендорфа, а по существу было обращено к Николаю II. Совершенно естественно, что ответил Георгу V именно последний, и ответил в самом успокоительном духе. Бенкендорфу было сообщено, что на его депеше Николай написал<sup>3</sup>: «Всецело разделяю каждую мысль короля. Прошу графа Бенкендорфа категорически заверить его величество, что, несмотря ни на какие препятствия или потери, Россия будет бороться с ее противниками до конца» (последние слова подчеркнуты Николаем).

Франция была, таким образом, изолирована в своей слабости (довольно простительной — Николай еще прочно сидел в Питере, а Георг V в Лондоне, тогда как французское правительство только-что должно было весьма поспешно переехать из Парижа в Бордо), и опасность «преждевременного» прекращения кровопролития была устранена. Окончательно выяснившийся к этому времени неуспех немцев на западном фронте обещал сделать положение достаточно устойчивым. Но в российском министерстве иностранных дел этот маленький инцидент заставил задуматься,

<sup>1</sup> См. приложение III.

<sup>2</sup> См. приложение IV.

<sup>3</sup> См. приложения V и VI.

тем более, что в руках этого министерства была перехваченная русским телеграфом депеша Делькассе<sup>1</sup> к Палеологу<sup>2</sup>, из которой видно было, что англичане, несмотря на торжественные заявления короля, все же выслушивают американские предложения<sup>3</sup>. Нежелание обсуждать последние со своими союзниками могло иметь и обратную сторону... Правда, все это были лишь отдаленные возможности—от личного свидания с Бернсторфом английский посол в Вашингтоне уклонился. Но дипломаты на то и существуют, чтобы учитывать даже и отдаленные возможности. Совершенно ясно было, что мир так или иначе мог быть заключен раньше, чем «исторические задачи» царской России будут разрешены. Надо было принять меры.

Случайно или нет, но на другой же день после того, как на телеграфе была перехвачена депеша Делькассе (удостоившаяся собственноручной отметки Николая), Палеолога пожелал видеть министр земледелия Кривошеин, — тот самый, что потом был у Врангеля и недавно умер. «По своему личному авторитету и доверию к нему императора, он—настоящий председатель совета министров»,—аттестует его Палеолог в своей депеше Делькассе об этом свидании» (тоже перехваченной и потому сохранившейся в архивах русского министерства иностранных дел). Номинальный председатель совета Горемыкин был, как известно, соломенным чучелом на председательском кресле.

Кривошеин пришел, конечно, к Палеологу как частный человек—просто в гости. Разговор был такого свойства, что официально его вести было трудно, как сейчас увидим. «Военные действия, — говорил Кривошеин, — могут длиться еще долго, но может случиться, что по причинам, не относящимся к стратегии, они могут окончиться и довольно скоро. Правительства «Тройственного согласия» не должны допустить, чтобы мирные предложения застали их врасплох; нужно, не теряя слишком много времени, фиксировать общие пожелания».

Таков был первый пункт, точнее—введение к беседе. Второй пункт не был новостью для Палеолога, ибо он повторял лишь то, что французский посол слышал уже десять дней назад от Сазонова. Но так как читатель этого не слышал, то нужно на минуту вернуться к другой, тоже перехваченной депеше Палеолога от 14 сентября<sup>4</sup>.

В этот день Палеолог тоже имел весьма содержательную беседу, но не с Кривошеиным, а с Сазоновым. Беседа

<sup>1</sup> Французский министр иностранных дел.

<sup>2</sup> Французский посол в России.

<sup>3</sup> См. приложение VII.

<sup>4</sup> См. приложение IX.

<sup>5</sup> См. приложение VIII.

происходила, как видно из сопоставления дат, тотчас же, как только в Петербурге стало известно об американском предложении и о мягкотелости, обнаруженной французами. Соответственно обстановке, Саонов и беседовал с Палологом не с глазу на глаз, а в присутствии Бьюкенена, английского посла. Последнее заставляет рассматривать сазоновские предложения, как согласованные с англичанами и тем более интересные. Далее дается в переводе текст основной части перехваченной депеши.

«Г. Саонов нам сообщил в общих чертах, как он понимает те изменения карты Европы, которые были бы в интересах трех союзников (т.-е. Англии, России и Франции).

1. Главная цель союзников—сломить могущество Германии и ее претензии на господство военное и политическое.

2. Территориальные изменения должны определяться принципом национальностей.

3. Россия присоединяет к себе нижнее течение Немана и восточную часть Галиции, а к Царству Польскому она присоединяет Восточную Познань, Силезию и западную часть Галиции.

4. Франция получает обратно Эльзас-Лотарингию, прибавив к ней такую-то часть (à sa guise) часть рейнской Пруссии и Палатината.

5. Бельгия получит существенное расширение своей территории.

6. Шлезвиг-Гольштиния возвращается Дании.

7. Восстанавливается Ганноверское королевство.

8. Австрия превращается в тройственную монархию из Австрийской империи, королевства Богемского и королевства Венгерского. Австрийская империя охватит исключительно «наследственные провинции». Богемское королевство включит в себя собственно Богемию, Моравию и Словакию. Венгерское королевство должно будет столкнуться с Румынией по поводу Трансильвании.

9. Сербия присоединит к себе Боснию, Герцеговину Далмацию и северную Албанию.

10. Болгария получит от Сербии вознаграждение в Македонии.

11. Греция присоединит к себе юг Албании, за исключением Валонии, которая отойдет к Италии.

12. Англия, Франция и Япония разделят между собою германские колонии.

13. Германия и Австрия заплатят военную контрибуцию.

Г. Саонов очень просил сэра Д. Бьюкенена и меня не придавать никакого официального значения этому «эскизу картины, полотно которой еще не выткано». Но несколько слов, которые он мне шепнул в сторонке, дали мне понять, что он очень желает теперь же познакомить нас со своими



идеями и что он более чем когда-либо ценит тесный контакт с нами».

Я нарочно не прерывал этого очаровательного рассказа никакими собственными замечаниями, как ни просились они под перо. В самом деле, разве не великолепен этот вывод из «принципа национальностей», что России следует отдать прусскую Литву? Разве не очаровательно это празднование буквально и на Антона, и на Онуфрия: Литву беру себе, как император всероссийский, а Познань и Западную Галицию как «царь польский»? И не один ли восторг этот, опять-таки во имя «принципа национальностей», раздел Германии—столь наглый, что его убоялся даже Версаль после полного разгрома империи Вильгельма? Вполне очевидно, что Сазонов не менее английского короля боялся мира и потому манил французов такими перспективами, на осуществление которых в сентябре 1914 г. не могло быть никаких разумных надежд. И вполне очевидно также, что при Бьюкенене он чего-то не договаривал и что с Палеологом предполагался какой-то еще более конфиденциальный разговор. Вести этот разговор и пришел 25 сентября Кривошеин.

Нарисовав еще раз приятные для французов перспективы совершенного исчезновения Германии с карты Европы (что бы от нее осталось, осуществись на деле пожелания Сазонова?), Кривошеин перешел к самому деликатному пункту разговора—к тому, что Бьюкенену пока не полагалось слышать.

«З. По поводу проливов г. Кривошеин думает, что они должны быть свободны, что турки должны уйти в Азию, и что Константинополь должен сделаться нейтральным городом, управляемым на таких же условиях, как Танжер<sup>1</sup>.

«Я выслушал г. Кривошеина, не высказывая своего мнения, за исключением вопроса о Константинополе. «Это, сказал я,—вопрос, который вызовет сильные возражения со стороны Англии».

«Г. Кривошеин спросил меня, знаю ли я что-нибудь о ваших (Делькассе) намерениях. Я ответил, что я их совершенно не знаю. В свою очередь, я его спросил, имел ли он случай изложить свои мысли императору. «Да, вчера (!),—ответил он,—но я вас уверяю, что это всецело мои личные мысли».

Тут сейчас же и обнаружилось, какого плохого дипломата держала Франция в Петербурге в эти решительные дни. Весь смысл визита Кривошеина заключался в том, чтобы столкнуться с Францией о Константинополе за спиной англичан. А Палеолог на другой же день, при Сазонове,

<sup>1</sup> В Марокко. Состоит под международным протекторатом.

рассказал обо всем Бьюкенену. Сазонову ничего не оставалось, как сделать «хорошую мину при плохой игре», выдав попутно Кривошеина, с которым он, будто бы, «не вполне согласен». «Но я думаю, как и он, что при заключении мира мы должны раз навсегда обеспечить себе свободный проход через проливы».

«Он продолжал очень твердым тоном: «Турки должны остаться в Константинополе и в окрестностях. Что касается свободы проливов, она должна быть нам гарантирована под тремя условиями: 1) что на берегах Дарданелл не могут воздвигаться никакие укрепления; 2) что полиция в Дарданеллах и Мраморном море должна быть поручена особой комиссии, имеющей в распоряжении морскую силу; 3) что Россия получит морскую стоянку у входа в Босфор, например, в Буюкдере. Этот вопрос имеет для нас жизненный интерес. Откладывать его решение более невозможно».

«Сэр Д. Бьюкенен и я, мы оба вынесли впечатление, что, говоря таким образом, г. Сазонов сообщил нам не простой проект, но решение».

Предвидя конец «дела», на которое его наняли, мавр требовал гарантии, что ему заплатят. И так как упрямая Турция все еще не хотела воевать, приходилось ставить ультиматум французам и англичанам. Как там хочешь, а проливы подай! Неизвестно, как справились бы союзники Николай II с деликатной задачей раздела не участвовавшего в войне государства, если бы на помощь не пришли немцы, — те самые милые немцы, которые уже спасли однажды Сазонова от опасности русско-турецкого союза. Преследуя, как мы видели, свои собственные задачи и не смущаясь минутными совпадениями своих путей с путями русского царизма, к концу октября они убедили Турцию вступить в войну. Вопрос сразу упростился чрезвычайно.

С 29 октября 1914 года Турция воевала, формальных затруднений к тому, чтобы официально поднять вопрос о проливах, более не было. Но после провала первой попытки в Петербурге колебались. А когда колебания прекратились, новому выступлению была придана столь торжественная форма, что дорогим союзникам не было никакой возможности вернуться от ответа, как это было в первый раз. Инициативу разговора взял на себя сам Николай.

В середине ноября в петербургских салонах большой шум производил Витте. «Со спокойной и высокомерной дерзостью», изумлявшей союзных послов, он всюду проповедывал необходимость «ликвидировать эту нелепую авантюру», каковое бесцеремонное название прилагалось им к «великой войне» или, по крайней мере, к участию в ней России. То, что Витте за такие речи не арестовывали и не выслали, приводило союзную дипломатию в большое сму-

щение. Не воскресает ли фавор Витте? Раз, ведь уже он из немилости и опалы отправился вершить судьбы внешней русской политики в Портсмуте. Не возвращаются ли дни Портсмута снова? Безнаказанная «дерзость» Витте так смущала Палеолога, что он попросил объяснения у Сазонова. Объяснения он не получил, что, конечно, еще усилило его беспокойство, но несколько дней спустя он получил приглашение прибыть в Царское Село, где безвыездно лето и зиму жили Николай и Александра Федоровна.

Союзные послы отнюдь не были постоянными гостями в романовской берлоге. Палеолог не видал царя с первых дней войны. Даже в его дневнике, опубликованном, а фактически, вероятно, и написанном уже в те дни, когда романовская империя давно была на том свете, чувствуется, до чего необыкновенным и заманчивым эпизодом была для французского посла эта «интимная» беседа с Николаем. Еще курьезнее это отражается в переписке нейтральных и союзных дипломатов, каждому из которых Палеолог поспешил сообщить «на-ушко» об оказанной ему чести. Об этом писали и японцы, и итальянцы, и болгары,—это только считая те телеграммы, которые сочло нужным перехватить и расшифровать русское министерство иностранных дел. Сам Палеолог передал «историческую беседу» с ним царя в четырех особо зашифрованных и сверх-секретных телеграммах Делькассе, в первой же из которых тщательно отмечено, что разговор продолжался час с четвертью.

Так как версия Палеолога изложена весьма близко к его телеграммам в напечатанных им мемуарах, переведенных по-русски, то излагать ее подробно не имеет смысла. Да Николай и не сказал ему ничего существенно нового. Он рабски повторил 21 ноября сентябрьские разговоры двух своих министров, Сазонова и Кривошеина, иногда буквально почти теми же словами (Палеолог не сообщает, не было ли у него перед глазами шпаргалки), только изменив порядок: те сначала говорили о разделе Германии и Австрии, а потом о Константинополе и проливах, Николай шел обратным путем. Интереснее поэтому на основании сохранных третьими лицами следов «нескромности» болтливого дипломата восстановить намеренно или нечаянно опущенные им подробности (характерно, что о беседе с Сазоновым 14 сентября он в своих мемуарах не говорит ни слова, а о разговоре с Кривошеиным 25 сентября только упоминает, не излагая подробно его содержания).

По японскому пересказу, Николай начал прямо со ссылки на «некоторых лиц», которые «недавно» утверждали, что «Россия в настоящее время желает мира». Это было прямое использование разговоров Витте, под впечатлением которых Палеолог ехал в Царское Село. На этом

фоне категорическое заявление Николая, что он будет воевать до «конца», должно было особенно сильно подействовать. Болгарская версия, помимо того, что дает в очень развернутом виде беглое замечание Николая в «Мемуарах»: «Болгария, если будет вести себя благоразумно, получит вознаграждение от Сербии в Македонии» (в телеграмме Маджарова Радославу это превращено в целую программу, с тремя возможными исходами в зависимости от поведения Болгарии), помимо этого сообщает, что Николай был «в удрученном состоянии духа». Это «удрученное состояние» должно было лишней раз напомнить французскому послу, что, как Николай ни «тверд», терпению его есть все же предел.

Хотя Палеолог на другой день после беседы с бодростью говорил японцу, что по поводу проливов «нет надобности опасаться затруднений между Россией и Англией», беседа Николая, на первый взгляд, подействовала немногим больше, чем разговоры двух министров в сентябре. Все, чего Николай мог добиться при содействии Франции, это — что Бьюкенен «в ноябре получил инструкции известить русское правительство, что, в случае нашей победы над Германией, судьба Константинополя и проливов будет решаться в соответствии с нуждами России» (!). Сам английский посол должен был признать, что это сообщение «в силу своей неопределенности ненадолго удовлетворило русское правительство»<sup>1</sup>. Чтобы услышать в устах англичан язык, более членораздельный, нежели изречения дельфийской пифии, пришлось пустить в ход средства, более энергические, чем старческая болтовня Витте.

На помощь пришли опять немцы. На протяжении этого маленького исследования комбинации Сазонов—Германия не суждено нас оставлять ни на одном этапе. В середине декабря на всех дипломатических перекрестках вдруг снова поднялись разговоры о мире. Уже 6-го об этом телеграфировал Берхтольду<sup>2</sup> Паллавичини, австрийский посол в Константинополе, со слов своего германского коллеги Вангенгейма: на сцене опять было посредничество Вильсона. Как Паллавичини узнал потом уже непосредственно от американцев, переговоры на этот счет возобновились еще в ноябре, но от Австрии их первое время скрывали. Не имея под руками австрийских документов, трудно судить, по соглашению ли с Германией или в отместку за ее сепаратное выступление, но Австрия, со своей стороны, начала принимать аналогичные шаги. От половины декабря мы имеем категорическое заявление о мире, который Австрия

<sup>1</sup> Дж. Бьюкенен, «Мемуары дипломата», стр. 130, русск. изд.

<sup>2</sup> Австрийский министр иностранных дел.

предлагала Сербии: об этом телеграфировал Сазонову от 3/16 декабря Бенкендорф из Лондона, со слов тамошнего сербского представителя, как о вещи общеизвестной, а телеграмма Соннино<sup>1</sup> Карлотти<sup>2</sup> от 10/XII прямо так и озглавлена была: «Австро-сербский мир» (pace austro-serbo).

Но «австро-сербский мир» логически ставил вопрос об «австро-русском мире», ибо формально причиной разрыва Австрии с Россией была именно австро-сербская война. По существу мы знаем, что проект раздела Австро-Венгрии существовал в Петербурге задолго до австрийского ультиматума Сербии и даже ранее, чем явился повод для такого ультиматума<sup>3</sup>. Но правительству Николая II могло быть выгодно иной раз и позабыть об этом существе дела. Австрия хочет мириться,—отчего же с ней и не поговорить?

И вот от 4 января мы имеем депешу второстепенного нейтрального дипломата, греческого посланника в Петербурге, Драгумиса, Вензелосу,—депешу<sup>4</sup>, которую приходится привести целиком в переводе (оригинал на французском языке). Она тоже была перехвачена, разумеется, царским телеграфом.

«Я узнал, что председатель совета министров ездил в ставку, где находится и император. Сербский посланник сообщает, что, по сведениям из главного штаба, целью свидания (Горемыкина и Николая. М. П.) было обсуждение вопроса об отдельном мире с Австрией. Условия русского правительства следующие: Россия получает Галицию, Сербия—Боснию, Богемия становится автономной. С другой стороны, мне сообщают, что Германия и Австрия, чтобы спасти прежде всего свои собственные территории, склонны признать за Россией право на проливы. Сербский посланник получил приказание ходатайствовать перед русским правительством о движении русских войск в Венгрию».

По существу дела совершенно безразлично, имел ли место факт австро-русских переговоров в декабре—январе 1914—1915 г.г., или нет. Два обстоятельства указывают на то, что психологически это было вполне возможно. Во-первых эта мысль встречается в мемуарах Палеолога под 1 января, при чем инициативу автор мемуаров приписывает себе, за что будто бы он получил нагоняй от Делькассе (запись под 9 января). Надо иметь в виду, что к Палеологу относились в русском министерстве иностранных дел как к фигуре комической, и поэтому чрезвычайно мало правдоподобно, чтобы Сазонов предпринял какие-нибудь практи-

<sup>1</sup> Итальянский министр иностранных дел.

<sup>2</sup> Итальянский посол в России.

<sup>3</sup> См. статью „Как возникла мировая война“, стр. 119 настоящего сборника.

<sup>4</sup> См. приложение XI.

ческие шаги на основании его, Палеолога, указаний. В то же время мы имеем телеграмму<sup>1</sup> уже самого Сазонова Извольскому<sup>2</sup> почти на две недели старше записи Палеолога (от 6/19 декабря 1914 г.), где мы читаем: «Сюда также доходят слухи о возможной попытке Австрии заключить отдельный мир, но пока эти слухи еще весьма неопределенны, и их подтверждение представляется гадательным. Во всяком случае, почин подобных переговоров должен принадлежать Австрии, и нам необходимо будет выслушать ее предложения, прежде чем установить наши условия».

О принципиальном отказе от переговоров, как видим, здесь нет и речи. А стремление Палеолога приписать инициативу себе, мотивируя притом стремление к австро-русскому миру интересами Франции, кажется, всего правильнее будет рассматривать как признак, что переговоры имели место, и не без ведома французов. Участие последних нам станет вполне понятно, если мы припомним одно место из разговора Палеолога с Николаем 21 ноября. В конце его Палеолог очень добивался услышать от Николая, что «единственным и окончательным движением русской армии будет движение к Берлину». Николай это подтвердил, посочувствовав кстати трудному положению французской армии. В самом деле, на западе к этому времени произошла окончательная «стабилизация фронтов», результаты марнского успеха были исчерпаны, союзники опять были на обороне, а наступали немцы,—словом, отвлечение внимания русских к Вене было как нельзя менее приятно для французского главного командования. Заключение мира с Австрией раз навсегда фиксировало, как «единственную и окончательную» цель похода, германскую столицу; ради этого стоило слегка изменить англичанам (чтобы отклонить это подозрение, Палеолог делает молчаливым свидетелем своей беседы с Сазоновым Бьюкенена, но насчет таких подробностей его мемуары менее всего надежны).

Если австро-русский мир не беспокоил Францию и мог быть ей даже на-руку, дело совсем иначе обстояло с англичанами. Выключение Австрии из войны наглухо отрезывало Берлин от Константинополя и отдавало Турцию на милость и немилость России. Но англичане еще далеко не переварили той мысли, что русские станут хозяевами Константинополя. Что проливы были для англичан наживкой на удочке, при помощи которой была поймана такая крупная рыба, как царская Россия,—это несомненно, но наживку на крючок насаживают совсем не затем, чтобы серьезно кормить ею рыбу. И всего менее приятным для рыболова

<sup>1</sup> См. приложение X.

<sup>2</sup> Русский посол в Париже.

моментом бывает, когда рыба наживку съест, а с крючка сорвется. А мир с Австрией именно это и обещал. Получив Галицию, а следом за тем легко вынудив Турцию передать в русские руки проливы, к чему Николай стал бы продолжать войну?

Перспектива австро-русского мира ставила перед англичанами совершенно определенную политическую задачу: устроить так, чтобы Константинополь Николай мог получить только из рук Англии. А это практически приводило к стратегической задаче: быть в проливах раньше русских. 19 февраля 1915 года английский флот начал бомбардировку дарданелльских фортов.

Это не только домысел «задним числом» историка: современная событиям русская дипломатия совершенно так же расценивала положение вещей. Посланник в Белграде, кн. Гр. Трубецкой, телеграфировал (13/26 февраля) Сазонову<sup>1</sup>: «Проливы для нас не только средство, но и конечная цель, коею осмысливается вся нынешняя война и приносимые ей жертвы. Для меня борьба с Германией и Австрией и союз с Францией и Англией только средство для достижения этой народной цели. С этой точки зрения не может быть безразлично, мы или наши союзники завладеем проливами. Одно участие их с нами в этом деле является уже прискорбным, ибо создает им опасные для нас права в конечном разрешении вопроса. Завладение же проливами без нас было бы прямо пагубно, и в этом случае Константинополь стал бы в будущем могилою нынешнего нашего союза... Относительно конечного разрешения вопроса категорически должен вновь высказать глубокое убеждение, что только полный и всецелый контроль наш над обоими проливами может быть признан действительным разрешением задачи, допущение же участия наших союзников в контроле над Дарданеллами, хотя бы под видом их нейтрализации, может послужить началом конца наших взаимных отношений и установить для нас режим, менее обеспеченный, чем при слабых турках. Поэтому, если невозможно разрешить вопроса всецело в нашу пользу, то есть присуждением нам границы Мидия—Энос, то наименее плохим из последующих решений было бы оставление на проливах Турции с установлением нашего военно-морского контроля над проливами. Это фактически привело бы Турцию к положению Бухары и в то же время оградило бы финансовые и экономические интересы союзников, не встречая, вероятно, непреодолимых препон в их общественном мнении. Во всяком случае, только исчерпывающий обмен мне-

<sup>1</sup> См. приложение XII.

ний с ними теперь же способен предотвратить самые опасные осложнения в ближайшем будущем».

Мы видим кстати, почему безразлично было, имели ли место австро-русские переговоры в действительности, или то, что излагала депеша Драгумиса, было лишь ловкой уткой, пущенной русским главным штабом по примеру той, что вызвала убийство Франца-Фердинанда в июне 1914 г.<sup>1</sup> Николай мог изменить, и англичане считались с этой возможностью даже независимо от вопроса, началась уже ее реализация или еще нет. А раз был налицо объективный факт атаки Дарданелл англичанами французы участвовали в операции явно нехотя и в довольно скромных размерах), «исчерпывающий обмен мнений» являлся столь же объективно неизбежным последствием.

Посредником в «исчерпывающем обмене мнений» опять, как в сентябре и ноябре, могла быть только Франция. По Палеологу, Сазонов вновь затронул щекотливую тему 1 марта, но мы имеем депешу Сазонова Извольскому<sup>2</sup> за несколько дней до этого числа, свидетельствующую, что почва нащупывалась уже давно. Вот эта депеша (13/26 февраля): «Ваша телеграмма № 86 получена. Целью нашего утверждения на проливах является исключительно обеспечение для России выхода в свободное море, как в мирное, так и в военное время. Недавние примеры попрания Германиею актов, обязывавших ее к уважению нейтралитета, а также меры, принимавшиеся Турциею за последние годы в проливах с громадным ущербом для нашей торговли, служат доказательством, что только прочное основание наше в проливах сможет служить гарантией того, что мы будем в состоянии отразить всякую попытку запереть нас в Черном море. Никаких земельных приращений ради увеличения нашей территории мы не ищем. В виду этого правительство озабочено определением того минимума земель, присоединение коих необходимо для достижения намеченной выше цели. Работа эта еще не окончена и сводится покамест к следующему: на европейском берегу должен быть положен конец турецкому владычеству, и линия Энос—Мидия должна служить границею между нами и Болгарией. На азиатском берегу пограничная линия должна примерно идти по реке Сакарии, а засим должно быть обеспечено наше положение на проливах со стороны южного берега Мраморного моря. Экономические интересы как Румынии, Болгарии, вероятно, остатка Турции, а также интересы международной торговли будут приняты нами во внимание».

<sup>1</sup> См. «Как возникла мировая война», стр. 119 настоящего сборника.

<sup>2</sup> Русский посол в Париже.



С Палеологом и Бьюкененом заговорили уже только тогда, когда «работа» была «окончена», при чем впервые было инсценировано «общественное мнение»,—атака Дарданелл, о которой было напечатано в газетах, давала достаточный предлог. «Несколько недель тому назад,—говорил Сазонов,—я мог еще думать, что открытие проливов не включает в себя необходимо окончательной оккупации Константинополя. Сегодня я должен констатировать, что вся страна требует этого радикального решения... Между тем, сэр Эд. Грей до сих пор ограничился тем, что известил нас, что вопрос о проливах будет решен согласно с желаниями России. Правда, король Георг пошел дальше, сказав нашему послу Бенкендорфу: «Константинополь должен быть ваш» (Constantinople must be yours). Но пришло время выражаться точнее. Русский народ не должен более оставаться в неведении, может ли он рассчитывать на своих союзников при разрешении своей национальной задачи. Англия и Франция должны громко заявить, что в день заключения мира они согласятся на присоединение Константинополя к России»<sup>1</sup>.

Церемониал был опять проделан до конца, но на этот раз ускоренным темпом. 3 марта Палеолог снова был приглашен в Царское Село,—предлогом был визит в Россию генерала По, известного «своим талантом, честностью и благочестием». Столь замечательную личность нельзя было не угостить царским обедом, на котором неизбежно должен был присутствовать и французский посол. Подкрепившись пищею, Николай заговорил «твердо». Отозвав Палеолога в сторону, Николай сказал ему: «Вы помните разговор, который был у нас с вами в ноябре прошлого года. Мои взгляды с тех пор не изменились. Но один пункт события заставляют уточнить: я хочу сказать о Константинополе. Вопрос о проливах в высшей степени волнует русское общественное мнение (!). Его<sup>2</sup> значение с каждым днем становится могущественнее. Я не признаю бы за собою права возложить на мой народ страшные жертвы теперешней войны, не обеспечив ему, как вознаграждение, осуществление его вековой мечты (!!). Итак, мое решение принято, господин посол. Я разрешу радикально задачу Константинополя и проливов. Решение, на которое я вам указывал в ноябре, есть единственное возможное, единственное практическое. Город Константинополь и Южная Фракия должны войти в состав моей империи. Что касается администрации города, я готов допустить специальный режим, учитывающий интересы иностранцев... Вы знаете, что Англия уже дала мне

<sup>1</sup> Запись Палеолога под 1 марта 1915 г.

<sup>2</sup> Т.-е., разумеется, вопроса, а не общественного мнения.

свое согласие. Король Георг сказал недавно моему послу: «Константинополь должен быть ваш». Это заявление гарантирует мне добрую волю британского правительства. Если бы, однако, возникли какие-нибудь затруднения в деталях, я рассчитываю, что ваше правительство поможет мне их уладить».

Тон Николая был так тверд, что, ослабленный к тому же процессом пищеварения, Палеолог нашелся только пролепетать: «Могу ли я уверить мое правительство, что намерения вашего величества не изменились и по отношению к проблемам, которые непосредственно интересуют Францию?».

«Разумеется,—был ответ.—Я желаю, чтобы Франция вышла из этой войны столь же великой и сильной, как только возможно. Я заранее подписываюсь под всеми пожеланиями вашего правительства. Берите левый берег Рейна, берите Майнц, берите Кобленц, идите дальше еще, если находите нужным. Я буду счастлив и горд за вас».

Бери все, что хочешь, только дай мне Константинополь. Последующие французские правительства не забыли этих послеобеденных излиятий Николая, и перед самой февральской революцией они были фиксированы в особом соглашении. Но твердый тон, несомненно, объяснялся не только выпитым шампанским: полученная несколько дней спустя депеша Делькассе должна была показать Палеологу, что русское правительство на сей раз подковалось на все четыре ноги. Французское правительство изъявляло свою полную готовность помочь России в «проливном» деле, во всем его объеме, включая Константинополь. Едва ли можно сомневаться, что Николай, ведя разговор с Палеологом, уже знал, через Извольского и Сазонова, содержание будущей депешы Делькассе. Наивный дипломат мог думать, что он слушает «откровение»: на деле это была такая же составная часть церемониала, как и самый обед в честь благочестивого генерала По.

Само собою разумеется, что при наличии согласия Делькассе церемониал предназначался не для Палеолога. Болтливость последнего была уже хорошо известна, говорить с ним значило говорить через окошко на площадь, и первый, кто должен был услышать, были англичане. «Твердый» тон Николая должен был подкрепить «памятную записку», которую на другой же день, 4 марта, Сазонов официально передал Бьюкенену и Палеологу. Самый день передачи, несомненно, был не случайной составной частью всего того же церемониала: 4 марта нового стиля — это 19 февраля старого, годовщина Сан-Стефанского трактата 19 февраля 1878 года.

По отношению к французам и самая передача меморандума была простым церемониалом. Что касается англичан, неизвестно, как ответили бы они, если бы английский флот уже стоял перед Константинополем. Но он был еще по ту сторону Дарданелл. Возможность сепаратного мира продолжала висеть в воздухе. Первое письмо княгини Васильчиковой из Австрии относится именно к этим дням — оно помечено 25 февраля/10 марта 1915 г. Как документ, письмо не имеет, разумеется, никакого отношения к переписке о проливах. Но Васильчикова была одним из каналов, через которые шли русско-австрийские секретные сношения. Не зная самого письма, англичане, если у них был сколько-нибудь сносно поставленный шпионаж, не могли не знать, что переписка по данному сюжету вообще ведется. И, повторяю, им не было надобности иметь точные сведения, вошли ли сношения уже в стадию формальных переговоров о мире, или идет еще только «подготовка почвы». Константинополя еще не было в руках, а Россия могла уйти из рук. Всю эту цепь соображений необходимо иметь в виду, читая тот достопримечательный документ, который Бьюкенен передал Сазонову 12 марта в ответ на русский меморандум от 4-го. Английский меморандум<sup>1</sup> стоит привести целиком — в нем мы имеем краткий конспект всей философии «мировой войны». Когда кто-нибудь вздумает повторять фразы об интересах цивилизации и культуры, достаточно в ответ ему прочесть эту вещь, — самый наивный человек поймет, о какой «цивилизации» тут шло дело.

«Требования, пред'явленные императорским правительством в его памятной записке от 19 февраля/4 марта 1915 года, далеко выходят за пределы тех пожеланий, на которые намекал г. Сазонов несколько недель тому назад. Прежде чем правительство его величества (т.-е. английское) успело обсудить, каковы будут его собственные пожелания при составлении окончательных условий мира, Россия требует определенного обещания удовлетворить ее желания в отношении того, что является фактически б о г а т е й ш е й добычей всей войны (!)<sup>2</sup>. Сэр Эд. Грей надеется поэтому, что г. Сазонов признает, что правительство его величества не может дать большего доказательства дружбы, чем согласие на условия вышеупомянутой памятной записки. Этот документ заключает в себе полный переворот в традиционной политике правительства его величества и находится в прямом противоречии к мнениям и чувствам, некогда всеобщим в Англии и никоим образом не угасшим окончательно.

<sup>1</sup> См. приложение XIII. Здесь мы даем свой перевод, несколько отличающийся от перевода мин-ства ин. д.

<sup>2</sup> «The richest prize of the entire war».

Сэр Эд. Грей надеется поэтому, что императорское правительство признает, что обещания общего характера, данные недавно г. Сазонову, осуществлены самым лояльным и полным образом. Представляя теперь свой меморандум, правительство его величества верит и надеется, что осуществление предлагаемого соглашения обеспечит прочную дружбу между Россией и Великобританией.

Из британского меморандума следует, что пожелания правительства его величества, какое бы значение они ни имели для британских интересов в других частях света, не содержат в себе ни одного условия, которое могло бы мешать России осуществлять контроль по отношению к территориям, обозначенным в русской памятной записке от 19 февраля/4 марта 1915 года.

В виду того, что Константинополь всегда останется складочным пунктом для торговли в юго-восточной Европе и Малой Азии, правительство его величества потребует, чтобы Россия, вступив в обладание им, сделала его «вольной гаванью» для товаров, идущих не на русскую и не с русской территории. Правительство его величества потребует также свободного плавания коммерческих судов через проливы, что г. Сазонов уже обещал.

Не считаясь с тою пользой, которую могут принести общему делу союзников морские и сухопутные операции, предпринятые в настоящее время правительством его величества в Дарданеллах, ясно, что эти операции, как бы успешны они не были, не могут принести никакой пользы правительству его величества при окончательном заключении мира. Одна Россия пожнет непосредственные плоды этих операций, если война будет победоносна. Поэтому, по мнению правительства его величества, Россия не должна создавать затруднений для какой-либо державы, которая на разумных основаниях предложила бы свое содействие союзникам. Единственная держава, могущая участвовать в операциях, касающихся проливов, есть Греция. Адмирал Гарден просил адмиралтейство выслать ему еще «истребителей», но таковых в распоряжении адмиралтейства более нет. Помощь греческой флотилии, если бы таковая могла быть обеспечена, была бы поэтому неоценима для правительства его величества.

Одной из главных целей, которые преследовало правительство его величества, предпринимая операции в Дарданеллах, было побудить нейтральные балканские государства примкнуть к союзникам. Правительство его величества надеется, что Россия не пощадит усилий, чтобы успокоить опасения Болгарии и Румынии, будто бы переход проливов и Константинополя в русские руки будет для них невыгоден. Правительство его величества надеется также, что Россия

сделает все возможное, чтобы сделать сотрудничество (с нами) этих двух государств для них привлекательным.

Сэр Эд. Грей указывает, что, очевидно, представится необходимость обсудить в целом вопрос о будущих интересах Франции и Великобритании в том, что теперь является Азиатской Турцией; формулируя свои пожелания относительно Оттоманской империи, правительство его величества будет совещаться с французским и с русским правительствами. Когда, однако же, станет известно, что по окончании войны Россия получает Константинополь, сэр Эд. Грей пожелает констатировать, что в процессе переговоров правительство его величества стипулировало, что святые места мусульман и Аравии останутся при всех обстоятельствах мусульманскими государствами.

Сэр Эд. Грей пока не может сделать никаких определенных предложений по поводу британских пожеланий; но одним из пунктов последних будет пересмотр персидской части англо-русского соглашения 1907 года в смысле признания британской сферой того, что является теперь сферой нейтральной.

Пока союзники не смогут дать балканским государствам, в особенности Болгарии и Румынии, удовлетворительных гарантий по отношению к территориям, смежным с их границами и присоединения которых они желают, и пока соглашения относительно французских и британских пожеланий по поводу окончательных условий мира не выяснятся более определенно, сэр Эд. Грей считает в высшей степени желательным, чтобы состоявшееся теперь соглашение между русским, французским и британским правительствами осталось в тайне».

Русского медведя соглашались пустить в Царьград, но только в клетке. Мы помним из записки Сазонова от 27 ноября 1913 года, что в Константинополе лежали двойного рода ключи. Об одних кричали направо и налево: то были «ключи от собственного дома», свобода русского хлебного вывоза. О других говорили друг другу шопотом на ушко: это были «ключи к господству над Балканским полуостровом и Малой Азией». Казалось, что от Константинополя оба сорта ключей неотделимы. Но англичане сумели произвести тонкую операцию их разделения. Вы желаете Константинополя и проливов? Извольте, но только Константинополь и только проливы. Балканский полуостров? Нет, там есть законные интересы Болгарии и Румынии, которые вы должны уважать. Малая Азия? Это мы еще посмотрим. А сколько придется заплатить за «посмотрим»?

А пока-что и за одну святую Софию пришлось отдать некоторые реальные ценности. «В уплату за утверждение планов России на Константинополь и проливы, британское

правительство требует от императорского правительства согласия на то, чтобы нейтральная зона Персии (т.-е. весь центр Ирана, включая область Испагани) была включена в английскую зону.

Сазонов тотчас отвечает Бьюкенену:

— Решено.

Вот и улажен в одну минуту этот вопрос о Персии, который в течение двух веков ссорил Англию с Россией»<sup>1</sup>.

У великой войны за свободу и цивилизацию была не только «богатейшая добыча», Константинополь, но были добычи второго и даже третьего сорта (для мелких союзников). Общей чертой всех «добыч» было то, что население их никто не спрашивал, согласно ли оно с планами «великих» держав на его счет. Никаким представителем Персии даже и чуть-чуть не пахнет во всех этих переговорах, а изменилась участь нескольких миллионов именно персов, державших строжайший нейтралитет. И это, нужно сказать, была единственная реальная перемена в результате всего шума. Во-первых, англичане даже и «ключи от собственного дома» постарались сделать возможно менее реальными. Читатель заметил, с какой тщательностью английский меморандум устраняет всякую мысль о возможности русской таможни в Дарданеллах. Не только политическое господство над Балканами и Малой Азией, но и экономическое удушение русских конкурентов на хлебном рынке, дунайских стран, было заранее исключено. Если к этому добавить, во-вторых, что и военное господство России в Дарданеллах было под большим сомнением, поскольку из островов, командующих над выходом из пролива, самый сильный, Лемнос, оставался вне русской зоны, — в нее входили только два, более близких, но менее важных острова, Имброс и Тенедос, так что возможность запереть пролив оставалась за той державой, в руках которой был Лемнос (тогда уже занятый англичанами), — то название «богатейшей добычи всей войны» начинало звучать довольно иронически. Не о таком Константинополе мечтали последние Романовы!

Неизвестно, сколько раз почесали бы в затылке Сазонов и Николай, раскусив истинную цену «величайшего доказательства» английской дружбы. Но мы уже видели, что роковым образом, без заранее обдуманного намерения, но с необычайной меткостью, на выручку русскому империализму всегда приходил германский. 18 марта при попытке прорвать Дарданеллы английский флот был разбит наголову. Штурм не удался, приходилось вести медленную

<sup>1</sup> Палеолог. Запись под 12 марта.

осаду (которую после бесчисленных жертв потом пришлось снять).

Ни одной бумаги во всей этой переписке Сазонов не подписывал, вероятно, с таким удовольствием, как новый «благодарственный» меморандум Англии 20 марта<sup>1</sup>. Фактически, это была только бумага. До Царьграда англичанам было так же далеко, как и русским. А вексель, хотя и с неопределенным сроком уплаты, все же был в кармане. Когда объективное соотношение сил на восточном театре войны станет благоприятным, его можно предъявить к уплате. А что объективное соотношение сил приведет русскую армию через шесть месяцев на берега не Босфора, а Западной Двины, — этого в марте 1915 года ни Николаю, ни Сазонову, разумеется, не могло притти в голову.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### 1

№ 11. 23 ноября 1913 г.

На подлинном собственной его императорского величества рукой начертано: «Согласен». Ливадия, 27 ноября 1913 г.

События на Балканском полуострове, создавшие неустойчивое и непрочное положение на всем юго-востоке Европы и в малоазиатской Турции, выдвигают перед министерством иностранных дел задачу определить наше собственное отношение к условиям новой политической обстановки.

Благодаря междоусобной войне между балканскими государствами, Турции удалось внести в ликвидацию кризиса некоторые поправки в свою пользу и получить границу, более благоприятную для защиты столицы и проливов против сухопутного натиска неприятеля. Таким образом, до известной степени уменьшилась непосредственная опасность внезапного захвата Константинополя болгарами, но в то же время усилилась опасность морского наступления со стороны Греции. С другой стороны, можно сказать, что военные поражения Турции в связи с расшатанным внутренним положением и печальным состоянием ее государственных финансов создали во всех европейских кабинетах убеждение в том, что на возрождение этого государства нельзя слишком полагаться, и что долговечность турецкого владычества подвержена серьезному сомнению.

В связи с таким настроением все великие державы без исключения учитывают уже теперь возможность окончательного распада Османской империи и задаются вопросом о заблаговременном обеспечении своих прав и интересов в различных областях Малой Азии,<sup>2</sup> чтобы создать и упрочить основания политических притязаний в будущем дележе Османской империи.

<sup>1</sup> См. приложение XIV.

<sup>2</sup> Этим объясняется усилившаяся деятельность Германии, Италии и даже Австрии, доселе не имевшей интересов в Малой Азии.

Правда, нельзя не оговориться, что окончательное крушение Турции возвещается на протяжении двух столетий. Но если государство это все еще обнаруживает известную живучесть, то нельзя не признать, что ряд поражений, в особенности те, которые испытаны Османской империей как-раз в период работы над ее военным возрождением, свидетельствуют о том, что для последнего нет ниццо необходимых данных. Если внешние условия сложатся для Турции благоприятно, она может еще долго влечить существование, обосновывая свою относительную безопасность на чужих раздорах и соревнованиях. Но против решительного удара извне Турция едва ли найдет в себе силы для его отражения. Между тем, хотя желание мира как-будто преобладает в настоящее время среди великих держав, поручиться за прочность общего политического положения в Европе не представляется возможным. Эта неуверенность усиливается нынешним неустойчивым положением на Балканском полуострове в результате Бухарестского мира.

Вышеуказанные условия, несомненно, создают для России крайне сложные и нелегкие задачи. В наши непосредственные интересы не входит преследование каких-либо земельных приращений. Все потребности нашего внутреннего развития ставят задачу поддержания мира на первое место. Не оставляя этой главной и первостепенной задачи, мы не можем, однако, закрывать глаза на опасность международного положения, устранение коих зависит не от нас одних. В связи с этим мы, так же, как и другие державы, не можем не задаваться мыслью о необходимости заблаговременного обеспечения своих прав и интересов, если бы события выдвинули перед нами обязанность их оградить вооруженной рукой.

Сомнение в прочности и долговечности Турции связано для нас с постановкой исторического вопроса о проливах и оценки всего значения их для нас с политической и экономической точек зрения.

Можно быть разных взглядов насчет того, следует или нет России стремиться к завладению проливами. Если мы поставим вопрос о потребных для сего жертвах и о ценности такого приобретения, то мы неизбежно натолкнемся на противоположение одних аргументов другим. На спорных базах нельзя обосновывать направление внешней политики в столь первостепенной важности вопросе. За последнее время вопрос о проливах осложнился новыми условиями, которые, с одной стороны, усиливали экономическое значение проливов для России, а с другой — осложнили политические и стратегические трудности на пути к возможному завладению ими. Вопрос так и остается открытым, и единственное заключение, к которому можно прийти в настоящее время, — это, что едва ли в России найдется ответственный политический деятель, который не признавал бы, что в случае изменения существующего положения Россия не может допустить разрешения вопроса вопреки своим интересам, иными словами, при известных условиях не может оставаться безучастной зрительницей событий.

Допустимо ли с точки зрения интересов России завладение проливами другим государством вместо Турции? Чтобы ответить на этот вопрос, следует предварительно оценить нынешнее положение—обладание проливами Турцией.

Сложный и трудный вопрос охраны проливов в настоящее время разрешается в сущности довольно удовлетворительно с точки зрения наших непосредственных интересов. Турция представляется не слишком сильным, но и не слишком слабым государством, неспособным угрожать нам и в то же время вынужденным считаться с более сильной Россией. Самые недочеты Османской империи, ее неспособность возродиться на правовых и культурных основах до сих пор служили нам на пользу, порождая то тяготение к православной



России подвластных полумесяцу народов, которое составляет одну из основ нашего международного положения на Востоке и в Европе.

Как бы то ни было, но раз долговечность Турции не обесечена, то нельзя не задаться вопросом о том, можем ли мы не готовиться к наступлению событий, которые в корне изменят положение Константинополя и проливов. Оставляя открытым вопрос о положительной ценности завладения и тем и другим, а также о потребных для сего жертвах, допустим ли для нас переход проливов в полновластное обладание другого государства?

Поставить этот вопрос—все равно, что ответить на него отрицательно. Проливы в руках сильного государства — это значит полное подчинение экономического развития всего юга России этому государству.

Согласно объяснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 год, торговый баланс России в 1912 году был на 100 миллионов менее в сравнении с средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи с этим весной последовало также повышение Государственным банком учета на  $\frac{1}{2}\%$  для трехмесячных векселей. Таким образом, временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни страны, лишней раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса. Если теперь осложнения Турции отражаются многомиллионными потерями для России, хотя нам удалось добиваться сокращения времени закрытия проливов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство, способное оказать сопротивление требованиям России? И для этого не нужно, чтобы государство, владеющее проливами, обладало само по себе силою великой державы. Оно неизбежно приобретает эту силу, обосновавшись на проливах, из-за исключительных географических условий. В самом деле, тот, кто завладеет проливами, получит в свои руки не только ключи морей Черного и Средиземного. Он будет иметь ключи для поступательного движения в Малую Азию и для гегемонии на Балканах. Вследствие этого государство, заменившее Турцию на берегах проливов, по всем вероятностям, будет стремиться пойти по дорогам, проторенным в былое время турками.

Выше указано было на недопустимость для нас такого рода чужого завладения проливами с экономической точки зрения. Но не представляется ли это столь же мало допустимым с точки зрения политической? Не создают ли указанные выше тенденции к гегемонии на Балканах и проникновению в Малую Азию неизбежность резкого антагонизма между всяким новым государством, которое стало бы на место Турции, и Россиею? Недопустимость для нас полновластного утверждения нового государства на проливах подала повод к предположению о возможности избежать такого положения созданием нейтрализации проливов, со срытием на них укреплений и запрещением возводить новые. Едва ли, однако, подобная комбинация может быть признана удовлетворительной. Всякая правовая норма действительно лишь в мирное время. Когда же наступает война, то для своего ограждения она требует силы. Ведь война может начаться внезапным захватом их неприятелем, и самое отсутствие укреплений будет только способствовать подобной операции, успех коей и в настоящее время зависит в значительной мере от быстроты и неожиданности. Поэтому, если бы даже были найдены какие-либо условия, при коих признавалась бы возможность нейтрализации проливов, указанные выше соображения сделали бы для нас необходимым

такое усиление наших военно-морских сил в Черном море, которое позволило бы нам в любую минуту предупредить занятие проливов всякою иною державою.

В первый период балканской войны, вместе с успехами Болгарии, одно время обрисовывалось стремление ее честолюбивых вождей к занятию Константинополя и утверждению гегемонии на Балканах. Непомерное честолюбие Болгарии сплотило против нее ее недавних союзников и Румынию и закончилось ее поражением. Но едва ли можно ожидать, чтобы Болгария помирилась с таким исходом. Не вероятнее ли, что она будет искать случая вернуть себе отнятое? Превжняя мечта о гегемонии и об утверждении на проливах может вновь возродиться. При изменчивости счастья и неспособности Турции воспринимать удары судьбы как уроки, никто не может определить дня и часа, когда Болгария вновь обрушится на своего соседа стремительным натиском, на который способности болгары и который может оказаться последним и роковым для Оттоманской империи.

Уже тридцать лет прошло с того времени, когда державною волею покойного императора Александра III возродился черноморский флот. Около 60 лет прошло со времени появления торгового пароходного движения на Черном море. Оба начинания связаны были с мыслью о мощи России, о возможном утверждении наших интересов на проливах. Сотни миллионов были истрачены на это дело, равно как и на содержание войск Одесского военного округа, призванного к совместным с нашим флотом операциям. Как известно, еще в 1895 году в связи с армянскими избиениями был поставлен вопрос о временном занятии Константинополя нашими войсками с ведома и согласия наиболее опасного из возможных в то время для нас соперников — Англии. От плана этого пришлось отказаться по недостатку транспортных средств и несовершенству сухопутной мобилизации.

С тех пор прошло 18 лет. Попрежнему тратятся многие сотни миллионов, и попрежнему мы ни на шаг не подвинулись к цели. Строятся военные суда, отпускаются ежегодные крупные субсидии на поддержание торгового мореходства. Между тем, когда заходит речь о желательности той или иной крупной десантной операции, правительство останавливается перед почти невозможностью ее осуществить.

В минувшем году, когда зашла речь о возможном движении наших войск на Константинополь, выяснилось, что в течение двух месяцев мы можем постепенно перевезти два корпуса, при чем приготовления по мобилизации транспортных судов и подвозу войск заняли бы столько времени, что операция не могла бы остаться ни для кого неожиданной. Иными словами, она просто оказывалась неосуществимой, не говоря о том, насколько не соответствовала самая численность такой десантной армии тем задачам, которые ей предстояло бы выполнить.

Впрочем, в настоящее время приходится говорить не только о возможности серьезных активных выступлений против Турции, но о недостаточности наших оборонительных средств против морской программы, которая может быть осуществлена в ближайшее время Турцией.

На основании данных, в разное время полученных министерством иностранных дел, приходится притти к заключению, что в период 1914—1916 годов турецкий военный флот будет иметь преобладание над нашим в Черном море по качеству своих судов и силе их артиллерии. Относящиеся к этому данные сгруппированы в прилагаемой у сего записке, в которой сделана попытка указать соотношение между нашими и турецкими морскими силами в ближайшие годы. Морскому ведомству принадлежит, конечно, проверка точности приведенных в этой записке данных, которые почерпнуты частью из све-

дений, сообщавшихся печатью, частью в свое время приводившихся в различных донесениях императорского посольства в Константинополе и, наконец, из сообщавшихся в разное время министерству иностранных дел предположений нашего морского ведомства.

Если даже в эти данные могли вкрасться какие-либо неточности, во всяком случае общее положение в ней, повидимому, соответствует действительности.

Едва ли нужно настаивать на том, насколько подобное проложение не может считаться допустимым. После громадных средств, израсходованных в течение ряда лет на создание мощной силы в бассейне Черного моря, Россия не может мириться с положением, при коем ее морское превосходство над Турцией может оказаться необеспеченным. Ежегодное ассигнование крупных государственных средств на дело обороны в бассейне Черного моря указывает на значение, которое придает ему правительство. Тем настоятельнее представляется необходимым пересмотреть новые условия, при коих нашим военноморским силам на Черном море должны быть предъявлены определенные задания и намечены мероприятия для их выполнения. Россия не может ни допустить в настоящее время морского превосходства Турции в Черном море, ни в будущем остаться безучастной к решению вопроса о проливах. Поручиться за то, что вопрос этот не будет поставлен в недалеком будущем, мы не можем.

Следовательно, государственная предусмотрительность требует от нас внимательной подготовки к выступлению, которое может потребоваться. Указанная подготовка не может не носить характера всесторонней планомерной программы с привлечением к работе различных ведомств. Предстоит выяснить: что может быть предпринято для усиления нашей военной и морской мощи на Черном море? Какие мероприятия потребуются со стороны военного и морского ведомств для ускорения мобилизации в связи с оборудованием новых путей сообщения и доведением наших транспортных средств до должных размеров? Какие задачи могут, в соответствии с этими средствами, быть намечены и в какое приблизительно время? Возможно или нет поставить в качестве задания нашей армии и флоту прорыв через проливы и занятие Константинополя, если бы этого потребовали обстоятельства?

Возвращаясь к упомянутой политической стороне подготовки, приходится вновь повторить, что скорое распадение Турции не может быть для нас желанным и что в пределах дипломатического воздействия должно сделать все возможное для отсрочки такой развязки.

Указанные вопросы ставят на очередь обсуждение следующих конкретных мероприятий: 1) По ускорению мобилизации достаточного численного десантного корпуса. 2) По оборудованию потребных для сего путей сообщения. 3) По приведению черноморского флота в положение, при коем он превосходил бы силы оттоманского флота и мог бы совместно с армией выполнить задачу прорыва через проливы для их временного или постоянного занятия, если это потребует. 4) По увеличению наших транспортных средств до размеров, отвечающих потребностям десантной операции. Этот последний вопрос тесно связан с ростом нашего хлебного вывоза из Черного моря, до селе, к сожалению, облуживаемого, главным образом, иностранными торговыми судами. Минувшею осенью невыгодность подобного положения весьма ярко сказалась, когда возник вопрос о пропуске через проливы греческих торговых судов с русским хлебом. Нашему посольству в Константинополе пришлось употребить немало усилий на то, чтобы добиться от Порты означенного пропуска, и происшедшая отсюда проволочка отразилась крайне тяжело на нашей хлебной торговле. Вопрос о мерах, кои могут быть приняты в целях обеспе-

читать за нашим торговым флотом преимущества над иностранными судами по вывозу русского хлеба, стоит в тесной связи с мероприятиями по оживлению общего нашего товарообмена через порты Черного моря; министерству торговли и промышленности принадлежит указать, что может быть сделано в этом направлении для осуществления той государственной задачи увеличения наших транспортных средств в Черном море, которой министерство иностранных дел не может не придавать весьма серьезного значения. 5) В ряду мероприятий по усилению средств обороны в бассейне Черного моря и на границах Турции нельзя не отнестись с особым вниманием к осуществлению так называемой перевальной железной дороги на Кавказе. Министерству иностранных дел приходится до сих пор напрягать значительные усилия, чтобы отсрочить по возможности постройку Турцией железных дорог в соседстве с нашею границею. На долю русской дипломатии выпадает неблагоприятная задача отстаивать концессии на бездорожье в то время, как все другие великие державы наперерыв предлагают Турции свои услуги по проведению и усовершенствованию путей сообщения. Естественно, что наши старания только возбуждают подозрительность Турции и заставляют с тем большим вниманием относиться к вопросу о неприятных для России путях сообщения. Поэтому надолго обеспечить бездорожье в прилегающих к нам областях Турции нам едва ли удастся. Между тем, как скоро будет удовлетворительно разрешен вопрос о наших путях сообщения на Кавказе и, в особенности, когда проведена будет перевальная железная дорога, которая даст возможность значительно ускорить сосредоточение наших войск на турецкой границе, — вопрос о смычке турецких железных дорог с нашими не только утратит опасную для нас сторону, но и будет вполне отвечать нашим интересам. В этом случае турецкие железные дороги станут гораздо более средством нашего проникновения в Турцию, чем орудиями турецкого нашествия на Кавказ. По отношению к Турции мы будем в положении того же превосходства путей сообщения, которым располагают наши западные соседи относительно России, с той разницей, что Турция не в состоянии восполнить свой пробел содержанием в мирное время многочисленной армии на нашей границе, как это делаем мы в наших западных губерниях.

Таковы главные вопросы, которые ставятся на очередь при обсуждении будущности Малой Азии и тех мер внутреннего порядка, кои вызываются заботою об охране интересов России. Само собою разумеется, что наши военное и морское ведомства в праве, в свою очередь, поставить министерству иностранных дел вопрос о том, что может быть сделано для создания наиболее благоприятной политической обстановки при наступлении событий, могущих потребовать от нас решительных действий.

Повторяя высказанное вначале пожелание о возможно более длительном поддержании *status quo*, приходится также снова повторить, что вопрос о проливах едва ли может выдвигаться иначе, как в обстановке общеевропейских осложнений. Последние, если можно судить по нынешним условиям, застали бы нас в союзе с Францией и возможно, но далеко не обеспеченном союзе с Англией, или же добровольно-желательном нейтралитете этой последней. На Балканах мы, в случае общеевропейских осложнений, могли бы рассчитывать на Сербию, а может быть, и на Румынию. Отсюда выясняется задача нашей дипломатии — создавать условия для возможно большего сближения с Румынией. Работа в этом направлении должна быть столь же постоянной, сколь и осторожной и чуждой излишних увлечений. Положение Румынии на Балканах во многом схоже с положением Италии в Европе. Обе державы страдают мегаломанией и, не имея достаточно сил, чтобы осуществлять открыто свои задачи, должны пробаиваться

политическим оппортунизмом, высматривая, где в данную минуту сила, чтобы быть на ее стороне.

В заблаговременном учете сил было бы столь же опасно заранее полагаться на такие колеблющиеся факторы, как было бы неблагоприятно вообще не считаться с ними.

В неустойчивости нынешнего положения на Балканах два фактора играют главную роль: первый из них — это Австро-Венгрия, в которой усилилось племенное брожение, вызванное успехами сербов и румын и отношением к этому их единоплеменников в пределах Габсбургской монархии; второй фактор — это невозможность для Болгарии примириться с тяжелыми последствиями Бухарестского договора.

Оба эти государства могут либо сплотиться в общей цели вновь перекрестить Балканы, либо оказаться в противоположных лагерях, если Болгария получит надежду иным путем вернуть себе Македонию. Как ни трудна задача снова сплотить Сербию с Болгарией, но только при условии союза каждая из них может ставить себе дальнейшие национальные идеалы. Находясь во вражде, оба государства будут сковываться взаимным бессилием. Наоборот, Сербия может осуществить широкий идеал объединения всего сербского народа только в том случае, если ей не будет противиться в том или даже помогать Болгария, взамен возврата утраченной Македонии. Но нет сомнения, что и то и другое может случиться лишь, если Россия в это время будет также вовлечена в разрешение своих исторических задач и будет с ними действовать, ибо, предоставленные самим себе, балканские государства неизбежно обречены на междоусобия, которые могут быть предотвращены только присутствием России, как руководящей активной силы.

О всех этих условиях приходится говорить не с точки зрения отвлеченных мечтаний или увлечений миссией России. Заглядывая вперед и отдавая себе отчет в том, что сохранение столь желанного для нас мира не всегда будет в наших руках, приходится ставить себе задачи не на один сегодняшний и завтрашний день, дабы не оправдать столь часто делаемого упрека в том, будто русский государственный корабль плывет по ветру и относится течением без твердого руля, направляющего его путь.

Сложные и ответственные вопросы, здесь затронутые, требуют всестороннего обсуждения для принятия тех или иных решений, с которыми могут быть сообразованы как внутренние наши мероприятия, так и дальнейшее направление нашей внешней политики.

Повергая на высочайшее благоволение изложенные выше соображения, приемлю смелость испросить всемилостивейшего разрешения вашего императорского величества подвергнуть их обсуждению Особого Совещания.

(Подпись) Сазонов.

## II

24.

Секретная телеграмма посла в Вашингтоне 29 августа (11 сентября 1914 года).

Повторение телеграммы № 117.

Германский посол был вчера у Брайана, но не у президента с своим предложением. Брайан тотчас же телеграфировал американскому послу в Берлине, прося подтверждения и подробностей. Так как это было сделано с согласия германского посла, то можно предположить, что инициатива в сущности шла из Берлина. Брайан также телеграфи-

ровал в Париж и Лондон и, вероятно, в Петроград. Из Парижа отвечено, что условия о мире не могут обсуждаться отдельно и что, конечно, в принципе было бы желательно прекратить войну, но это возможно только, если условия удовлетворительны и гарантии достаточны. Печать, повидимому, не посвящена в тайну разговора германского посла с Брайаном и только вскользь упомянула о нем, выражая предположение, что президент, уже предложивший свои дружеские услуги, не повторит их в настоящую минуту.

(Подпись) Бахметев.

## III

15.

408.

Секретная телеграмма посла в Риме, 29 августа/11 сентября 1914 г. № 118.

Французский посол дал мне конфиденциально прочесть телеграмму своего правительства, в которой сообщается, что германский посол в Вашингтоне заявил президенту С.-А. С. Ш. о готовности согласиться на посредничество президента Вильсона между Германией и остальными воюющими, так как теперь-де честь германского оружия спасена. Запрошенное по этому поводу французское правительство, которое не знает, хитрость ли это или признак усталости германских войск, сославшись на лондонское русско-англо-французское соглашение, отклонило предложение.

(Подпись) Крупенский.

## IV

15

4... 31

Télégramme secret de l'Ambassadeur à Londres le 6/19 Septembre 1914. № 494.

Personnel. Très confidentiel. Le Roi m'a dit ce matin qu'il se pourrait que Président Wilson soit tenté jouer très prématurément rôle de Roosevelt, qu'il ne redoutait pas intrigues maladroites de Bernstorff, mais que Dernbourg était plus habile et pouvait engendrer une campagne américaine pour paix. Le Roi m'a rappele la declaration de son gouvernement et paroles de son discours hier de prorogation Chambre. Il me répéta qu'il maintient plus que jamais son opinion qu'aucune paix n'est possible avant qui des événements décisifs permettent d'imposer une paix que assurerait l'ecrasement durable de l'hégémonie militaire de l'Allemagne. Roi m'a dit qu'opinion qu'il emettait vis-à-vis de son gouvernement pour le cas d'ouvertures indirectes américaines serait de les laisser sans reponse aucune en les ignorant tout-à-fait. Roi pense qu'il n'y a aucune nécessité pour les Gouvernements alliés de se consulter, que si les Gouvernements alliés entraient dans cette voie, ces pourparlers parviendraient à Berlin très rapidement et y seraient considérés comme symptômes d'irrésolution et de faiblesse. Le Roi m'a dit que très confidentiellement il avait voulu me mettre au courant de son opinion personnelle à ce sujet. Je remerciais Sa Majesté en l'assurant que j'avais l'intime conviction que l'Empereur partageait entièrement cette opinion. Le Roi termina entretien en me parlant situation militaire et m'exprima son admiration pour succès de nos armes. Il me dit que rôle d'Angleterre serait dans peu de mois de fournir à la France les ressources nécessaires et exprima espoir qu'Angleterre mettrait alors à la disposition des allies 500000 hommes au moins. Il me dit que plus que jamais la persévérance et la fermeté sont nécessaires, que le temps est pour les allies et que c'est la-dessus qu'il basait son opinion sur l'attitude absolument passive à opposer à toute tentative américaine pour la paix.

(Signe) Benkendorff.

Секретная телеграмма посла в Лондоне. 6/19 сентября 1914 г. № 494.

Лично. Совершенно конфиденциально. Сегодня утром король заявил мне, что возможна попытка со стороны президента Вильсона сыграть весьма преждевременно роль Рузвельта; что он не опасается неискусных интриг Бернсторфа; но что Дернбург может оказаться более ловким и породить американскую кампанию в пользу мира. Король напомнил мне декларацию его правительства и слова своей вчерашней речи в Палате Общин. Он повторил мне, что он более, чем когда-либо, убежден, что никакой мир не возможен, пока решающие события не позволят навязать Германии такой мир, который бы закрепил окончательно разгром ее военной гегемонии. Король мне сказал, что его мнение, вполне совпадающее с мнением его правительства, на случай косвенных попыток Америки, было бы — оставить американские предложения без всякого ответа, игнорируя их совершенно. Король думает, что союзным правительствам нет никакой надобности даже совещаться (на этот счет); если бы союзные правительства вошли между собою в переговоры, это очень быстро стало бы известно в Берлине и рассматривалось бы там как признак нерешительности и слабости. Король мне сказал, что он хотел совершенно конфиденциально сообщить мне его личное мнение по этому вопросу. Я поблагодарил его величество и уверил его, что я глубоко убежден, что царь всецело разделяет это его мнение. Король закончил беседу со мной, изложив мне военное положение и выразив свое восхищение успехами нашего оружия. Он мне сказал, что через немного месяцев роль Англии будет заключаться в снабжении Франции необходимыми ресурсами, и выразил надежду, что Англия предоставит тогда в распоряжение союзников минимум 500.000 человек. Он мне сказал, что выдержка и стойкость необходимы теперь более, чем когда-либо, что время работает в пользу союзников и что на этом-то покоится его убеждение в необходимости отнести самым пассивным образом ко всякой американской попытке поднять вопрос о мире.

(Подпись) Бенкендорф.

## V

Петроград, 7 сентября 1924 г.

В доверительной беседе с импер. послом в Лондоне король Георг V выразил убеждение, что союзникам нельзя заключить мира с Германией, пока не будет окончательно сломлено военное могущество последней, являвшееся постоянной угрозой для мирного развития остальных народов.

Повергая у сего на всемилостивое благовоззрение телеграмму графа Бенкендорфа с изложением взгляда короля на этот вопрос, приемлю смелость испрашивать высоч. указаний, не будет ли вашему импер. величеству благоугодно повелеть послу в Лондоне передать королю, что его слова встретили сочувственный отклик у вашего величества.

На подлинном его императорское величество собственноручно начертать соизволил: «Всецело разделяю каждую мысль короля. Прошу графа Бенкендорфа категорически заверить его величество, что, несмотря ни на какие препятствия или потери, Россия будет бороться с ее противниками до конца».

(Царское Село,  
7 сентября 1914 г.)

## VI

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ  
И КАНЦЕЛЯРИЯ.

Секретная телеграмма  
российскому предста-  
вителю в Лондоне.

Albus 494.

(Шифром С.).

Сообщается

в  
Отправлена 7 сен-  
тября 1914 г.  
№ 2775.

Ш.

Д.

Л.

Шифров. Репнин.

По поводу ее государю императору  
благоугодно было собственноручно на-  
чертать:

«Всецело разделяю каждую мысль ко-  
роля. Прошу графа Бенкендорфа кате-  
горически заверить его величество, что,  
несмотря ни на какие препятствия или  
потери, Россия будет бороться с ее  
противниками до конца».

Последние два слова его император-  
ским величеством подчеркнуты.

Сазонов.

1691 (кр. ч)..

1498 (ч. ч.).

## VII

Mr. Delcassée à Mr. Paléologue à Pe-  
trograde.

Bordeaux, le 24 Septembre, № 123.

(красн. каранда.)

## En chiffres.

Notre ambassadeur à Washington me fait savoir que l'Allemagne ne songe pas à la paix, mais continue en secret les pourparlers inofficiels avec le colonel House, un ami du président Wilson que ce dernier avait chargé l'an dernier d'une mission à Berlin pour la limitation des armements. Mr. House a dit à l'ambassadeur d'Angleterre qu'il serait utile que l'Angleterre fixât ses points de paix qu'il croyait être d'après les déclarations antérieures de l'Angleterre, satisfaction de la Belgique et des garanties contre le militarisme allemand. Il ajoutait que le c. Bernstorff serait prêt à causer avec l'ambassadeur anglais.

Sir C. Spring-Rice s'est contenté de répondre qu'une pareille entrevue ne pouvait se faire; que d'ailleurs les puissances de la Triple Entente ne concluraient pas de paix séparée.

Г. Делькассе г-ну Палеолог, послу в  
Петрограде, Бордо, 24 сентября, № 123.

Шифровано.

Наш посол в Вашингтоне, дал мне знать, что Германия не думает о мире, но секретно продолжает неофициальные переговоры с полковником Хаузом, другом президента Вильсона, на котором в прошлом году была возложена миссия вести в Берлине переговоры об ограничении вооружений. М-р Хауз сказал английскому послу, что хорошо было бы, если бы Англия определила свои условия мира, которые, судя по прежним заявлениям Англии, должны заключаться в удовлетворении Бельгии и в установлении гарантий против германского милитаризма. М-р Хауз сказал, что граф Бернсторф готов переговорить с английским послом.

Сэр К. Сприн-Райс ограничился ответом, что свидание его с немецким послом невозможно, и что державы Тройственного Согласия не станут заключать сепаратного мира.



1574. 1575. 1576

1388. 1389. 1390

## VIII

Mr. Paléologue à Mr. Delcassée à Bordeaux.

Pétrograde, le 14 Septembre 1914, № 603.

## En chiffres.

Secret.

Pour le ministre seul.

Pendant un entretien tout amical Mr. Sasonow a développé devant Sir G. Buchanan et moi ses idées non officielles sur la conduite que la Russie, l'Angleterre et la France devraient tenir si le succès actuel de leurs armées était couronné par une victoire décisive. «Nous devons,—nous a-t-il dit,—élaborer immédiatement un projet».

J'ai dit que selon moi les ministres des affaires étrangères de Russie, de France et d'Angleterre devraient encore se concerter entre eux trois pour fixer les bases générales de l'ordre nouveau à établir en Europe. Ils communiqueraient ces bases à leurs allies secondaires—Belgique, Serbie, Monténégro. Ils les notifieraient ensuite collectivement à l'Allemagne et à l'Autriche. Le projet n'établirait que les bases pour fixer les conditions de paix et résoudre les difficultés.

Mr. Sasonow a de son côté approuve cette manière de voir. Allant plus loin dans la voie des confidences Mr. Sasonow nous a communiqué à grands traits comment il conçoit les remaniements que les trois alliés auraient intérêt à opérer dans la carte et la constitution de l'Europe.

1. L'objet principal des trois allies serait de briser la puissance allemande et sa prétention de domination militaire et politique.

2. Les modifications territoriales doivent être déterminées par le principe des nationalités.

3. La Russie s'annexerait le cours inférieur du Nièman et la partie orientale de la Galicie. Elle annexerait au royaume de Pologne la Posnanie orientale, la Silesie  $\frac{1}{1}$  et la partie occidentale de la Galicie.

4. La France reprendrait l'Alsace-Lorraine en y ajoutant à sa guise une partie de la Prusse rhénane et du Palatinat.

5. La Belgique obtiendrait dans  $\frac{2}{2}$  un accroissement important de territoires.

6. Le Slewig-Holstein serait restitué au Danemark.

7. Le royaume de Hanovre serait restauré.

8. L'Autriche constituerait une monarchie tripartite, formée de l'empire d'Autriche, du royaume de Bohême et du royaume de Hongrie. L'empire d'Autriche comprendrait uniquement les «provinces héréditaires». Le royaume de Bohême comprendrait la Bohême actuelle et les Slovaques, la Moravie. Le royaume de Hongrie aurait à s'entendre avec la Roumanie au sujet de la Transylvanie.

9. La Serbie s'annexerait la Bosnie, la Herzégovine, la Dalmatie et le nord de l'Albanie.

10. La Bulgarie recevrait de la Serbie une compensation en Macédonie.

11. La Grèce s'annexerait le Sud de l'Albanie, à l'exception de Vallone, qui serait dévolue à l'Italie.

12. L'Angleterre, la France et le Japon se partageraient les colonies allemandes.

13. L'Allemagne et l'Autriche payeraient une contribution de guerre.

Mr. Sasonow nous a instamment priés, Sir G. Buchanan et moi, de n'attribuer aucune importance officielle «à cette esquisse d'un tableau dont la trame n'est pas encore tissée». Mais quelques mots qu'il m'a glissés à

<sup>1</sup> Одна не расшифрованная группа (слово)

part m'ont fait comprendre qu'il tient à nous mettre d'ores et déjà dans l'ordre de ses idées et qu'il attache plus de prix que jamais à être en étroit contact avec nous.

(Перевод см. выше, стр. 180).

1700. 1701. 1702.

1507. 1508. 1509.

## IX

Mr. Paléologue à Mr. Delcassé à Bordeaux.

Pétrograde, le 26 Septembre 1914.

### En chiffres.

Secret.

Pour le ministre seul.

Le ministre de l'agriculture Mr. Krivocheine—qui par son autorité personnelle et par la confiance dont il jouit auprès de l'Empereur, est le véritable président du conseil—est venu me voir hier pour m'exposer à titre privé ses vues sur les changements que les puissances de la Triple Entente devraient introduire dans l'ordre européen à l'issue de la guerre.

Je résume ci-après ses déclarations:

1. Les hostilités peuvent durer longtemps encore, mais il serait raisonnable d'admettre que pour des raisons étrangères à la stratégie elles puissent se terminer dans un délai plus court. Les gouvernements de la Triple Entente ne doivent pas se laisser surprendre par une demande de paix; ils ont intérêt à fixer sans trop tarder leurs intentions communes.

2. Sur les modifications à introduire dans la configuration de l'Europe Mr. Krivocheine n'avait fait que reproduire le programme prévu le 14 septembre par Mr. Sasonow.

3. Concernant les Détroits Mr. Krivocheine estime qu'ils doivent être libres; que les turcs doivent passer en Asie et que Constantinople doit devenir une ville neutre sous un régime analogue à celui de Tanger.

J'ai écouté Mr. Krivocheine sans formuler aucune opinion sauf sur la question de Constantinople. «C'est là—lui ai-je dit,—une question qui soulèvera de la part de l'Angleterre de fortes objections».

Mr. Krivocheine m'a demandé si j'avais quelques idées de vos intentions. Je lui ai répondu que je les ignore entièrement. A mon tour je lui ai demandé s'il avait eu l'occasion d'exposer ses idées à l'Empereur. «Oui, hier,—a-t-il repris,—mais je vous assure que ces idées me sont toutes personnelles».

Ce matin en présence de l'ambassadeur d'Angleterre j'ai rapporté à Mr. Sasonow mon entretien avec Mr. Krivocheine. Sir G. Buchanan s'est exprimé comme moi au sujet de Constantinople.

Mr. Sasonow nous a dit alors: «Sur le sort de Constantinople je ne suis pas entièrement d'accord avec Mr. Krivocheine, mais je pense comme lui que lors de la paix nous devons nous assurer une fois pour toutes le libre passage des Détroits».

D'un ton très ferme il a continué: «Les turcs doivent rester à Constantinople et aux environs. Quant à la liberté des Détroits elle nous doit être garantie et à trois conditions: 1, qu'aucune fortification ne puisse être érigée sur les flancs des Dardanelles, 2, qu'une commission assistée d'une force navale fasse la police dans les Dardanelles et la Mer de Marmara, 3, que la Russie ait à l'entrée intérieure du Bosphore—par exemple à Bouyoukderé—une station de charbon».

Cette question est pour nous d'un intérêt vital. Impossible de plus en différer la solution».

Sir G. Buchanan et moi avons eu l'impression qu'en nous parlant ainsi Mr. Sasonow ne nous confiait pas seulement un simple projet, mais une résolution.

## X

4348.

Albus 675.

Послу в Париже.

Мир.

(Ш. К.). Сюда также доходят слухи о возможной попытке Австрии заключить отдельный мир, но пока эти слухи еще весьма неопределенны, и их подтверждение представляется гадательным. Во всяком случае, почин подобных переговоров должен принадлежать Австрии, и нам необходимо будет выслушать ее предложения прежде, чем установить наши условия.

Сазонов.

Телеграмма отправлена

6 декабря 1914 года

за № 4348.

Набор производили Поляков и Багговут.

## XI

2612.

2398.

Mr. Dragoumis à Mr. Venizelos.  
Pétrograd, le 4 janvier 1915.

## En chiffres.

J'ai appris que le président du conseil s'était rendu au quartier général où se trouva aussi l'Empereur.

Le ministre de Serbie tient de l'état major que cette rencontre a eu pour but de discuter la question d'une paix séparée avec l'Autriche.

Les conditions du Gouvernement Russe seraient suivantes: la Galicie reviendrait à la Russie, la Bosnie à la Serbie, la Bohême recevrait l'autonomie.

D'autre part j'apprends que l'Allemagne et l'Autriche pour sauvegarder avant tout leurs propres territoires seraient disposées à reconnaître à la Russie le droit sur les Détroits. Le ministre de Serbie a reçu l'ordre de procéder à une démarche auprès du Gouvernement Russe en le priant de faire avancer ses troupes en Hongrie.

(Перевод см. выше, стр. 185).

## XII

25.

410. 403.

Секретная телеграмма посланника  
в Белграде 13/26 февраля 1915 г.  
№ 201.

Личная. Продолжение № 200.

Хотя вопрос о проливах выходит из нынешней моей компетенции, однако, важность минуты и многолетний опыт на... побуждает меня представить на ваше усмотрение следующие соображения. Захват Константинополя и проливов для наших союзников представляется вопросом средства в общем плане военных операций. Решая вопрос морских сообщений, оказывая сильнейшее воздействие на Болгарию и на Румынию, занятие проливов может, несомненно, весьма способствовать скорейшему одолению наших общих противников, что для французов и англичан является конечной целью не только военной, но и политической. Между тем, проливы для нас не только средство, но конечная цель, кою осмысливается вся нынешняя война и приносимые ей жертвы. Для меня борьба с Германией и Австрией и союз с Францией и Англией только средство для достижения этой народной цели. С этой точки зрения не может быть безразлично, мы или наши союзники завладеем проливами. Одно участие их с нами в (этом) деле является уже прискорбным, ибо создает им

опасные для нас права в конечном разрешении вопроса. Завладение же проливами без нас было бы прямо пагубно, и в этом случае Константинополь стал бы в будущем могилою нынешнего нашего союза. Между тем, не будучи посвящен в нынешнее положение, я все же сомневаюсь, возможно ли в настоящую минуту наше деятельное участие в занятии проливов. Если не ошибаюсь, с точки зрения военноморской форсирование Босфора при данном соотношении морских сил наших и турецких является операцией трудно осуществимой. Не менее трудно представляется возможность десантной операции, по недостаточности как перевозочных средств, так и свободных войск. Впрочем, в этом последнем отношении положение, вероятно, изменилось, ибо, если у нас найдется войска для посылки в Сербию, значит, найдутся и для разрешения нашей важнейшей задачи; ибо едва ли можно рисковать посылкой в Сербию войск худшего качества, которые считались бы неприемлемыми против турок. В этом случае, однако, казалось бы, что наши войска крайне нежелательно употреблять в качестве лишь диверсии, способствующей англо-французскому движению на Константинополь. Наоборот, мы сами легче произвели бы десант в свое время, как только турецкие войска будут оттянуты нашими союзниками. Это было бы только справедливо, — ибо на западном фронте мы уже достаточно послужили оттягиванием на себя сил. Относительно конечного разрешения вопроса категорически должен вновь высказать глубокое убеждение, что только полный и всецелый контроль наш над (обоими) проливами может быть признан действительным разрешением задачи, допущение же участия наших союзников в контроле над Дарданеллами, хотя бы под видом их нейтрализации, может послужить началом конца наших взаимных отношений и установить для нас (режим) менее обеспеченный, чем при слабых турках. Поэтому, если невозможно разрешить вопрос всецело в нашу пользу, то есть присуждением нам границы Мидия — Энос, то наименее плохим из последующих решений было бы оставление на проливах Турции с установлением нашего военноморского контроля на проливах. Это фактически привело бы Турцию к положению Бухары и в то же время оградило бы финансовые и экономические интересы союзников, не встречая, вероятно, непреодолимых препон в их общественном мнении. Во всяком случае, только исчерпывающий обмен мнений с ними теперь же способен предотвратить самые опасные осложнения в ближайшем будущем. — Все это позволяю себе высказать, исходя из предположения, что наши союзники решили довести дело до конца. В противном случае неудачная попытка десанта в Галлиполи может лишь укрепить нежелательное на строение нейтральных.

(Подпись) Трубецкой.

Arch. Fol.

20

XIII

Mémoire de l'Ambassade d'Angleterre à Pétersbourg. En date du 27 Février / 12 Mars 1915.

His Majesty's Ambassador has been instructed to make the following observations with reference to the Aide-Mémoire which this Embassy had the honour of addressing to the Imperial Government on February 27 / March 12, 1915.

The claim made by the Imperial Government in their Aide-Mémoire of February 19 / March 4, 1915 considerably exceeds the desiderata which were foreshadowed by Mr. Sazonov a few weeks ago. Before His Majesty's Government have had time to take into consideration what their own desiderata elsewhere would be in the final terms of peace, Russia is

asking for a definite promise that her wishes shall be satisfied with regard to what is in fact the richest prize of the entire war. Sir Edward Grey accordingly hopes that Mr. Sasonow will realize that it is not in the power of His Majesty's Government to give a greater proof of friendship than that which is afforded by the terms of the above mentioned Aide-Mémoire. That document involve a complete reversal of the traditional policy of His Majesty's Government and is in direct opposition to the opinions and sentiment at one time universally held in England and which have still by no means died out. Sir Edward Grey therefore trusts that the Imperial Government will recognize that the recent general assurances given to Mr. Sasonow have been most loyally and amply fulfilled. In presenting the Aide-Mémoire now, His Majesty's Government believe and hope that a lasting friendship between Russia and Great Britain will be assured as soon as the proposed settlement is realized.

From the British Aide-Mémoire it follows that the desiderata of His Majesty's Government, however important they may be to british interests in other parts of the world, will contain no condition which could impair Russia's control over the territories described in the Russian Aide-Mémoire of February 19 / March 4, 1915.

In view of the fact that Constantinople will always remain a trade entrepot for South-Eastern Europe and Asia Minor, His Majesty's Government will ask that Russia shall, when she comes in the possession of it, arrange for a free port for goods in transit to and from nonrussian territory. His Majesty's Government will also ask that there shall be commercial freedom for merchant ships passing through the straits, as Monsieur Sasonow has already promised.

Except in so far as the naval and military operations on which His Majesty's Government are now engaged in the Dardanelles may contribute to the common cause of the Allies, it is now clear that this operations, however successful, cannot be of any advantage to His Majesty's Government in the final terms of peace. Russia alone will, if the war is successful, gather the direct fruits of these operations. Russia should therefore, in the opinion of His Majesty's Government, not now put difficulties in the way of any power which man, on reasonable terms, offer to cooperate with the allies. The only power likely to participate in the operations in the straits is Greece. Admiral Garden has asked the Admiralty to send him more destroyers, but they have none so spare. The assistance of a greek flotilla, if it could have been secured, would thus have been of inestimable value to His Majesty's Government.

To induce the neutral Balkan states to join the allies is one of the main objects which His Majesty's Government had in view when they undertook the operations in the Dardanelles. His Majesty's Government hope that Russia will spare no pains to calm the apprehensions of Bulgaria and Roumania as to Russia's possession of the straits and Constantinople being to their disadvantage. His Majesty's Government also hope that Russia will do everytning in her power to render the cooperation of these two states an attractive prospect to them.

Sir E. Grey points out that it will obviously be necessary to take into consideration the whole question of the future interests of France and Great Britain in what is now Asiatic Turkey; and, in formulating the desiderata of His Majesty's Government with regard to the Ottoman Empire, he must consult the French as well as the Russian Government. As soon, however, as it becomes known that Russia is to have Constantinople at the conclusion of the war, Sir F. Grey will wish to state that, throughout the negotiations, His Majesty's Government have stipulated that the Musulman Holy Places and Arabia shall under all circumstances remain under independent musulman dominion.

Sir E. Grey is as yet unable to make any definitive proposal on any point of the british desiderata; but one of the points of the latter will be

the revision of the persian portion of the Anglo-Russian Agreement of 1907 so as to recognize the present neutral sphere as a british sphere.

Until the allies are in a position to give to the Balkan states, and especially to Bulgaria and Roumania, some satisfactory assurance as to their prospects and general position with regard to the territories contiguous to their frontiers to the possession of which they are known to aspire; and until a more advanced stage of the agreement as to the french and british desiderata in the final peace terms is reached, sir E. Grey points out that it is most desirable that the understanding now arrived at between the Russian, French and British Governments should remain secret.

(Перевод см. выше, стр. 191).

XIV<sup>1</sup>

Пол. Арх.  
14.

Копия.  
403 спец.

Секретная телеграмма министра  
иностраннх дел послу в Лондоне.  
7 марта 1915 года, № 1265.

Ссылаясь на меморандум здешнего великобританского посольства 12 марта, благоволите высказать Грею глубокую признательность императорского правительства за полное и окончательное согласие Великобритании на разрешение вопроса о проливах и Константинополе согласно желаниям России. Императорское правительство вполне оценивает чувства великобританского правительства и уверено, что искреннее признание обоюдных интересов обеспечит навсегда прочную дружбу между Россией и Великобританией. Дав уже обещания касательно условий торговли в проливах и Константинополе, императорское правительство не видит препятствий к подтверждению своего согласия на установление: 1) свободы транзита через Константинополь товаров, не следующих из России, не идущих в Россию, а также 2) свободы прохода через проливы коммерческих судов.

Дабы облегчить предпринятый союзниками прорыв через Дарданеллы, императорское правительство готово способствовать привлечению к этому делу, на разумных началах, тех из государств, содействие коих представляется полезным Великобритании и Франции.

Императорское правительство вполне разделяет мнение великобританского правительства, что священные мусульманские места должны и впредь оставаться под независимым мусульманским владением. Желательно выяснить теперь же, имеется ли в виду оставить местности эти под властью Турции, с сохранением за султаном звания халифа, или же предполагается создать новые самостоятельные государства, так как лишь в связи с тем или другим положением императорское правительство в состоянии будет формулировать свои пожелания. Со своей стороны императорское правительство считало бы весьма желательным отделение халифата от Турции. Свобода паломничества должна быть, конечно, вполне обеспечена.

Императорское правительство подтверждает свое согласие на включение в английскую сферу влияния нейтральной зоны Персии. При этом оно считает, однако, справедливым выговорить, чтобы районы городов Исфагани и Иезда, составляющие с последними одно неразрывное целое, были закреплены за Россиею в виду создавшихся там русских интересов.

Нейтральная зона ныне врезывается клином между русской и афганской границей и подходит к самой русской границе у Зульфара. Поэтому придется часть этого клина присоединить к русской сфере влияния.

<sup>1</sup> Этот документ также был уже напечатан в издании «Раздел Азиатской Турции».

Существенную важность представляет для императорского правительства вопрос о железнодорожном строительстве в нейтральной зоне, каковой потребует дальнейшего дружественного обсуждения.

Императорское правительство рассчитывает впредь на признание за ним полной свободы действий в отмежеванной ему сфере влияния, с предоставлением ему, в частности, права преимущественного развита в этой сфере его финансовых и экономических начинаний.

Наконец, императорское правительство считает желательным одновременное разрешение вопросов в сопредельном с Россией северном Афганистане в смысле высказанных на этот счет императорским министерством пожеланий в предшествовавших в минувшем году переговорах.

(Подпись) Сазонов.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### К СБОРНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА «ЦАРСКАЯ РОССИЯ В МИРОВОЙ ВОЙНЕ»

Издание печатаемых ниже документов подготовлялось к десятилетию разрыва императорской России с Турцией (в октябре 1914 года). «Турецкими» документами сборник и начинается. Целый ряд причин задержал издание, и оно выходит, с некоторым опозданием, к десятилетию вступления в войну Италии: перепискою по итальянским делам заканчивается этот том.

Лежащие в промежутке «болгарские» и «румынские» документы дорисовывают картину. В центре ее все время, от Турции до Италии, остаются Балканы. Об'ектом войны для Николая II и его дипломатов был Царьград: средоточие мира в мировой войне для России, но «богатеишая добыча всей войны» и для Англии. Перед царской дипломатией на пути к цели лежал целый ряд препятствий,—и ряд сложных комбинаций приходилось создавать, чтобы эти препятствия преодолеть. Первой из них, раньше других сорвавшейся, было изолирование Турции. «Проливы», защищаемые германской техникой, были неприступны—англичанам скоро пришлось в этом убедиться на опыте. Не пустить немцев в проливы, отрезать Турцию от Германии—было первоочередной задачей. Этого проще всего было достигнуть, втянув в войну Болгарию: болгарский заслон был бы ближайшим к центру действия и самым надежным.

Стратегически это было бесспорно. Но, прежде чем стратегия могла приступить к действию, приходилось разрешить ряд политических проблем, и тут далеко не все было просто. Оказалось, что Болгария, истерзанная и еще кровоточащая со времени экзекуции, произведенной над нею в 1913 году под руководством ее «освободительницы» России, помимо очень горького осадка от экзекуции, окончательно изгнавшей всякие сентиментальные воспоминания об «освобождении»<sup>1</sup>, может выступить только ради

<sup>1</sup> На вопрос одного руссофила лидеру одной из болгарских партий, ратовавшему за вступление Болгарии в войну на стороне Германии:



одного объекта: Македонии. Попытка подкупить болгар турецкой Фракией ни к чему не привела, кроме конфузных объяснений с турками, до сведения которых эта попытка сейчас же дошла<sup>1</sup>. «Македония занимает в умах и чувствах всех болгар совершенно исключительное место»,— телеграфировал русский посланник в Софии (26 окт. по ст. ст.). «С Фракией у болгар связаны слишком тяжелые воспоминания и, кроме того, они считают, что на эту территорию у них нет конкурентов; к Добрудже они относятся сравнительно холоднее, а Македония стала теперь для всех прямо неотступною мечтой»... «Болгары настолько дорожат Македонией, что я уверен, что если, с согласия и по почину Сербии, мы бы предложили открыто эту комбинацию, то ни одно правительство не устояло бы пред натиском общественного мнения. В виду остроты сербо-болгарских отношений, можно было бы позаботиться, чтобы две армии действовали в различных местностях и не были связаны общим командованием». Пикантность последней фразы читатель оценит и без нашего содействия. «Братья»-славяне на Балканах вели себя так, как и полагается братьям, делящим наследство (в данном случае турецкое). Сербы всеми десятью пальцами вцепились в «свое» и ни под каким видом не соглашались выпустить его из рук. Меньше недели спустя, тому же Савинскому приходилось телеграфировать: «Французский посланник сообщил мне полученную им из Бордо телеграмму с известием, что г. Спалайкович с таким же преступным шовинизмом, как сербский посланник в Афинах—телеграмма Демидова № 298,—объявляет о невозможности для Сербии никаких уступок и о том, что он пред-

---

«А что же вы будете делать с могилами 200.000 русских, пожертвовавших свою жизнь за освобождение Болгарии?» последовал ответ: «Будем с.... ходить на них». См. «Архив Русской Революции», т. XVI, стр. 157.

<sup>1</sup> 17/30 августа 1914 Гирс телеграфировал из Константинополя: «Считаю долгом предостеречь против каких бы то ни было обещаний Болгарии возможных награждений за счет Турции. Такие могли бы только вселить сомнения в искренности наших к ней отношений, в то время когда мы выступаем с обязательством уважать ее территориальную неприкосновенность. Джавид бей указывал французскому послу, что ему известно от турецкого посланника в Бухаресте, со слов Радева, будто бы мы предложили Болгарии, без ее содействия в нынешней войне,—возвращение ей турецких владений на север от линии Энос—Мидия. На вопрос же, кому будет принадлежать область на юг от сказанной линии, якобы получился ответ: конечно, России. Такие, приписываемые нам, отзывы могут только быть использованы немцами, как подтверждение возводимых ими же на нас обвинений, и, озлобляя турок, толкать их на разрыв с нами. По моему глубокоому убеждению, компенсации, которые мы можем предложить Болгарии, должны быть сначала установлены с ведома заинтересованных и основаны исключительно на нашем нравственном праве требовать их». Сравни его же телеграмму от 24 авг./6 сент.

почтет оставить всю Сербию австрийцам, чем уступить клочок Македонии болгарам. Эти, ослепленные своими мелочными побуждениями и счетами, люди не хотят видеть, что они играют в руку Австрии, которая не перестает работать здесь всеми силами в пользу выступления Болгарии в сторону Македонии. Работа эта скорее благодарна, и если бы она удалась, и если бы сербские квази-патриоты исполнили свой (пропуск), то план Австрии легко бы осуществился. Раздав Сербию, она заняла бы Македонию, временно предложив ее Болгарии; она купила бы этой ценой эту последнюю, а сама прошла бы к Салоникам и Константинополю».

Попытка англичан, со свойственным им духом компромисса, найти среднее решение, купив Болгарию куском Македонии, ровно ни к чему привести не могла<sup>1</sup>. Австрийцы, которые готовы были уступить Болгарии любую часть сербской территории, какая будет занята болгарскими войсками, имели в руках беспроигрышную игру, и уже в декабре 1914 г. у Тарновского (австрийского посланника в Софии) и Радослава (болгарского премьера) происходили такие разговоры. «Я сказал ему»,—телеграфировал в Вену Тарновский (копия телеграммы была выкрадена русским посольством, почему и попала в наши архивы),—«что положение серьезно, что как правительству, так и королю очень хорошо известно, что только при посредстве Империи они могут получить Македонию, что единственно составило бы действительно ценное приобретение для Болгарии; что министр-председатель должен отдать себе отчет в действительном положении вещей. Мы и Германия желаем, чтобы Болгария приступила к действиям, и не хотим никакого промедления. Министр-председатель всегда отговаривается тем, что Болгария еще не готова к войне, он, однако, не говорит, что как только она будет готова, то сейчас же выступит.

«Мой собеседник ответил на это, что Болгария хорошо знает, что занятие Македонии невозможно без военного выступления, поэтому они и готовятся к нему серьезно.

<sup>1</sup> Деша того же Савинского от 28 окт./10 ноября 1914: «Г. Панафье и я совершенно не понимаем, на чем могут быть основаны предложения Айронсайда. На основании самого тщательного исследования общего положения вещей в данное время, мы пришли к твердому убеждению, что линия Энос—Мидия не представляет в настоящий момент в глазах Болгарии того, что побудило бы ее идти против Турции; что касается линии Вардара, то надо было бы совершенно не понимать действительности, чтобы предположить, что она могла удовлетворить Болгарию, прекрасно знающую, что сами сербы, при всей их неуступчивости, все же признают, что линия эта должна отойти к Болгарии даже без оказания ей действительной помощи союзникам». Панафье — французский посланник в Софии; Айронсайд — английский.

«Я спросил, не вызывается ли то обстоятельство, что Болгария еще не вполне готова, недостатком снаряжения,— мой собеседник ответил, что, по его мнению, это, именно, так и есть, но добавил, что военный министр надеется быть в полной боевой готовности к 15-му. «Тогда Болгария тотчас же приступит к военным действиям»,—сказал я, и услышал в ответ, что этот вопрос будет разрешен правильно, сам же министр-председатель не может единолично определить срок. Я сказал, что это далеко не определенный ответ, собеседник же мой заметил, что он желает нашей победы и что, если бы он был убежден, что она зависит от болгарского выступления, то он тотчас же предпринял бы его; он убежден, однако, что положение от этого лишь ухудшится, так как Греция и Румыния тоже не останутся нейтральными. Между тем, если бы Болгария еще некоторое время сохранила спокойствие, а мы разбили бы Сербию, то ни Греция, ни Румыния тогда уже не стали бы на сторону Сербии, и здесь-то болгарское выступление могло бы оказать нам действительную помощь.

«Министр-председатель выразил надежду, что он все же получит от нас и от Германии письменное обещание, как он о том просил. Он обратился с тем же и к германскому посланнику».

Осторожная болгарская буржуазия требовала векселя—а пока его не было, дальше нейтралитета, явно дружественного центральным державам, не шла. Но и этот нейтралитет хитрые «предприемачи»<sup>1</sup> хотели оплатить за счет Антанты. Болгарский премьер телеграфировал своему посланнику в Лондоне: «Так как положение вещей все еще не выяснилось и результат неизвестен, прошу вас избегать вступать в переговоры. Воспользуйтесь авансами, которые вам делают, и продолжайте подчеркивать болгарский тезис строгого, но полезного для Тройственного (согласия) нейтралитета и требуйте за него Добруджу, Македонию с Каваллой и пр.»... «И поныне Болгария не желает ничего чужого, но за услуги, которые оказывает воюющим державам, соблюдая нейтралитет, она надеется вернуть утраченное и уверена, что Англия в границах справедливости отнесется с уважением к своим ноябрьским обещаниям и договору, столь энергично поддержанному ею в Лондоне. На эту тему вы можете говорить, когда представится случай подчеркнуть претензии Болгарии на компенсации за соблюдаемый ею нейтралитет».

Это было накануне вступления балканского вопроса в новую критическую зону, благодаря начавшемуся форсированию Дарданелл англо-французским флотом. Первая

<sup>1</sup> Предприниматели—болгарский термин для крупной буржуазии.

критическая зона, закончившаяся вступлением в войну Турции, прошла без участия Болгарии, к великому разочарованию русского правительства. На Болгарию, до появления русского десанта у берегов Босфора, по русским планам ложилась главная задача. Правда, вспоминая 1912 год, очень заботились о том, чтобы болгары не опередили русских<sup>1</sup>. Но все без болгар оперировать в европейской Турции было почти невозможно — на что-то русский десант должен был опереться. И, глядя на болгарский «нейтралитет», Сазонов не без раскаяния, быть может, вспоминал мудрый совет французов, которому он не последовал. Еще 11 августа, неделю спустя после начала войны, Извольский телеграфировал ему: «В разговоре со мною Думерг подтвердил соображения, высказанные господином Понсо советнику посольства, а именно, что Турция опасается, что мы воспользуемся обстоятельствами и возможною победою над Австрией и Германией, чтобы захватить Константинополь и проливы, и что было бы весьма желательно, чтобы мы успокоили ее на этот счет, например, предложивши ей гарантировать целостность ее владений. По мнению Думерга, это не мешало бы нам при ликвидации войны разрешить согласно нашим видам вопрос о проливах».

Думерг не знал, что Турция в эти дни предлагала больше, чем простой нейтралитет, что Энвер-паша предоставлял в распоряжение России турецкую армию — либо против Болгарии, либо против Австрии, как Россия найдет нужным<sup>2</sup>. Этот эпизод, один из наиболее сенсационных начала войны, уже был освещен в литературе<sup>3</sup>, и здесь на нем мы не останавливаемся. Но если Сазонов так решительно отклонил тогда предложение Энвера, то именно в расчете на немедленное выступление Болгарии. То, что это выступление не состоялось, расстроило весь русский план и, прежде всего другого, отдало Дарданеллы в руки немцев.

Их приходилось теперь выбивать, и по мере того, как этот момент приближался, Болгария вновь приобретала интерес, но уже не столько для России, сколько для ее союзников. В начале новой зоны и стоит поэтому визит в Софию герцога Гиз, одного из потомков Луи Филиппа,

<sup>1</sup> Телеграмма Сазонова посланнику в Бухаресте 3/16 дек. 1914 г. «С точки зрения выгод России, военное выступление Болгарии может быть наиболее полезным, если оно будет направлено против Турции. Оно будет, однако, своевременным только, когда русские войска высадятся на Балканском полуострове».

<sup>2</sup> Секр. депеша посла в Константинополе от 27 июля/9 августа.

<sup>3</sup> См. брошюру пишущего эти строки «Царская Россия и война» (169 стр. настоящего сборника) и «Раздел Азиатской Турции», изд. Нар. Ком. Ин. Дел. Полностью документы впервые опубликовываются в сборнике: Царская Россия в мировой войне.

посланного «всей орлеанской семьей» для увещания онемевшегося кузена (Фердинанд болгарский был сын принцессы Орлеанского дома). Это сочетание орлеанской династии и французской демократической республики, изгнавшей претендентов со своей территории, во всякое другое время доставило бы много веселых минут читателям социалистической и даже просто радикальной прессы; но я не помню, чтобы в те дни по этому поводу хотя бы слегка улыбнулся какой-нибудь не только что радикал, но хотя бы и социалист из официальной партии. Социалисты же не официальные, тож интернационалисты и пораженцы, располагали слишком малым количеством газетных столбцов, чтобы найти на них место герцогу Гиз. Германия не имела в своем распоряжении орлеанских принцев—она поступила проще, дав Болгарии заем в 150 миллионов франков. После этого царь Фердинанд заявил своему кузену, что «по зрелом обсуждении вопроса с компетентными лицами, он видит, что не может выступить против Турции»<sup>1</sup>.

После того как неофициальные дипломаты потерпели поражение, выпустили на сцену официальных, которые сразу заговорили с упрямыми решительным тоном. 25 марта Маджаров (болгарский посланник в Петербурге) телеграфировал царю Фердинанду (а русский телеграф перехватил) нижеследующее:

«Французский посол Палеолог, которого я видел вчера вечером, просил меня сообщить лично вашему величеству следующие его слова:

Нынче Болгарии представляется самый удобный момент для восстановления своего народного единства. Для форсирования Дарданелл потребуются самое большое 2 месяца, но, может-быть, это произойдет и ранее.

Если Болгария обявит, что выступит с Тройственным Согласием и назначит для этого определенный срок, то я гарантирую ей границы по линии Мидия—Энос, исполнение договора 1912 г., Петербургского протокола, Каваллу и все финансовые облегчения. Тройственное Согласие готово также обеспечить Болгарию от возможного выступления Румынии и Греции.

Для десанта в Турцию у нас достаточно войска: со стороны России—100.000, Англии—60.000 и Франции—50.000. Численность войск может быть увеличена, если Болгария не пожелает вмешаться в войну.

Я говорю вам об этом лишь как друг вашего царя и Болгарии, о которых храню самые лучшие воспоминания.

Ваше вмешательство необходимо ныне же, ибо впоследствии оно будет излишним.

<sup>1</sup> Депеша Савинского от 8/21 февраля 1915 г.

История предопределила вам блестящую роль, и от вас самих зависит выполнить ее или нет.

Хотя вопрос о будущем Константинополя еще не решен, но союз трех держав останется неизменным и после войны. Это будет могущественный фактор, и всякий, кто будет ему противиться... (пропуск) от безденежья.

После падения Венизелоса король Константин пригласил нашего посланника и заявил ему, что ни он, ни его страна не выступят с противниками Тройственного Соглашения, и что Греция будет держаться той же политики по отношению к Тройственному Соглашению, как и при Венизелосе.

Вот почему Болгария должна поспешить занять место, которое подобает ей, как самой жизнеспособной из балканских держав.

В заключение Палеолог сказал: «Подобное сообщение, быть может, сделает вам и Бьюкенен. В своем рапорте я донес вашему величеству, что и Сазонов сделал мне такое же заявление».

На минуту угроза подействовала: после этого в поведении Фердинанда «стала замечаться полная нерешительность» (Савинский, 1 апреля 1915), а Радославов был «смущен» (он же, 3 апреля), главным образом, тем, что македонские банды, не выдержав, сделали набег на обетованную македонскую территорию—юридически бывшую территорией Сербии. Но это же обстоятельство и выручило болгар. 14/27 апреля Сазонов должен был телеграфировать в Париж и в Лондон: «Сербский посланник сообщил мне от имени своего правительства, что оно решительно отказывается от даже обещанных им (!) земельных вознаграждений в пользу Болгарии, в виду враждебного ее поведения». После этого на превращение поведения Болгарии в дружественное приходилось оставить всякую надежду.

А, между тем, Болгария теперь была нужна уже не только Англии и Франции: артиллерийская фаланга Макензена уже начала действовать в Галиции, и русский фронт стал гнуться. 15/28 мая Сазонов телеграфировал в Рим (копии в Париж, Лондон и Софию): «Считаю весьма желательным, чтобы итальянскому посланнику в Софии было поручено поддержать заявление посланников Соглашения болгарскому правительству, имеющее целью вовлечь Болгарию в военные действия против Турции. Державы обещают за это Болгарии: Македонию в границах договора 1912 г., Фракию до линии Энос—Мидия; они обязываются также приложить старания к получению Каваллы от Греции и готовы содействовать, сверх того, в переговорах, которые Болгария и Румыния пожелали бы вести по вопросу о Добрудже. Текст заявления уже сообщен трем посланникам. В случае получения вашими французским и великобританским сотовари-

шами таковых же указаний, благоволите высказаться по содержанию этой телеграммы с министром иностранных дел».

Если бы все это предложили Болгарии в сентябре 1914 года, возможно, что она бы не устояла перед искушением. И на этот раз она довольно долго колебалась, и Радославов жаловался Савинскому «на трудность своего положения» (Савинский, 4 июня). Но фаланга Макензена неудержимо двигалась вперед, русские потеряли сначала Перемышль, потом Львов, и 28 июля Савинский телеграфировал: «За последнее время здесь замечается сильная перемена настроения, находящая себе выражение в политических разговорах и прессе, не исключая официальных органов. Под влиянием военных событий и нашего молчания, которое усиленно толкуется и здесь, и болгарскими представителями в четырех союзных столицах как указание, что на нас серьезно рассчитывать нельзя, на смену прежней альтернативы: нейтралитет или кооперация с нами, является другая альтернатива: кооперация с нами или косвенное выступление против нас путем захвата Македонии. Болгары видят, что оставаться нейтральными они дальше не могут, и окончание уборки урожая недель через шесть будет сигналом к принятию того или другого решения, так как они сознают, что им нужно думать о собственных интересах—политических и экономических, сопряженных с вывозом урожая. В данную минуту у болгар закрыты оба выхода—Дунай и Дедеагач, и все газеты и партии в один голос требуют прекращения этого экономического изолирования, особенно в виду обильного урожая в этом году. Военные меры для занятия Македонии уже приняты: три южные дивизии усилены составом, а на конец августа назначены на греко-сербской границе маневры».

Но тем временем и сербы сознали отчаянность своего положения—и непреклонный Пашич по собственной инициативе начал переговоры с Радославовым о Македонии (Савинский, 18 и 28 августа). Последний раз русская—на этот раз она была опять гораздо более русской, чем антантовской—чашка весов прыгнула кверху, и Сазонов телеграфировал Савинскому (21 августа): «Благоволите, воспользовавшись свободной минутой, заявить, совместно с вашими товарищами, Радославову, что, каковы бы ни были обстоятельства, державы принимают на себя ручательство в том, что Болгария получит по окончании войны Македонию по линии 1912 г., если она выступит против Турции в согласии с требованиями держав».

Но у Германии оказался свой принц, лучше французского, и 31 августа от Савинского шла телеграмма, разрушавшая последние надежды: «Из источников, близких к

Радославу, узнаю, что герцогу Мекленбург-Шверинскому поручено убедить короля и правительство примкнуть к германо-австрийскому союзу, выступив против Сербии. Высказанные им Радославу доводы следующие: разгром России уже начался, со дня на день ожидается занятие Вильны с угрозой Петрограду, разрабатывается план движения на Киев и занятия смежных с Румынией областей с целью отделить последнюю от России, дабы таким путем заставить ее пойти в союз с Германией. Аргументация герцога, по тем же источникам, произвела, будто бы, на Радослава очень сильное впечатление».

Германскому принцу помогли сербы. Уже чувствуя на горле железную руку противника, они все еще судорожно цеплялись за «свое». Уже Макензен был на Дунае, а Пашич все еще торговался о Македонии и «не находил возможным уступить (даже!) бесспорную зону по собственной инициативе» (Савинский, 25 сентября). Пришедший в отчаяние Савинский умолял своего коллегу в Нише убедить сербов, чтобы они уступили Македонию... лично Николаю II. А тот уж переуступит ее болгарам. Но последние уже объявили всеобщую мобилизацию, и Радослав заявил (в тот же день) Савинскому, что «Македония должна быть болгарской и что Болгария сама добудет бесспорную и спорную зону, если этого не хотят ей дать». 27 сентября посланники четверного (с Италией) согласия уже обсуждали проект ультиматума Болгарии по поводу объявленной ею мобилизации, а 2 октября Савинский передал Радославу, что «представитель России, связанной с Болгарией неувядаемой памятью ее освобождения от турецкого ига, не может оставаться в стране, в которой готовится братоубийственное нападение на союзный славянский народ. Императорский посланник получил предписание покинуть Болгарию со всем составом миссии и консульств, если в 24-часовой срок болгарское правительство не порвет открыто с врагами славянства и России и не примет мер к немедленному удалению из армии офицеров государств, воюющих с державами Согласия». Болгарское правительство ответило «торжественным заявлением», заканчивавшимся словами: «Угрожая покинуть Болгарию, если в 24-часовой срок болгарское правительство не порвет открыто сношения с противной России группой воюющих держав, императорский посланник призывает Болгарию выйти из нынешнего ее нейтралитета, следствие которого в пользу союзников России бесспорно. Нет сомнения, что, продолжая свою настоящую политику, Болгария совершенно не в силах воздействовать на отмену принятого императорским правительством решения. Ей остается с сокрушенным сердцем искренно пожалеть, что положенные до сих пор болгарским народом и правительством уси-



для к тесному единению с братской Россией рушатся ею не по ее почину и инициативе».

Это была война — и война именно с Россией. Помимо всего прочего, это было в лицо так тщательно создававшуюся иллюзию единого славянского фронта против немцев. Вот почему «Петроград», сказав «а», никак не хотел сказать «б», и Сазонов телеграфировал командиру черноморского флота: «Отзывая посланников, мы войны не объявляем. Военные действия, как-то: нападение на болгарские берега и суда, не должны начинаться нами. Это оттолкнуло бы от нас оппозицию страны. Разумеется, практически, если у болгарских территориальных вод будут встречены турецкие суда, то их следует топить, но ни под каким видом нельзя нам первым стрелять по болгарам. Нота послана пока лишь Россией, а не Согласием».

Как-никак, а надеяться оставалось теперь только на «единоверную» еще пока — слава богу! — но уже не «единокровную» Румынию.

Румыния была той страной, при помощи которой Россия Николая II эскутировала в 1913 г. Болгарию, посягнувшую, в лице царя Фердинанда, на исстари уготовленную российским императорам византийскую корону. На память о своей почетной миссии 1913 года Румыния получила от России болгарскую Добруджу. Этим надеялись сразу и приструнить Болгарию и разорвать де-факто, ежели не де-юре, военную конвенцию, которая связывала румын с Тройственным союзом, и срок которой истекал только в 1916 году. Для того, чтобы вяще приголубить Румынию, Николай ездил со специальным визитом к румынскому королю в Констанцу. Все это должно было обещать, что «враг свободы и цивилизации», немец, встретит в Румынии сразу же непримиримого противника, Антанта же — верного союзника, несмотря на германское происхождение румынской династии, носившей с Вильгельмом II даже одну фамилию Гогенцоллернов. На Румынию поэтому с самого начала возлагались надежды почти столь же прочные, как на Болгарию. Известие, что Румыния «будто бы склонна или к абсолютному нейтралитету или даже к общим действиям с Австрией», вызвало поэтому тревогу в Париже, и Извольский спешил переслать Сазонову мнение Пуанкаре, «что следует, не теряя времени, произвести воздействие на Румынию, обещав ей Трансильванию». Совет был запоздалым: уже за два дня до этой телеграммы (1 августа) Сазонов еще 30 июля (стало-быть, до объявления войны, в самый день всеобщей русской мобилизации) телеграфировал посланнику в Бухаресте, Поклевскому: «Весьма доверительно. — Если считаете возможным приступить к более конкретному определению выгод, на которые может рассчитывать Румыния в случае

участия в войне против Австрии, можете определенно заявить Братиано, что мы готовы поддержать присоединение к Румынии Трансильвании».

Но у «коварного» врага было средство воздействия и на Румынию — не менее действительное, чем на Болгарию, и, во всяком случае, более неприятное для России. 3 августа Поклевский доносил: «По имеющимся у меня достоверным сведениям, германская и австрийская дипломатия требуют от Румынии объявления нам войны под угрозой, что ее нейтралитет будет сочтен за враждебное отношение к Тройственному союзу. Последний дает также Румынии гарантии относительно Болгарии, предлагает Бессарабию и долину Тимока и уверяет в отсутствии наших войск в Бессарабии. Одновременно распускают слухи о неминуемости победы Тройственного союза и о заранее решенной перекройке карты Европы, что производит во всех кругах общества угнетающее впечатление».

В то же время Болгария предлагала Румынии «признать навсегда обладание ею Добруджей, взамен предоставления Болгарии полной свободы действий в настоящем кризисе» (Поклевский, 5 августа).

В отличие от буриданова осла, Румыния была не между двумя, а между тремя вязанками сена. Осел помер с голоду, Румыния же решила сохранить нейтралитет. Братиано (румынский премьер) спрашивал Поклевского, сочтет ли Россия сохранение Румынией нейтралитета за проявление к ней (России) дружбы? Поклевский, во избежание худшего, должен был ответить утвердительно, за что Братиано поблагодарил.

Далее, конечно, Румыния начала торговать своим нейтралитетом — чем же она хуже Болгарии, в самом деле? Уже 1 сентября Поклевский телеграфировал: «Некоторые здешние государственные люди уже начинают высказывать опасение насчет того, что нейтралитет Румынии недостаточно нами оценивается, и что нам следовало бы дать на этот счет какие-либо определенные обещания. У этих лиц и в некоторых органах печати проскальзывала даже надежда, что Россия отдаст Румынии за ее нейтралитет часть Бессарабии». Братиано намекал, что уже несоблюдение конвенции, заключенной с Австрией (об этом, конечно, можно было говорить лишь намеками — конвенция была секретная), есть «государственное преступление», и соглашался беседовать о дружественном по отношению к Антанте нейтралитете лишь при условии, что об этих беседах не будет известно ни королю, ни кому-либо в Румынии, ни даже французскому и английскому посланникам — последним, по крайней мере, до поры до времени.

Словом, румыны ломались и важничали нестерпимо, не поддаваясь при этом ни на какие самые заманчивые соблазны. Уже в течение первого месяца войны русские войска оккупировали часть Буковины, заселенной наполовину румынами, наполовину украинцами. Сазонов выступил с коварным предложением — уступить немедленно же румынский район оккупированной территории Румынии. Но ловушка была слишком проста — и Братиано, вновь поблагодарив (он был утонченно вежлив все время), предложение отклонил, резонно указав, что «немедленное его принятие равносильно объявлению Румынией войны Австрии» (Поклевский, 21 сентября). Сазонов очень сердился, что его так быстро и просто расшифровали, но ничего не добился, кроме дополнительной неприятности узнать, что Румынскую Буковину обещала Румынии и Австрия. Поди тут, обскочи!

В конце концов, пришлось заключить с румынами соглашение, обеспечивающее им по окончании войны присоединение румынских областей Австро-Венгрии, при гарантии сохранения за ними нерумынской Добруджи — в обмен на один лишь «благожелательный нейтралитет» (Поклевский, 3 октября), при чем пришлось еще объяснять, что под «благожелательным» нейтралитетом следует разуметь закрытие транзита через Румынию для денег и боевых припасов из Германии в Турцию (еще не воевавшую, но уже определенно союзницу центральных держав). Насчет военных припасов Братиано обещал «категорически», а насчет золота сказал: посмотрим; мне еще нужно с министром финансов переговорить.

Соглашение с Румынией было тем, что, по пословице, получают с лихой собаки; и не мудрено, что у Сазонова оно вызывало иногда пароксизмы истерики. 10 января 1915 года, например, он телеграфировал Поклевскому: «Я сказал сегодня Диаманди<sup>1</sup>, что поведение румынского правительства представляется весьма загадочным. Все надежды румын на осуществление национального идеала в Трансильвании основаны исключительно на нашей войне с Австрией. Между тем, с одной стороны, и в печати и даже в румынских военных кругах идет непрестанно речь о приготовлениях к выступлению против Австрии; с другой же стороны, до меня доходят заверения, что Румыния не решится объявить войну и что она вступает в какую-то лигу нейтральных государств, направленную против господства славянства на Балканах. Заключенное с Румынией соглашение обязывает Братиано быть с нами откровеннее, и мне было бы весьма ценно получить от него определенные объяснения касательно ближайших его намерений».

<sup>1</sup> Диаманди—румынский посланник в Петрограде.

Дело окончательно портилось, когда выяснилось, что Румыния отнюдь не согласна ограничить «осуществление своего национального идеала» полунемецкой Трансильванией и намерена распространить его на полуукраинскую Бессарабию — при чем последнее встречает явное сочувствие союзников Николая II в борьбе «за свободу и цивилизацию». 23 апреля 1915 года французский посланник в Бухаресте, Блондель, телеграфировал Делькассе: «Если Россия, аппетиты которой увеличиваются, так как она считает свою победу довольно близкой, останется непреклонной и не поймет, что, для того чтобы изгладить воспоминания 1878 г. и побудить Румынию к выступлению на стороне Тройственного Соглашения, что могло бы повлечь за собой всеобщее охлаждение всех нейтральных стран к Германии и Австрии, ей надлежало бы проявить больше миролюбия, — она совершит ошибку, которая будет важнее совершенной ею в сентябре прошлого года».

Известие о том, что Палеологу предписано поддерживать румынские национальные притязания во всем их объеме, вызвало уже совершенно яростную реплику русского министерства иностранных дел. Заменявший Сазонова Нератов телеграфировал в Париж: «С своей стороны, прошу вас сказать Делькассе, что, если, отступая от этнографического начала, Румыния будет настаивать на приобретении почти всей Буковины в ущерб русским интересам и всего Баната за счет сербов, то соглашение на такой почве может встретить непреодолимые затруднения. Поэтому я надеюсь, что союзные правительства не только не поддержат Румынии в указанном направлении, но дадут понять в Бухаресте, что, если там действительно желают договориться с нами, необходимо умерить свои ничем неоправданные вожделения».

Министерству иностранных дел вторили военные сферы. Николай «большой», великий князь, главнокомандующий, писал Нератову: «Не имея известий из министерства иностранных дел о том, что привез Диаманди, я, основываясь на частных сведениях, которые гласят о каких-то чрезмерных требованиях Румынии и ее кичливом тоне, считаю нужным высказать министру иностранных дел свой взгляд с военной точки зрения. Выступление Италии дает нам такой существенный плюс, что выступление Румынии получает второстепенное значение. Вследствие этого я считаю, что надо ей дать понять, что ее выступление может быть допущено, но что, очевидно, ее вожделения чрезмерны и совершенно неприемлемы».

В то же время румыны, приободренные сочувствием Франции — а позже, как мы увидим, и Англии, — разговаривали самым ультимативным тоном. «Братиано сегодня заявил здешнему французскому посланнику, что если мы

не согласимся дать Румынии линию Прута и Тиссы до Сегедина, то Румыния не примет участия в войне, и никакая сила в мире не заставит Братиано согласиться на активное выступление его отечества. Он прибавил, что, в случае принятия румынских требований, он готов обещать выступить около 15 мая старого стиля... «Братиано никаких признаков уступчивости не проявляет и третьего дня вновь повторил французскому посланнику, что Румыния не выступит, если ей не будут гарантированы просимые границы» (Поклевский, 4 и 13 мая). Это вызвало гневные реплики Сазонова, что о принятии румынских условий и «речи быть не может» (секретная депеша Поклевскому, от 5 мая), со ссылкой на то, что «с военной точки зрения верховный главнокомандующий уже не придает теперь румынскому выступлению прежнего значения».

Увы! Макензен и тут вел дело к переоценке всех ценностей. Уже 14 мая Сазонову приходилось признаваться, что «военное сотрудничество Румынии было бы несомненно встречено у нас с удовольствием», а 19 мая он вынужден был телеграфировать Извольскому: «Указывая на особенное значение выступления Румынии при сложившейся ныне обстановке в Галиции и на Карпатах, Палеолог просил меня принять подсказанное Делькассе примирительное решение, согласно которому Румыния получила бы Буковину по Серет и северо-восточную часть Торонтальского округа в Банате. Чтобы снять с себя перед союзниками всякую ответственность за возможный неуспех переговоров с Румынией, я согласился на это предложение на указанных в моей телеграмме Поклевскому условиях. Было бы желательно, однако, чтобы французы облегчили наше положение в Галиции усилением начатого ими наступления на их восточной границе».

Но Макензен, естественным образом, сделал и румын более осторожными, и 12 июня Братиано уже заявлял Поклевскому, «что он не может точно определить срок для объявления войны Австро-Венгрии, не посоветовавшись предварительно со здешними военными, и что, если ему и удастся определить такой срок, то он по необходимости должен быть максимальным в смысле отсрочки». Теперь уже и в штабе верховного главнокомандующего иначе относились к «чрезмерным требованиям» и «кичливому тону» Румынии. 20 июня Янушкевич (нач. главного штаба) телеграфировал: «Принимая во внимание настоящую военную обстановку, не могущую измениться к лучшему в близком будущем, считаю очень важным не отклонять предложений Братиано. Действительное военное выступление Румынии было бы, конечно, наиболее ценным сейчас же, но, так как это недостижимо, то можно, с военной точки зрения, прими-

риться и с ее выступлением через пять недель, ибо самый благоприятный момент для ее кооперации уже прошел. Теперь же самое важное не упустить момента для закрепления Румынии в нашем лагере, так как переход ее в лагерь противника, в случае возможного нашего отступления из Галиции, несомненен. Для достижения этого, по моему убеждению, мы можем принять все политические условия, поставленные Братиано». А через три дня Братиано уже выражал «глубокую радость по поводу предоставления Румынии Буковины по Прут с городом Черновцами» (Поклевский, 23 июня), т.-е. того именно, о чем 5 мая «и речи быть не могло».

Но дальше «глубокой радости» Братиано дело пока не шло, и румынской армии в поле, и даже близ поля битвы не замечалось. В Париже начинали от этого приходиться в глубокое отчаяние и винули Россию. Тут нельзя не привести целиком интереснейшей и независимо от румынского вопроса телеграммы Извольского от 29 июня: «Хотя в разговоре со мной Делькассе тщательно воздерживался от какой бы то ни было критики по нашему адресу или попытки повлиять на наше решение, я не мог не заметить, что затяжка наших переговоров с Румынией возбуждает в нем крайнее беспокойство.оборот, принятый военными событиями как в Галиции, так и на здешнем театре, вызывает здесь весьма нервное настроение. Начавшееся больше месяца тому назад наступательное движение французской армии, несмотря на упорный характер борьбы и на громадные потери, до сих пор увенчалось лишь частичными успехами, и здесь начинают сомневаться в возможности, путем фронтальной атаки, пробить германские линии и отбросить неприятеля за пределы Франции. Возникает опасение второй зимней кампании в траншеях или переброски сюда с восточного фронта крупных германских сил и массового наступления на Кале или на Париж. Спасения здесь продолжают ожидать от флангового движения Италии и Румынии, выступлению коих поэтому придается чрезвычайное значение. В правительственных кругах до сих пор не проявляется малодушия или усталости, но в общественном настроении уже наблюдаются некоторые тревожные симптомы, с которыми необходимо считаться. Вторая зимняя кампания в траншеях или неприятельское вторжение могут вызвать здесь припадок отчаяния и внутренние волнения. Хотя Делькассе и его товарищи открыто этого не высказывают, для меня ясно, что они разделяют мнение парламентских кругов, что при нынешних обстоятельствах военные соображения должны иметь решительное значение, и что поэтому содействие Румынии должно быть куплено какой бы то ни было ценой».

Сазонов мог ответить на это только воплем, что «для привлечения Румынии Россия решила согласиться на все требования румын в Буковине» — чего же еще от нее требуют... — и готов был ухватиться за полу даже итальянцев, о которых два месяца назад он говорил с полным пренебрежением: они почему-то должны были дать согласие на уступку Румынии сербского Баната. Но Братиано был не так прост, чтобы лезть под пушки Макензена даже и из-за Баната. И вся трагикомедия этого периода заканчивается телеграммой Сазонова «всем, всем, всем» (послам в Париже, Лондоне, Риме, посланнику в Бухаресте) от 14 июля: «Так как становится все яснее, что при нынешних обстоятельствах Румыния ни за какие уступки не согласится выступить против Австро-Венгрии в определенный срок, считаю предпочтительным, прежде чем сделать в Бухаресте предположенное заявление о согласии держав на уступку Баната, дружественно запросить Братиано, готов ли он вообще установить срок выступления Румынии, если все до сих пор выставленные им требования будут удовлетворены державами».

Такой исход дела вызвал у союзников взрыв негодования против России. Относящуюся сюда телеграмму Извольского опять нужно привести целиком, ибо она великолепно освещает всю подкладку ситуации. «Не могу скрыть от вас, что возбуждение против России, вследствие сомнения в нашей готовности участвовать в военных действиях на Балканах, с каждым днем усиливается в здешних парламентских, газетных и даже правительственных кругах. С одной стороны, нас выставляют главными виновниками создавшегося на Балканах положения, вызванного, будто бы, нашей несговорчивостью по отношению к Румынии и систематическим пристрастием к Болгарии. С другой — указывают, что отсутствие наших войск не только нанесло бы удар союзному престижу и историческому положению России среди балканских народов, но поставило бы и Францию и Англию в самое невыгодное и опасное положение, внушив против них сказанным народам сомнение в единении союзников. Открывающемуся на Балканах новому фазису великой войны здесь придают громадное значение и считают, что открытие австро-германцами пути в Константинополь, помимо того, что оно прекратит доступ к России, даст Австрии и Германии возможность получать в неограниченном количестве из Малой Азии продукты и людей. Поэтому общественное мнение громко требует, чтобы этому новому напору были противопоставлены соединенные усилия всех четырех союзных держав; в противном случае возникает вопрос, может ли Франция, без уверенности быть поддержанной на Балканах, рисковать ослабить свои силы на

главном своем фронте. Указывают на то, что Россия должна получить после войны за счет Турции наибольшие выгоды, и что, если она не будет участвовать в общем... (пропуск), Франция и Англия должны будут пересмотреть свои решения касательно Константинополя и проливов. Статья в этом смысле появилась в столь серьезном органе, как «Журнал де деба». Сегодня некоторые влиятельные газеты опять высказывают, что, ради спасения положения и привлечения Румынии, Россия должна пожертвовать частью Бессарабии. Все это создает здесь крайне для нас неблагоприятную атмосферу и может серьезно отразиться на наших отношениях с Францией. Между прочим, на этой почве происходит ожесточенная кампания против Делькассе и Палеолога, могущая кончиться их увольнением» (секретная телеграмма посла в Париже, 12 октября 1915 г.).

Используя болгарский заслон, Россия желала остаться с глазу на глаз с Турцией, но союзники отнюдь не желали такого tête-à-tête. Для того, чтобы пред'явить России при заключении мира условия насчет «проливов», им нужно было вовлечь в борьбу одну из держав, имеющих, наравне с Россией, в этих «проливах» интересы: такой державой и была Румыния. Что вовлечение последней в войну, при постановке вопроса о Бессарабии, с точки зрения реальных интересов русской политики, было невыгодно—а при незначительности военной поддержки, которую могла оказать Румыния, игра не стоила свеч,—это Антанту трогало всего меньше. В телеграмме Извольского—ключ к действительному смыслу мартовского соглашения о Константинополе. Царьград давали Николаю не ради его прекрасных глаз, а за реальную поддержку французского и английского империализма против германского; а ежели ты этой поддержке оказать не можешь, сам нуждаешься в поддержке, не только не дадут тебе проливов, но ты давай Бессарабию. Весь безграничный цинизм империалистских нравов только в одном месте еще нашел себе столь же яркое выражение, как в этой телеграмме Извольского: в знаменитой фразе Ллойд-Джоржа, что он будет держаться до последнего русского солдата.

Но на Румынию уже не действовали ни французская истерика, ни вполне реальные взятки англичан, покупавших у Румынии пшеницу, которой они не могли вывезти, лишь бы она не продала ее Германии, и передавших Румынии к началу 1916 г. 12 миллионов фунтов стерлингов. Все это нисколько не помешало румынам сохранять нейтралитет и заключить торговое соглашение также и с Германией. Поклевский был совершенно прав, когда он связывал выступление Румынии (в своем письме Сазонову от 2/15 ноября 1915 г.) с «пополнением сил, вооружения и боевых припа-



сов» в русской армии и с «тем моментом, когда последняя окажется вновь в состоянии перейти в наступление».

Удачное наступление Брусилова весной 1916 года, у самых границ Румынии, и растопило окончательно румынский лед. Правда, теперь со стратегической точки зрения румыны опять были не очень нужны; как и до мая 1915 г., новый начальник штаба, Алексеев, находил всякие придирки к проекту военной конвенции с Румынией (депеша Б а з и л и, из ставки, 28 июля), и Извольскому снова пришлось еще раз вернуться к своей роли толкача. 1 августа 1916 г. он телеграфировал Сазонову: «Я мог удостовериться, что французское правительство крайне обеспокоено оборотом переговоров в Бухаресте и считает, что мы проявляем излишнюю неуступчивость по указанным в моей телеграмме № 545 двум пунктам, которым не придают здесь большого практического значения. Здесь убеждены, что выступление Румынии сократит войну на несколько месяцев, и окончательный неуспех сказанных переговоров произведет крайне тяжелое впечатление на французское общественное мнение, которое не преминет возложить ответственность за него на нас». Но на этот раз сама Румыния считала момент максимально благоприятным: теперь или никогда. И наша серия документов кончается следующей телеграммой от 15/28 августа из ставки: «Начальник штаба Одесского военного округа телеграфирует от сего числа: По сведениям пограничной стражи, в 10 часов 30 минут 15 августа в Румынии объявлена общая мобилизация».

О Бессарабии на этот раз речи не поднималось...

Если Болгария — в виду ее крайней слабости после кровопускания 1913 г. — представлялась правительству Николая II самым желательным союзником на Балканах, Румыния, в силу ее бессарабских аспираций, уже гораздо менее желательным — а в силу ее удаленности от Босфора менее нужной, — то Италия, в проливах усиливавшая фронт «морских держав», а на Адриатике выступавшая весьма неприятным конкурентом Сербии, шла в числе союзников третьим сортом. Ее выступлению, до разгрома русской армии в Галиции, приписывалось чисто «нравственное» значение (депеша Сазонова, 4 апреля). Только разгром Николая Николаевича Романова в Галиции заставил на минуту считаться и с итальянцами, как с реальной силой, но как скоро их реальность оказалась слабоватой, вернулись к прежнему отношению. С точки зрения империалистского «быта» итальянские документы принадлежат, пожалуй, к самым красочным. Началось, конечно, с самого наглого запроса. 11 сентября Поклевский телеграфировал из Бухареста: «С самого начала войны здешний итальянский посланник высказывал в разговорах со мной сожаление о том, что Франция не делает

Италии достаточно заманчивых предложений, дабы добиться ее вооруженного содействия. Он вместе с тем опасался, что военные успехи Германии могут сделать в будущем заключение подобного соглашения затруднительным. В настоящую минуту Фашиотти следующим образом резюмирует точку зрения Италии. Он считает, что только возбуждение вопроса о завершении национального объединения Италии может побудить ее к вооруженному выступлению против Германии и Австрии, а именно, что Франции следовало бы уступить и графство Ниццу по реке Вар, и остров Корсику и Италии же должно быть обещано присоединение Адриатического побережья до Истрии включительно. При этом Корсика могла бы быть впоследствии обменена на часть Туниса, за исключением Бизерты. Итальянский посланник так же, как и я, считает более чем вероятным, что Румыния не замедлит вслед за Италией выступить активно на нашей стороне. Братиано просил его на-днях предупредить румынское правительство, хотя бы за 48 часов до того, как Италия решит объявить войну Германии и Австрии. Позволяю себе донести о вышеизложенном, в виду особого доверия, которое итальянское правительство всегда оказывало своему здешнему посланнику. Последний, повидимому, тоже желал, чтобы я передал вашему высокопревосходительству сообщенные им мне сведения, и лично просил, в случае дальнейших переговоров, никак не упоминать его имени.

Но поскольку первый шквал прошел, Антанта не повалилась, дело обошлось и без уступки Корсики и Туниса за дружеские услуги Италии, тон по отношению к ней очень поднялся, особенно со стороны России. Образчиком может служить циркуляр Сазонова от 9 марта. «В виду того, что английское и французское правительства придают, повидимому, значение сотрудничеству Италии, г. Сазонов не имеет намерения ставить этому какие-либо препятствия. Он полагает, однако, что преимущества, которые союзные державы могли бы предоставить Италии за это, должны были бы находиться в соответствии с тем, насколько они выиграют в военном и политическом отношении от выступления Италии. В этом смысле было бы полезно пересмотреть предложения, которые державы готовы были сделать Италии шесть месяцев тому назад. Для того, чтобы согласовать их с настоящим положением, г. Сазонов считает необходимым, чтобы инициатива переговоров с Италией по этому поводу была предоставлена ей самой, и полагает, что Италия могла бы быть допущена к совместным с державами действиям против Турции только при условии одновременного деятельного участия в войне против Австро-Венгрии».

Это «допущение» Италии к войне бесподобно, разумеется; но сама Италия в эту минуту готова была смотреть

на себя не иначе. «Здесьшний итальянский посланник постоянно спрашивает меня, почему державы Тройственного Соглашения не начинают переговоров с Италией. Мой коллега сказал мне сегодня, что его правительство начинает думать, что мы хотим исключить Италию от участия в разделе турецкого наследства», опять телеграфировал из Бухареста Поклевский. Но в Петербурге готовы были к жертвам ради Италии еще меньше, чем ради Румынии. Сазонов телеграфировал 25 марта в Лондон Бенкендорфу: «Грей, вероятно, ознакомил вас с ходом своих переговоров с итальянским послом и с теми соображениями, которые он высказал в телеграмме Бьюкенену в пользу новых уступок с нашей стороны Италии. На мой взгляд, при всей желательности побудить последнюю к скорейшему выступлению против Австрии, наша уступчивость должна иметь известный предел. Мы уже согласились на весьма крупные приобретения Италии, едва ли соразмерные с ее боевым значением. Окончательное же принесение в жертву итальянским притязаниям Сербии и Черногории не может быть оправдано. При ведении нами переговоров с римским кабинетом не следует забывать, что для Италии не менее важно, чем для нас, достигнуть соглашения, ибо только этим путем она может рассчитывать получить, при сравнительно небольшом напряжении военной силы, крупные приобретения как за счет Австрии, так и в Турции. В Риме должны сознавать, что, при неудачном исходе лондонских переговоров, Италии придется отказаться не только от Триеста, Далмации и Адальи, но, вероятно, даже и от Трентино, так как, если Германия и Австрия узнают, что соглашение с союзниками не состоялось, они едва ли сочтут нужным пойти на земельные уступки в пользу Италии для удержания ее от вмешательства в войну. Допустить же возможность перехода Италии на сторону австро-германцев при известном настроении итальянского народа и в виду явной, в таком случае, несбыточности мечтаний о господстве на Адриатике — представляется немислимым. Сообщается в Париж. Сазонов. На подлиннике царская пометка: «Хорошо». Царское село».

Николаю это понравилось.

Чтобы гордые покорители Перемышля удостоили своим вниманием несчастных итальянцев, нужен был нажим со стороны «дорогих союзников»: им, наоборот, Италия была очень нужна, по тем же, приблизительно, мотивам, как и Румыния. «Уступая настойчивым просьбам Грея», — телеграфировал Сазонов Бенкендорфу 31 марта 1915 г., — «я согласился на новые, на этот раз последние (!) уступки Италии...». Но если Сазонов еще поддавался на просьбы Грея, то Николая пришлось уламывать самому Пуанкаре. «Дорогой и высокий друг», — писал царю президент французской

республики, — «Да будет мне дозволено вашим величеством высказать ему, сколь опасным мне представляется замедление в присоединении союзников к итальянскому меморандуму.

«Генерал Жоффр, так же как и его императорское высочество великий князь Николай Николаевич, желает, чтобы выступление Италии произошло возможно скорее, но единственный способ ускорить дело — это немедленно подписать соглашение. До тех пор, пока оно не будет подписано, можно опасаться, как бы переговоры не были неожиданно прерваны в силу каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Приняв же на себя обязательство подписанием соглашения, Италия, напротив, была бы уже вынуждена приступить к действиям, как только она получила бы материальную возможность это сделать, и мы постараемся подвинуть ее на это решение. Отсрочка, которую она просит, могла бы быть сокращена, поскольку она действительно будет нашим союзником, но тогда мы будем иметь уверенность и основания полагать, что она просит ее не для того, чтобы уклониться от действий, что ей действительно необходимо сделать некоторые предварительные приготовления, и что, отказывая ей в предоставлении небольшой отсрочки, мы рисковали бы тем, что она осталась бы в нейтралитете. Пусть она лучше присоединится позднее, чем не присоединится никогда».

Самым комичным пассажем из всего является телеграмма Сазонова в ставку 6 апреля: «По всеподданнейшем докладе моем государю императору соображений вашего императорского высочества в связи с общим положением, его императорскому величеству благоугодно было повелеть мне уведомить великобританское правительство о согласии нашем на предложение Делькассе уступить Италии спорные острова, продолжая настаивать на присуждении Сабиончелло Сербии. В случае же, если не удастся достигнуть соглашения на этой почве, государь император соизволил уполномочить меня сделать еще крайнюю уступку, согласившись на отдачу и Сабиончелло Италии под условием его нейтрализации и обязательства Италии выступить против Австрии не позже конца апреля нового стиля».

Были ли уже в столь великодушно «уступленном» Сабиончелло земские начальники, история умалчивает...

У переговоров с Италией была, конечно, большая и серьезная сторона — дележка Турции. Но так как эта тема хронологически выводит за пределы нашего сборника, то ее я здесь не касаюсь.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К «СОЛДАТСКИМ ПИСЬМАМ»

«Самым крупным, самым ярким проявлением мелкобуржуазной волны, захлестнувшей «почти все», надо признать революционное оборончество», — писал Ленин в апреле 1917 года. «Именно оно злейший враг дальнейшего движения и успеха русской революции»... «Лозунг «долой войну» верен, конечно, но он не учитывает своеобразия задач момента, необходимости иначе подойти к широкой массе. Он похож, по-моему, на лозунг «долой царя», с которым неумелый агитатор «доброе старое время» шел просто и прямо в деревню и получал побои. Массовые представители революционного оборончества добросовестны не в личном смысле, а в классовом, т. е. они принадлежат к таким классам (рабочие и беднейшие крестьяне), которые действительно от аннексий и от удушения чужих народов не выигрывают».

Мы теперь знаем, что лозунг «долой царя» звучал кое-где в русской деревне 1905 года независимо от каких-либо агитаторов, звучал устами самих крестьян, особенно там, где крестьяне были «удельные», некогда принадлежали царской фамилии, где, значит, царь и помещик сливались в одном лице. Тысячу раз прав был Ленин, что соваться в каждую деревню с лозунгом «долой царя» значило в девяти случаях на десять получить побои. Но десять тысяч раз неправы были кадеты, сладко певшие о «стихийном монархизме» крестьянской массы. На самом деле 99% этой массы просто относились к этому вопросу совершенно бессознательно, а один процент, начавший самоопределяться в политическом отношении, самоопределялся в антимонархическом направлении. Надо было терпеливо и медленно помогать этому самоопределению, «раз'яснять и раз'яснять», — и успех был несомненен, «не очень быстрый, но верный и прочный»<sup>1</sup>.

Было ли то же с «добросовестным оборончеством»? Было ли это подлинное массовое стихийное настроение или же массы только пассивно усваивали бросаемые сверху лозунги, пока они, массы, просто еще ни в чем не разбирались, а как только начинали разбираться, переставали быть

<sup>1</sup> Ленин, т. XIV, ч. 1-я, стр. 45.

оборонцами? У нас для ответа на этот вопрос есть материал, подлинный не менее, а даже более, чем те губернаторские и жандармские донесения, по которым мы могли составить себе близкое к истине представление о настоящем настроении крестьянских масс в 1905 г. Это, во-первых, наблюдение над массовыми настроениями армий царской охранки и ее секретные донесения кому следовало. Документ, совершенно аналогичный губернаторским и жандармским донесениям 1905 года. И там и тут из чисто деловых соображений не только незачем было, но и невозможно было скрывать истину. Если бы охранники стали просто повторять ту «патриотическую» чепуху, которая печаталась в газетах, их бы прогнали к чорту, как никуда негодных информаторов.

Но по отношению к солдатской массе 1917 года у нас есть нечто еще лучшее. Все письма с фронта аккуратно читались военной цензурой, и она представляла по начальству обстоятельные сводки обо всем, что она в этих письмах находила интересного. Правда, тут приходится сделать две оговорки: во-первых, военное начальство—а цензура была ему подчинена—не в пример охранке имело весь интерес представить настроение на фронте в благоприятном свете; стремление показать, что «все обстоит благополучно» весьма явственно сквозит во всех цензорских сводках. Но тем ценнее то, что даже в них прорывалось. Во-вторых, прекрасно зная о цензуре, солдаты, конечно, в письмах, как общее правило, не откровенничали. Этого не могли не понимать и сами цензоры. «Сравнительная бесцветность корреспонденции,—замечает одна из сводок,—отчасти (!) объясняется наличием цензуры, и наиболее верно отражающая истинный характер настроения переписка происходит помимо цензуры». Но это лишнее доказательство того, как ценны те немногие образчики неказенных настроений, что попадались даже в просмотренной цензурой переписке. Эти настроения отразились в последней не больше, чем в одном проценте, если даже еще не в меньшей доле. Словом, это лишь маленький уголок истины, но самой истинной истины, более подлинной, чем все донесения «наблюдателей» из департамента полиции. Этот последний уже в октябре 1916 г. мог констатировать полное отсутствие на фронте казенного благополучия. К этому времени относится доклад петербургской охранки, напечатанный недавно в «Красном Архиве». «В армии настроение стало очень и очень беспокойным, если не сказать революционным» — говорится там. «Дороговизна жизни и недостаток продуктов, переносимые с трудом солдатами, очень хорошо известны армии через самих солдат, одновременно приезжающих сюда на «побывку». Циркулирующие в армии слухи о голоде в Петро-

граде достигли невероятных размеров и сейчас определенно граничат с областью чистой фантазии: по словам самих солдат, в армии имеются сведения, что в столице «фунт хлеба теперь стоит рубль», «что мясо дают только дворянам и помещикам», что уже будто бы открыто новое кладбище для умерших от голода и т. д. Беспокойство солдат за оставленные на родине семьи более чем понятно и законно, но скверно то, что оно с каждым днем все более и более увеличивается и является весьма благоприятной почвой для успеха пропаганды не только революционной, но при известных условиях и германской.

Нет надобности пояснять, что под «германской» пропагандой разумелась именно пропаганда антивоенная: кто ж будет кричать «долой войну», ежели не немецкий шпион? И как раз эта именно пропаганда делала большие успехи. По мнению одного «уполномоченного земского союза», доклад которого попал в руки охранки, «всякий, побывавший вблизи армии, должен вынести полное и убежденное впечатление о безусловном моральном разложении войск. Солдаты указывают на необходимость мира уже давно, но никогда это не делалось так открыто и с такой силой, как сейчас. Офицеры часто даже отказываются вести команды в бой, в виду опасности быть убитыми своими же людьми». Предвидя, что многое здесь может быть отнесено ее читателями на счет индивидуальных настроений «уполномоченного», охранка сейчас же прибавляет, что о том же рассказывает и «ряд врачей», вернувшихся из действующей армии. О том же рассказывают, — могла бы прибавить охранка, и это было бы во много раз более убедительно, — военные цензоры, читавшие солдатские письма. Цензуре одной только 5-й армии уже к 15 января 1917 г. удалось поймать 443 «антивоенных» письма, составлявших, повторяем, конечно, ничтожнейшую долю «антивоенного», что могли бы сказать солдаты, если бы они заговорили откровенно. С 15 по 23 января в той же армии «падение числа бодрых писем продолжается и возрастает число угнетенных. Процент бодрых писем доходит до 7,6 при 2,5 писем угнетенного содержания»: на три «ура» слышалось уже одно «долой войну», хотя и приглушенным голосом.

Разумеется, цензура уверяла, что в общем «настроение бодрое» и «поднимается». Но любопытно, что даже в серии «бодрых» цитат попадает такая: «Надоела до невозможности эта неразбериха. Желанный мир, говорят, еще долго не наступит, — пора бы одуматься и приступить к мирным переговорам. Хотя здесь и всего хватает, но в тылу творится ужасное безобразия». Цензору, очевидно, понравилось, что на фронте «всего хватает»: среди града жалоб на скверную пищу (особенно ненавистна была солдатам чечевица: «рань-

ше кормить боялись ею даже лошадей, — писал один солдат, — потому что от нее шерсть вылазит, а теперь и людей кормят») уже и это было «лучом света». Но лучей света становилось все меньше. В феврале уже казаки писали: «Войне краю не видно. Бог знает, когда кончится это убийство несчастного люда. Надоело смотреть на эту губительницу народа. Бог знает, за что три года войны. А убийства все увеличиваются. Сколько сирот, вдов и калек, умирающих с голоду, а конца все нет, да нет». Если так казаки писали, что же было ждать от пехоты и артиллерии? «Какие новости у вас, что пишут газеты, пишут ли они насчет мира?» — спрашивало одно пехотное письмо. «Господи, как хотелось бы мира и скорее домой». «Уж слишком затянулось это грязное дело и, несмотря на то, что истекает три года, конца не видно» — говорило другое «пехотное» же письмо. «У нас усиленно тарахтят о мире, да не знаю, будет ли дело...». Но и артиллеристам «уже надоело» таскаться по чужим странам. «Когда только придет всему конец...». Тоскливую фразу «хотя бы поскорее был конец» мы встречаем даже в офицерском письме. И оно прибавляло: «Здесь, между прочим, об этом говорят очень много». Говорили даже несомненные «добросовестные оборонцы». «Буду проситься опять на позицию, — писал солдат 1-го Кавказского стрелкового артиллерийского дивизиона, — пойду бить врага, чтобы поскорее был мир». О том же говорили, нужно прибавить, и ответные письма из дому к солдатам. «Наносим на всех и каждого проклятия, кто только поставил людей в такое положение» — писали в одном письме, говорившем о «страшном голоде» на родине. «Неужели они (!) лучше не придумали, как эту войну». Между фронтом и тылом здесь была полная гармония. Всего интереснее — и по вполне объяснимым причинам всего реже — те указания в этих письмах, сплошь дореволюционного периода, которые говорят о начинавшемся братании: «Так как наши и германские окопы очень близко одни к другим, то мы часто сходимся с немцами» — писали в Москву в начале февраля. «Мы даем им хлеба, а они нам папирос, и если наши и германские офицеры не видят, то расходимся благополучно». «Стою на позиции 40—50 шагов от немцев, — писали в другом письме, — немец, сволочь, жрать хочет, по утрам кричит: «дай хлеба и цукру!». А как они бегут, когда увидят, что наши несут хлеб, — видно, что голодают». Автору письма и в голову не приходило, до чего с точки зрения «обороны отечества» это ненормальная картина: снабжение хлебом голодающего неприятеля.

Все это было до революции — цитируемая сводка, написанная уже в марте, кончается словами: «что касается последних событий, то февральскими отчетами они еще не



отмечены». А на полях пренебрежительная отметка военного начальства: «это уже устарелые сведения». Военные люди не только старались уверить других, но и сами навивно верили, что раз Николаю всенародно дали по шапке, всякие кислые письма с фронта сразу как рукой снимет. Составляя мартовскую сводку, цензор 5-й армии писал: «За первый период (когда еще сведения о перевороте не до всех дошли) настроение в общем бодрое, и характер писем ничем не отличается от изложенного в предыдущем отчете за февраль месяц». Мы уже видели только что, какое это было «бодрое» настроение. «За второй период настроение повышено бодрое, с преобладающим желанием продолжать войну до победного конца». Увы! Разочарование было близко. Уже статистика показывала, что если что изменилось, то, с точки зрения «победного конца»,—к худшему. За март месяц, против 11% писем о необходимости войны до победного конца, 8% писем говорили о «немедленном мире и прекращении войны». В январе было одно «пораженческое» письмо на три «оборонческих»; теперь на 4 «оборонческих» «пораженческих» приходилось три. А из писем приходилось цитировать такие: «Война нам уже надоела. Мы думаем сделать сами мир, потому, что за нас никто не хочет стараться». «Наше начальство говорит, что мира не будет, пока не разобьем германца, но с нашим начальством ничего не сделаешь. У нас хабарство, и они за деньги предались, а хотят, чтобы мы грудью отбили. Нет, мы в наступление не пойдем без нашего начальства. Довольно уже обманывать нас за 75 копеек в месяц. Хлеба не хватает, мясо через день, а то рыба порченная, сахару мало; для пузанов хватает всего, а нам ничего нет». Это было в марте. К апрелю цензорский оптимизм уже начал сдавать. «За апрель месяц настроение в общем бодрое» (уже не повышено бодрое) — гласила сводка. «В частности, в некоторых письмах попрежнему замечено желание мира, недовольство пищей, братание с немцами». Это было в 5-й армии. Цензор 1-й армии смотрел на вещи еще мрачнее. «Настроение войск по данным военной цензуры в настоящее время производит крайне смешанное впечатление. Непонимание сущности совершившегося переворота, сумбурность представлений, моральная расшатанность продолжают преобладать». В 1-й армии действительно были люди сознательные. «Вы ни в коем случае не уступайте буржуазному классу,—писали из 538-го полка,—ведь они могут быть в овечьей шкуре. Всецело контролировать их и просить комитеты итти рука об руку с Советом Солдатских и Рабочих Депутатов. Милюковым и Гучковым нет доверия. Это тот же капитализм, они на своем рубеже, а им охота остаться на нем, т.-е. довести войну до победного конца в честь своей поживы. Мы хотим

освободить все народы от позорного рабства. Довольно нам проливать море невинной крови на жизнь капиталистов. Ведь у одного Николая 60 миллионов десятин, больше, как вся Германия; на содержание дома Романовых в год 80 миллионов, вот за это мы клали свою жизнь. Мы все, как один, хотим мира без аннексий и контрибуций, а не—как хотят Милюковы. Им нужны Константинополь и проливы, чтобы набить свои карманы золотом, но мы этого не хотим, мы не хотим больше проливать кровь. В наших руках ружья и наша свобода». От чтения этого письма цензора окончательно взяло уныние, и у него прорвалось: «Желание мира — общее». А передохнув слегка, он продолжает цитировать уже 537-й полк: «Если война эта скоро не кончится, то, кажется, будет плохая история. Когда же досыта напьются наши кровожадные толстопузые буржуазы! И только пусть они посмеют еще войну затянуть на несколько времени, то мы уже пойдем на них с оружием в руках и тогда уже никому не дадим пощады. У нас вся армия просит и ждет мира, но вся проклятая буржуазия не хочет его нам дать и ждет того, чтобы мы их поголовно вырезали...». Из 539-го полка писали: «Так что у нас про мир говорят, у нас миру не хотят офицеры и генералы, ну, нехай еще побудем до 15 мая, если не буде, то мы пойдем самоправно». И всему подвел итог украинец 717-го полка: «Немец усю правду знае, что у нас робится везде, он знае в городах, а также и про нас он так говорит, что мы не враги, а те враги, которые нас заставили драться».

Когда совещание главнокомандующих в начале мая констатировало единодушное настроение солдат против войны, оно не преувеличивало. За май по одной 5-й армии «пораженческих» писем цензура насчитывала 12.413; «оборонческие» цензор уже не стал считать, так что соотношения их мы не знаем. Соотношение же «пораженческих писем с января к маю будет как 350 : 12.413. Революция не спасла войны, как надеялась буржуазия. И когда петербургские рабочие выступали в феврале с двойным лозунгом: «долой монархию!», «долой войну!»<sup>1</sup>, они отражали настроение не только пролетариата, а и солдатской массы. Спайку между рабочим и крестьянином в 1917 году впервые нашупал именно лозунг «долой войну» — лозунг земли выдвинулся лишь позже. Сначала нужно было кончить войну, потом делить землю.

Но не следует думать, чтобы эта логическая последовательность вопросов была таковой же и исторически. На самом деле — и это чрезвычайно любопытное явление — во-

<sup>1</sup> Из донесения охранки о первых днях февральского движения. См. «Февральская революция и охранное отделение», «Былое», 1918 г., № 1, стр. 167 и 174.

прос о земле встал тотчас же после падения самодержавия и в непосредственной связи с этим падением: изумительный образчик необыкновенной чуткости класса. Уже в цензурских сводках за апрель месяц (а известия о революции, искусственно задерживаемые, дошли до фронта во многих местах лишь в половине марта) мы читаем такие выдержки: «Вы, дорогие родители, не думайте, что будет хуже без царя, нет, наоборот; будет лучше. Вот нам известно, что эта земля, которая была у разных министров и князей, а также и помещиков, то она скоро перейдет вся к крестьянам, так что вы не беспокойтесь, что государя нет...».

В других письмах эта политическая связь не так бьет в глаза, но зато конкретность получается местами прямо ужасающая — для помещиков, само собой разумеется. Из Лихвинского полка писали: «Прошу, скотину безо всяких пуцайте по помещиков земле и пашите землю, не спрашивайте их, собак толстопузых — довольно им теперь пить нашу кровь. Смотрите, берите в руки сейчас, и мы здесь не бросим оружия, пока все не установим, и домой придем с винтовками». «Землю, где есть свободная, пашите, но денег не платите, — писал солдат Боровского полка, — и за огород денег не платите, потому, что проект опубликован. Это будет разбираться в Учредительном собрании, аренды уничтожены будут и от наличной собственности отчуждается весь живой и мертвый инвентарь, а также хоромы разные, машины, плуги, сохи, бороны и живой инвентарь, скот, например. Много в России конских заводов, есть заводы волов, все должно быть общенародным. Ныне вся собственность рухнула—будет все общее». «Не платите ни копейки более помещикам,—писали из 154-го запасного полка,—не слушайте их более, потому что теперь у всякого жизнь свободная, будь он нищий или барин. У всякого своя воля. И помещик отбирает землю и разделяет между крестьянами. Ждем только конца войны, тогда уж расправимся с помещиками».

В 70-х годах тогдашние помещики, типа Чичерина, много распространялись на ту тему, что аграрные проекты народников суть начало социалистической революции: начнут с земли, а там доберутся и до всякой другой собственности. 17-й год показал, что эта классовая логика отлично чувствовалась и на другом полюсе. «Землю пашите, денег не платите — ныне всякая собственность рухнула». И с этого конца, несколько неожиданно для тех людей, которые считали национализацию земли злой выдумкой большевиков, Февральская революция начинала собою Октябрьскую.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ОКТЯБРЬ ЗА РУБЕЖОМ»

Для пишущего эти строки воспоминание о русском отряде во Франции навсегда останется неразрывно связанным с первыми днями революции 1917 года. Раненые госпиталя Мишле были первым образчиком русской народной массы, который мне, эмигранту, удалось увидеть после десятилетнего промежутка, в течение которого я видел русских лишь в качестве таких же эмигрантов, как я сам.

Я никогда не забуду ясного, теплого, весеннего парижского утра, когда я отправлялся на первую лекцию не перед эмигрантским кружком, а перед русскими рабочими и крестьянами, волею царской воинской повинности превращенными в защитников французского отечества. Шел я не без трепета. Хотя с первой своей партийной лекции я неустанно вел литературную борьбу против меньшевистско-кадетского предрассудка насчет «глубокого монархизма» русской народной массы, но то была литература, а это действительность. И я не без дипломатии подходил к вопросу, бывшему центральным вопросом моего доклада: почему в России не только Николай, но вообще царь не нужен?

Впечатление, которое меня ожидало, было самым неожиданным. Мне не было никакой надобности, оказывается, разъяснять ненужность для России царя; ибо царь был для моих слушателей, прежде всего другого, совершенно не интересен. Все время, пока я говорил о царе и о вредности монархии, над моей аудиторией явственно носилась вежливая, но вполне ощутимая скука.

И как резко изменилась картина, когда я, отвечая на одну из поданных записок, заговорил о войне! Ничего похожего на скуку как не бывало. Такой живой аудитории, как эта масса искалеченных и, казалось бы, достаточно занятых своим личным горем людей, я не встречал даже в 1905 году. Царь был совершенно забыт. Об этом злосчастном существе, «преданности» которому народа так опасались кадеты и меньшевики, никто и не вспоминал. Зато

живой и грозный враг трудящихся, империализм, впервые становился ясен во всей своей конкретности не только моим слушателям, но, кажется, и мне самому.

Так заброшенные волею империализма за две тысячи верст от родины русские рабочие и крестьяне сразу вывели меня от закоренелого исторического предрассудка и показали мне воочию, в чем смысл начинавшейся второй русской революции.

И после этой первой встречи мне припоминается другая. Не просторный двор и зелень госпиталя Мишле, а узкая, тесненькая комнатка, где ютилось бюро комитета по возвращению русских эмигрантов на родину. Комитет был не большевистский, но, за единичными исключениями, двух-трех людей; смотревших отщепенцами,—интернационалистский. Смотревшие отщепенцами оборонцы появлялись в нем только изредка, на предмет производства очередного скандала. Вся деловая работа велась интернационалистами.

И вот в этой маленькой комнатке я, как теперь, вижу двух земляков в солдатских шинелях старой царской формы, беседующих с интернационалистами об общем деле. Это делегаты от русской дивизии с фронта. Дивизия—французское командование очень охотно и ловко подставляло под удар нефранцузские части—только что с огромными потерями взяла ряд германских позиций. Но она твердо решила, что это будет ее последний бой с немцами. И что если она пойдет драться еще раз, то это будет уже с другим врагом.

Дело было дьявольски трудное—вывести одну дивизию из бойни, в которую вовлечены были миллионы людей. Мы, эмигранты, были к тому же плохо осведомлены. Мы не знали, что и сам французский фронт уже трещал в это время. Французский главный штаб строжайше скрывал, что в это время, весной 1917 года, на фронте был целый ряд солдатских бунтов, и французские солдаты целыми дивизиями уходили из окопов. Зная мы отчетливо эту обстановку, быть-может, мы сумели бы присоветовать землякам какой-нибудь практический выход. Пока же, сколько я помню, мы не пошли дальше совета организовать и вести пропаганду.

Могло ли бы восстание русской дивизии в те дни сорвать фронт и послужить прологом к такому окончанию войны, какое художественно-правдиво, но исторически неверно дано в известной французской пьесе? Трудно об этом гадать теперь. Как бы то ни было, то, что русские солдаты во Франции не восстали, не спасло их, как увидит читатель этой книжки, от свирепой расправы взбешенных империалистов.

Свидетелями этой расправы нам быть уже не привелось. В тот день, когда происходил расстрел Куртинского лагеря, два парохода с 6 сотнями эмигрантов входили в Северную Двину. Трагедия стала нам известна уже в Москве, но известна так глухо, что весь ее ужас я почувствовал только теперь, читая воспоминания товарищей, бывших ее жертвой. Но мне припоминается одна подробность, которую, мне кажется, нелишне привести как дополнение к рассказу.

До августа месяца 1917 года мы все ждали массовой отправки нас на родину. Эмигрантов за это время выехало довольно много, но небольшими партиями, через Англию. Только в середине июля эмигрантский комитет получил в свое распоряжение два больших парохода бывшего Восточно-Азиатского Общества, «Двинск» и «Царицу». Они могли бы поднять, в случае надобности, всех, кто еще оставался во Франци.

Наша делегация съездила в Брест, осмотрела пароходы, приняла меры к их очистке и дезинфекции и вернулась в Париж готовить массовую отпавку. И вдруг, как удар грома из ясного неба, извещение русского морского агента, что пароходов нам не дадут: они нужны для другой цели.

Мы бросились к агенту и тут узнали, скорее догадались из полунамеков и красноречивых умолчаний, что пароходы (которые могли поднять, при полной нагрузке, до 6.000 человек) понадобились для отпавки в Россию нежелавшей более воевать русской дивизии.

Вот, значит, какой выход в то время носился перед глазами начальства, видевшего невозможность заставить солдат идти в бой и не обнаглевшего еще настолько, чтобы дойти до расстрела своих безоружных земляков. Я не знаю, что в последнюю минуту изменило план. Но пароходы в конце концов остались за нами, и к нам только была придана небольшая, человек в 400, партия русских инвалидов, которые давно ждали отпавки.

Но, не зная наверное, что было причиной перемены, нетрудно догадаться о действительной связи вещей. В это время был уже налицо приказ Керенского, задерживавший возвращение русских из-за границы вообще. Но если вообще русский революционер, возвращавшийся из изгнания, был для Керенского опасным человеком, то насколько опаснее были эти революционные солдаты, которые самым фактом своего существования должны были неотразимо свидетельствовать об империалистском характере войны, которую стремились изобразить обороной отечества. В самом деле, какое отечество обороняли русские в Шампани или под Салониками? Никакие секретные документы не могли бы лучше раскрыть глаза русской народной массе на истин-

ный смысл войны, которую вел Керенский, чем рассказы товарищей-солдат о том, что они видели и в чем участвовали.

Закопать их в гроб живыми за границей было нужно для того, чтобы сохранить великую тайну всемирных эксплоататоров. Вот в чем смысл трагедии и Куртинского лагеря, и всех последующих. Но, говорит пословица, ложью весь свет пройдешь, да назад не воротишься. Никакой обман не мог помешать раскрыться глазам русских народных масс. И когда это совершилось, керенщина пала, несмотря на все китайские стены, воздвигавшиеся ею между народной массой и истиной. И дальше оставалось мучить тех, кто мог бы открыть истину двумя месяцами раньше, уж только из тупой, злобной мести.

И люди, которые были непосредственными виновниками всех описанных дальше ужасов, теперь готовы протянуть нам руку. Наша книжка выходит очень кстати. Правда, стыд не дым, глаза не ест; но опустить глаза от стыда кое-кого из тех, кто теперь распинается о вечной дружбе, связывавшей Россию и Францию, эта книжка заставит. С французскими трудящимися массами наши солдаты всегда были друзьями; но какими «друзьями» показали себя те, кто забрал в руки командирскую палочку над этими массами! Было бы очень хорошо, если бы следующие дальше рассказы были переведены на французский язык. Это был бы один из лучших способов нашей агитации, который подействовал бы даже на наиболее отсталые слои французских рабочих и крестьян.

*«Октябрь за рубежом». М., 1924.*

## ПАМЯТИ КУРТИНСКОГО РАССТРЕЛА

(18 сентября 1917 г. — 18 сентября 1927 г.)

Среди наших юбилейных дней бывают радостные, напоминающие нам о больших под'емах и больших успехах революции; бывают и печальные, напоминающие лишь о жертвах, которые делу революции были принесены. Бывают даты, известные всем. — как июльские дни, — бывают мало кому известные, но о которых надо помнить. То событие, о котором хочется сказать несколько слов, принадлежит как раз к числу менее известных в широких кругах. Но о нем нельзя не вспомнить, хотя бы и потому, что сейчас мы снова стоим накануне ожесточенной схватки с европейским империализмом, а десять лет тому назад именно и случилось то, что горсть наших соотечественников, будущих граждан нашего Союза, оказалась непосредственно в железных когтях этого империализма. Он угрожал им не издали, как он нам теперь угрожает, а непосредственно, штыками, пулями и бомбами.

Для расстреливавших Куртинский лагерь французов, его несчастные обитатели были, конечно, «большевики». Вероятно, в настоящий момент те из них, которые остались живы, и являются большевиками на самом деле. Но их расстреляли тогда не за преданность идеям революционного марксизма, а за революционность просто, за то, что они были революционерами, требовавшими осуществления элементарных гражданских свобод, возведенных еще Февральской революцией. Французский империализм был уже против всякой революции, хотя бы даже и «буржуазной», по старому определению, он уже задушил тогда всякую свободу у себя дома и не мог терпеть свободных людей на своей территории.

Русская дивизия, сражавшаяся на французском фронте, с самого начала была обречена на роль орудия этого империализма. Она была его орудием не столько военным, сколько моральным и политическим. Конечно, от того, что к сотне дивизий англо-французского фронта прибавилась



одна русская, стратегически решительно ничто не менялось. Но ко второму году войны среди французских масс уже начали бродить сомнения на счет того, что царь Николай является действительным и верным другом французской демократии. Угроза сепаратного мира русского и германского империализмов уже носилась в воздухе. Французское правительство, в борьбе с такого рода сомнениями французской массы, и пришло к мысли — заполучить во Францию некоторое количество живых русских солдат, которые своим видом каждую минуту напоминали бы, что русские — еще союзники. Любопытно, что русскому правительству тех дней и в голову не пришло потребовать в этом вопросе взаимности — потребовать, чтобы и на русский фронт была прислана французская дивизия. И со своими-то едва справлялись, а тут еще с французами возись! Наоборот, есть указания, что, подбирая личный состав русской дивизии в отношении солдат, не прочь были сбыть во Францию тех, кто уже тогда проявлял признаки «неблагонадежности». Отчасти, впрочем, такому подбору содействовало и то, что союзникам хотели показать не самых турых и отсталых из подданных русского царя. Выбрали народ поживее, поразвитее и пограмотнее, — и в результате подобрали, может быть, наиболее сознательные по составу солдатской массы полки русской армии.

Но если солдат подбирали по признаку интеллигентности, то офицеров подбирали по другому признаку. Франция и во время войны была переполнена русскими политическими эмигрантами. Послать туда знаменитых «прапорщиков запаса», из вчерашних адвокатов и учителей, это значило пустить щуку в реку. Этого всячески следовало, с точки зрения царского правительства, избегать, и командный состав русской дивизии во Франции составил из самых махровых черносотенников, каких можно было разыскать в армии Николая II.

В дружественную и союзную республику, сами того не сознавая, отправляли бомбу с на редкость сильным взрывным снарядом. И кровавые столкновения солдат с начальством начались тотчас же по вступлении на французскую территорию: командир одного из полков был убит «своими» задолго до того, как он мог встретиться с германской пулей. Какое это начало должно было создать настроение, не трудно догадаться.

Французские впечатления должны были толкать развитие дальше по тому же пути. Дисциплина французской армии, крайне свирепая, в особенности по отношению к солдатам-революционерам, не заключала в себе, однако же, никаких следов крепостнического холопства, каким была пропитана дисциплина царской армии. Французский офи-

цер не «барин», а французский солдат не «мужик», долженствующий подобострастно глядеть в глаза «барину». На улице, в трамвае, в кафе французский солдат чувствует и ведет себя так же, как все остальные граждане, и запрещение солдатам ездить в трамвае или сидеть за столиком в кафе, где сидят офицеры, произвело бы во Франции такое же впечатление, как у нас приказ императора Павла, запрещающий танцевать вальс. Для русских солдат 1916 года это было совершенной новостью — это путало и разбивало все привычки и представления отечественной казармы. В то же самое время солдаты не могли не видеть, что все эти «вольности» — для французов, и что их лишены два разряда воинов, дерущихся на том же фронте: их не знают черные, привезенные французами из Африки, и их не знают русские, пригнанные волею царя Николая на равнины Шампани.

В то же время наши земляки не могли не видеть и другого: что главная тяжесть и главная жертва войны падают именно на этих «париев» западного фронта, — на черных и на русских. И тех и других посылали в самые опасные места. Демонстративные цели, вызвавшие появление русской дивизии на западном фронте, нисколько не мешали тому, что эту дивизию использовали во-всю, тратя ее всюду, где этим путем можно было сберечь французские части. Солдаты это видели, отлично понимали, что в этом море пушечного мяса их считают самым дешевым, самым последним сортом, — и молча ждали, стиснув зубы, когда придет их час.

Этот час пришел в марте 1917 года. Французская цензура долго скрывала русскую революцию не только от солдат на фронте, но и от населения Парижа. Но когда отрекся Николай II, она впала в искушение: ей показалось, что падение «германофильского» правительства может быть удачно использовано для фальсификации русской революции. Отчасти это удалось, но, поскольку дело шло о русских, вольно или невольно пребывавших во Франции, удалось лишь на пару дней. Воспоминания о 1905 годе были в нас слишком живы, мы все слишком хорошо знали, что значит в России революция, чтобы совместить эту последнюю с дальнейшим пролитием крови за интересы французских и английских империалистов. Быть может несколько позже, чем политическая эмиграция, но это осознали и русские на французском фронте.

Французское начальство, как будто сознавая, что на этом фронте образовался революционный прорыв, поспешило тотчас же бросить русскую дивизию в самое отчаянное пекло. Дивизия выполнила все задания, понесла огромные потери, но затем поставила вопрос о том, что же будет дальше? Не подлежит сомнению, что настроение по-

давляющего большинства солдат было еще в эту минуту «добросовестно-оборонческое»: но нельзя было придумать лучшего средства разоблачить оборончество, как поставить людей в те условия, в каких находилась русская дивизия на западном фронте. Что здесь было оборонять русским солдатам? Город Париж? Виноградники Шампани? Но какое все это имело отношение к России?

И вот, не отказываясь пока драться, солдаты стали требовать, чтобы их послали драться туда, где их земляки защищают свою землю. Дивизия, т. е. ее солдатский состав — офицерство, после первых попыток сопротивления, совершенно стушеввалось, — требовала, чтобы ее отправили в Россию. Курьезным образом, с этой точкой зрения русских солдат готово было солидаризироваться и французское правительство: русская революционная дивизия, с ее выборными советами и комитетами, грозила стать таким источником заразы для французского фронта, что французские министры всего охотнее увидели бы ее отплывающей по направлению к Архангельску.

Русское начальство во Франции колебалось. Но не колебался Керенский, инстинктивно понимая, что в лице русских, видевших настоящий, безо всяких прикрас, империалистский фронт, впечатление которого не замазать было никакими оборонческими фразами, он получит наиболее «левый» отряд русской армии, готовых будущих большевиков. Русские эмигранты по собственному впечатлению знают, что не было ничего легче, как разоблачать империалистский характер войны перед солдатами русской дивизии. От «добросовестного оборончества» к «пораженчеству» они шли весьма быстрыми шагами. Притом все это, напомним, были люди, по сознательности гораздо выше тогдашнего среднего солдатского уровня.

Керенский категорически отказал в возвращении русской дивизии. Русское начальство во Франции колебнулось еще раз — в середине августа был момент, когда казалось, что нашу дивизию вот-вот повезут домой. Отплывая из Бреста, русские эмигранты видели пароходы, которые, как им говорили, предназначены для русских солдат. Но отправили только подлежащих эвакуации, больных и раненых: к слову сказать, это была публика наиболее антивоенно настроенная по всем показаниям; от нее, видимо, французы решили во что бы то ни стало избавиться. Здоровые же русские солдаты были сняты с фронта и отведены в далекий тыл, где их держали в тесном оцеплении французских войск. Революционные солдаты, как и можно было ожидать в империалистической обстановке, начинали превращаться в политических арестантов.

Дальше читатели найдут собственный рассказ о той голгофе, которую им пришлось пережить. До последней минуты они питали иллюзию, что среди империалистов, под игом империалистского правительства они могут оставаться теми свободными гражданами, какими их сделал русский Февраль. Русское и французское начальство, на этот раз в полном добром согласии, пускали в ход все средства провокации и интриги, чтобы расколоть солдат, поссорить их между собой, наконец, вызвать какой-нибудь «бунт», который «с приличием» можно было бы усмирить. В отдельных случаях политика начальства имела кое-какой успех, — но в общем и целом большая часть дивизии, занимавшая Куртинский лагерь, держалась крепко. Начальству пришлось пустить в ход открытую силу, — и 18 сентября артиллерия вынудила почти безоружных (у них были только винтовки) куртинцев сдаться.

Дальше начинается самая мрачная, и самая отвратительная в то же время, страница этой трагедии. После 18 сентября превращение русских солдат во Франции во французских политических арестантов стало полным. Это не были больше союзники, хотя бы и несколько подозрительные, это были военнопленные самой жестокой войны, гражданской войны. С германскими пленными во Франции никогда не обращались так жестоко, как с русскими солдатами, пролившими столько крови на защите «прекрасной Франции». И, в полном согласии с этой логикой, заключение мира между Россией и Германией в Бресте не только не улучшило, но в десять раз ухудшило положение этой категории военнопленных. Французский империализм не нашел у себя гражданского мужества объявить войну большевистскому правительству, но он вел себя так по отношению к русским солдатам, как будто он имел дело с взбунтовавшимися жителями какой-нибудь из многочисленных французских колоний. Недаром сосланные в самую неприютную часть Алжира русские до чрезвычайности быстро находили общий язык с арабскими крестьянами, как ни мало лингвистически общего между русским и арабским языками.

Никакого «юридического базиса» под это поведение французского правительства тех дней подвести невозможно. Русским солдатам ставили на выбор: или вернуться обратно на анти-германский фронт, т.е. нарушить закон своей страны и распоряжение своего правительства, или отправляться на каторгу. В международных обычаях даже XVIII века трудно было бы найти что-нибудь, оправдывавшее такое поведение. Взбешенный империалист является едва ли не самым лучшим в мире разоблачителем всей фальши буржуазного правового «порядка». Мы видели с тех пор много примеров этому, и нас этим не удивишь, — но исто-

рия должна отметить, что впервые в области международных отношений империалисты сняли всякую маску именно в этом деле, в деле русской дивизии, действовавшей на французском фронте.

Да будет же этот день днем незабываемой памяти империалистской злобы, империалистской жестокости и империалистского предательства. Накануне нашей новой схватки с империализмом да напомним он нам, чего мы должны ждать от этого зверя. Да разрушит он всякие иллюзии насчет «демократии» и «правового порядка» там, где замешаны интересы господ капиталистов, и в лице бывших куртинцев с товарищеским приветом встретим первых, кто столкнулся с этим зверем еще раньше, чем первый солдат интервенции вступил на почву нашей страны.

«Правда» 18 сентября 1927 г.

## АНТАНТА

Антанта, или «Тройственное Согласие», так называется союз Англии, Франции и России, возникший между 1904—1907 г.г. (но не оформленный каким-либо специальным договором до сентября 1914 г.) и просуществовавший до 1917—1919 г.г., когда он распался в связи с русской революцией и окончанием империалистской войны. Возникновение последней было делом, главным образом, Антанты, сыгравшей роль решающего фактора в мировой политике начала XX века. Внешним образом Антанта образовалась путем присоединения Англии к существовавшему с 1892 года совершенно формально русско-французскому союзу. Но Антанта отнюдь не была простым расширением этого последнего. Русско-французский союз, сам по себе, еще не вел обязательно к мировой войне и в глазах русского правительства не имел даже своим неперменным последствием разрыв и войну с Германией. С конца XIX века между этой последней и Россией возникает тесное сотрудничество в области дальневосточных захватов, при чем при первом выступлении России на этом поприще, ее вмешательстве в китайско-японскую войну в 1895 году, Россию поддерживали одновременно и Германия, и Франция, хотя и та и другая довольно вяло. Позднее, после занятия по обоюдному соглашению Германией Киао-Чау, а Россией Порт-Артура (в 1897—98 году), поддержка Германии стала гораздо более энергичной, и ко времени русско-японской войны можно было говорить о чем-то вроде «русско-германского соглашения», которое Вильгельм II пытался закрепить в 1905 году формальным договором, с участием и Франции. Неудача попытки объясняется, главным образом, тем, что Франция в это время была уже связана соглашением с Англией. До этого соглашения русско-французский союз мог повернуться и против последней: в русско-французскую военную конвенцию 1900 года была включена статья, предусматривавшая сосредоточение русской армии на границах Афганистана в случае столкновения Франции с Англией (одно такое столкновение, на почве

африканской колониальной политики Франции, незадолго перед этим произошло). И впоследствии, внутри Антанты, русско-французский союз сохранял известную самостоятельность, что выражалось, например во время империалистской войны, в частных соглашениях Франции и России, иногда за спиной Англии.

Только присоединение последней сделало Антанту тем, чем она была,—антигерманской коалицией, неизбежно ведущей к мировой войне. Сущность Антанты, таким образом, в англо-германском конфликте, а сущность этого конфликта—в морском соперничестве Англии и Германии. Это вполне отчетливо сознавалось обеими сторонами. Английский министр Ч. Гардинг говорил Извольскому во время ревельского свидания Эдуарда VII с Николаем II, в 1908 г.: «Нельзя закрывать глаза на то, что если Германия будет продолжать увеличивать тем же напряженным темпом свои морские вооружения, то через 7 или 8 лет в Европе может наступить весьма тревожное и натянутое положение». Годом позже глава английского министерства иностранных дел, Грей, говорил русскому послу Бенкендорфу, что немцы, выполнив свою судостроительную программу, обладали бы в ближайшем соседстве с берегами Великобритании 33 дредноута, или флотом, невиданным до того времени по своей силе. Это налагает на Англию обязанность перестроить весь свой флот и сделать его самым могущественным на свете. Разговор заканчивался весьма определенной угрозой по адресу Германии: «Англия не может примириться с господством на континенте одного какого-либо государства, которое диктовало бы Англии свою политику». Со своей стороны руководители германской политики не видели никакой возможности отказаться от своей морской программы. «К мировому могуществу, кроме постройки флота, для нас иного пути не существовало... Морская сила была естественной и необходимой функцией нашего народного хозяйства, которое в смысле мирового влияния спорило из-за первенства с Англией и Америкой, а все остальные народы уже опередило. Подобное положение таит в себе опасность; оно становится невыносимым, если налицо не имеется внушительной морской силы, которая делает для конкурента рискованной всякую попытку поразить насмерть своего преуспевающего соперника» (адмирал Тирпиц). Экономической базой, таким образом, было здесь соперничество из-за монополии океанского транспорта, которая, в свою очередь, была необходимым условием монополии на мировом рынке. Это подводит англо-германское соперничество из-за монополии океанского транспорта, которая, речий, хотя в первые годы XX века мировой рынок сам по себе был еще достаточно емким, и на нем пока нахо-

дилось место для всех трех империалистских колоссов: как Германии, так и Англии и Америки.

Это последнее обстоятельство естественным образом вызывало у дипломатов обеих сторон попытки столкнуться, обойтись, хотя бы до поры, до времени, без войны, возможные роковые последствия которой вполне сознавались. В период англо-бурской войны 1899—1901 г.г. более тяжелым было положение Англии — поэтому первые попытки соглашения исходили от нее. Уже в конце 1899 года тогдашний руководитель английской политики, Чемберлен, выступил с проектом «Нового Тройственного Союза» (намек на Тройственный союз Германии, Австрии и Италии 1879—1882 г.г., противостоявший Антанте): Англии, Соединенных Штатов и Германии. Конкретной целью было противодействие русским захватническим планам на Дальнем Востоке, которые на самом деле были русско-германскими планами. При таких условиях, переговоры, тянувшиеся до 1901 года, ни к чему привести не могли, дав лишь возможность Вильгельму, на почве их, шантажировать своих противников, а подчас и своего союзника Николая II. Когда в Лондоне поняли игру германского императора, там круто и решительно повернули в другую сторону. В январе 1902 года был заключен англо-японский союз (к которому неформально примкнули и Соединенные Штаты), направленный открыто против России, а поскольку за нею на Дальнем Востоке стояла Германия, — и против последней. А затем Англия окончательно выходит из своего «блестящего одиночества» (*Splendid isolation*, — термин, которым характеризовали политику Англии во 2-й половине XIX века, когда она сознательно избегала связывать себя континентальными союзами), заключив 8 апреля 1904 года с Францией, до тех пор ее колониальной соперницей, соглашение по всем колониальным вопросам, специально по вопросу о Марокко, очередном предмете французских колониальных вожделений. Русско-японская война (с февраля этого же года), на время лишившая всякого военного смысла русско-французский союз, поскольку и русская армия и русский флот были прочно заклинены на Дальнем Востоке, очень облегчила Англии эту операцию, так как Франция чувствовала себя в эту минуту совершенно беззащитной.

С англо-французского соглашения 1904 года можно датировать начало Антанты. Разгром России на Дальнем Востоке облегчил дальнейшее развитие антигерманской коалиции. К концу 1905 года Николай II был на краю банкротства. Новый заем был необходим до зарезу, а его можно было получить только в Париже. Между тем, в Париже Витте, схвативший на переговоры с японцами в Америку,



получил категорическое заявление, что Россия не получит ни сантима, пока: 1) не заключит мира с Японией, 2) не станет в вопросе о Марокко решительно на сторону Франции против Германии, которая тоже предъявляла в это время на Марокко свои «права»; последнее нужно было, главным образом, как явное доказательство разрыва России с Германией: реальной поддержки Франции Россия оказать в эту минуту, конечно, не могла, да Франция, имея за спиной Англию, в этой поддержке и не нуждалась. Исполнив эти два условия, Николай II получил 2½ миллиарда франков, которые помогли ему ликвидировать первую русскую революцию. Подписанный в Бьорке (июль 1905 года) русско-германский договор оказался мертвой буквой, реальностью оказалась новая русско-французская военная конвенция (1906 года), заостренная уже прямо против Германии; два других члена Тройственного Союза, Австрия и Италия, обычно принимавшиеся во внимание в подобных случаях, на этот раз были оставлены в стороне, при чем если относительно Италии к этому было полное основание, поскольку Италия секретным соглашением 1902 года обязалась не участвовать в войне против Франции, то игнорирование Австрии могло значить лишь, что Франция шла теперь всецело по английскому фарватеру, избегая вводить в игру Балканы—театр русско-австрийского конфликта. Скоро царское правительство должно было в этом убедиться воочию. Тем временем, и очень скоро, оно само попало в тот же английский фарватер. Уже осенью 1906 года начались русско-английские переговоры, закончившиеся в августе 1907 года конвенцией, где Англия размежевалась с Россией по азиатским делам почти так же четко, как в 1904 году с Францией по африканским. Россия получила в качестве «сферы влияния» северную Персию, отказавшись от всякого вмешательства в дела Афганистана. Двамя месяцами ранее был окончательно улажен русско-японской конвенцией дальне-восточный кризис. От Черного моря до Тихого океана англо-русский конфликт, тянувшийся три четверти столетия, был снят. А в 1908 году в русско-французскую военную конвенцию министр иностранных дел Извольский предложил включить пункт, предусматривавший мобилизацию русской армии в случае столкновения Германии с Англией.

Если верить показаниям военно-морских специалистов (адмирал Колчак и генерал Поливанов), с этого времени без перерывов и чрезвычайно активно ведется подготовка русско-германской войны 1914 года. На самом деле дорога Антанты далеко не была такой гладкой, «согласие» на первых порах было столь мало полным, что у русских дипломатов бывали минуты отчаяния, и иногда им казалось, что

самое существование Антанты не более доказано, нежели «существование морской змеи». Первый же ухаб на дороге Антанта встретила очень скоро, в 1908—1909 г.г. Англо-русское соглашение 1907 года оставляло под вопросом один пункт, но как раз для русского правительства самый важный: вопрос о будущей судьбе Константинополя и прилегающих к нему проливов, ведущих из Черного моря в Средиземное. Обладание, тем или иным путем, этими проливами составляло неизбежную внешне-политическую сторону столыпинщины. Поскольку последняя ставила своей задачей создание в России буржуазного землевладения в подкрепление дворянскому, обеспечение свободного выхода помещицкому и кулацкому хлебу на мировой рынок было одним из неперемennых условий ее успеха. В 1906—1908 г.г. 89% русского хлебного экспорта шло из черноморских портов, т.-е. через «проливы». Любой соперник, повлияв на формально владевшую «проливами» Турцию, мог закрыть этот канал и тем сорвать весь русский хлебный вывоз. Право контроля над проливами было, таким образом, для столыпинской России важнее, чем все Афганистаны, Персии и даже Маньчжурии. А русско-английское соглашение об этом молчало. Надеясь на помощь Антанты, Извольский вошел в соглашение с Австрией и, обеспечив последней аннексию Боснии и Герцеговины («временно оккупированных» Австрией в 1878 году по Берлинскому трактату и фактически давным-давно ставших австрийскими провинциями; в 1881 г. Россия и формально согласилась на аннексию), потребовал, в виде взятки, поддержки Австрии в вопросе об открытии проливов для русских военных судов. Австрийский министр иностранных дел Эренталь провел Извольского: Австрия объявила Боснию и Герцеговину составной частью империи, к величайшему негодованию сербов, которые считали эти области своими, а когда Россия потребовала своего «могарыча», Эренталь пригрозил опубликовать секретные переговоры с Извольским, что грозило России потерей всякого престижа среди балканских славян. Извольский бросился к новым союзникам. Но тут выяснилось, что сочувствие Франции в этом вопросе всецело на стороне Австрии, а не России: оторвав от Германии Италию, Франция не теряла надежды достигнуть того же и с Австрией, мысль же об участии в войне из-за балканских дел была еще в это время совершенно чужда правительству третьей республики—нужен был ряд лет, чтобы оно к этой мысли привыкло. С Англией оказалось еще хуже. Она, во-первых, заранее объявила, что может оказать России только «дипломатическую» (т.-е. чисто словесную) поддержку, а затем условием и этой поддержки ставила открытие про-

ликов не для русских только, а для всех военных судов. Вместо возможности выхода русского черноморского флота в Средиземное море, получилась возможность входа английского—или даже германского—флота в Черное море, т.-е. получалось прямо противоположное тому, к чему стремился Извольский. Антанта явно дала трещину. Россия начинает теперь добиваться своего обходными путями, помимо Антанты. В ноябре 1909 года заключается договор с Италией в Ракоиджи, обеспечивающий взаимно права Италии на Триполи и России на проливы. В декабре того же года делается попытка заключить секретную военную конвенцию с Болгарией, начинающая собой длинный ряд тайных махинаций русского правительства на Балканах, заканчивающихся заключением секретного сербско-болгарского договора февраля 1912 года и такой же военной конвенции апреля этого года, направленных одинаково и против Турции, и против Австрии. Одновременно началось и нечто вроде возрождения русско-германского «доброего согласия» первых лет столетия. Вильгельм, к удивлению русских дипломатов, оказался в вопросе о проливах более внимательным к интересам России, чем ее союзники. В предложенном им проекте соглашения (1909 г.) России предоставлялось то, к чему стремился Извольский, но под одним непременным условием: разрыва с Англией. Так далеко назад после всего совершившегося Николай пойти не мог, и проект соглашения 1909 года не дошел даже до стадии Бюркского договора—остался неподписанным. Это не помешало тому, что в октябре следующего 1910 года в Потсдаме произошло свидание Вильгельма с Николаем, результатом какого явилось русско-германское соглашение по вопросу о железной дороге в Передней Азии, в частности о постройке ветви от Багдадской железной дороги, которую строил «Немецкий Банк», к персидской границе. Багдадская железная дорога, не будучи корнем англо-германских разногласий, все же была очень неприятна Англии, подводя чужую рельсовую колею подозрительно близко к Египту, Суэцкому каналу и к Индии—местам, где Англия предпочитала быть одна,—тем более, что шовинистическая германская пресса не скрывала именно стратегического значения этой колеи. Английские политические деятели открыто угрожали вооруженным конфликтом, если немцы осмелятся ступить на берег Персидского залива, обещаясь «пустить в ход все свои средства, чтобы удержать в неприкосновенности нашу (т.-е. английскую) позицию» в этих местах (Грей, в марте 1911 г.). Соглашение России с Германией именно по железно-дорожному вопросу (подписанное в окончательной форме в августе 1911 г.) должно было сильно взволновать английское общественное мнение, а за ним, отчасти по сочувствию, от-

части встревоженные симптомами возрождающейся русско-германской дружбы, заволновались и французы. Последние уже давно были связаны с Англией почти столь же формально, как и с Россией. Связь эта была так формулирована Пуанкаре в разговоре с преемником Извольского, Сазоновым (в августе 1912 года): «Хотя между Францией и Англией не существует никакого писанного договора, тем не менее как сухопутные, так и морские генеральные штабы обоих государств находятся между собою в тесном общении и непрерывно сообщают друг другу с полной откровенностью все могущие их интересовать сведения. Этот постоянный обмен мыслей имел своим последствием заключение между французским и английским правительствами устного соглашения, в силу которого Англия выразила готовность оказать Франции, в случае нападения со стороны Германии, помощь как морскими, так и сухопутными силами. На суше Англия обещала поддержать Францию посылкою стотысячного отряда на бельгийскую границу для отражения ожидаемого французским генеральным штабом вторжения германской армии во Францию через Бельгию» (изложение Сазонова).

Перелом во внутренних отношениях Антанты, точнее говоря, превращение ее из «морской змеи» во вполне реальное существо, связан с приходом к власти во Франции Пуанкаре, сначала в качестве премьера (январь 1912 года), потом в качестве президента республики (январь 1913 г.). В лице Пуанкаре победила правая французского парламента: говоря экономически, тяжелая индустрия и синдицированная промышленность вообще взяли верх над финансовой буржуазией старого типа, поддерживавшей радикалов и во внешней политике очень осторожной, хотя бы из страха за огромные капиталы, помещенные французскими банками за границей, в том числе и в Германии. С падением радикалов и переходом власти к правым всякая осторожность была отброшена. Радикалы и думать не хотели о возможности для Франции впутаться в балканскую политику России. Пуанкаре начал свои переговоры с русским послом (Извольским) с жалобы, что русские недостаточно посвящают Францию в свои балканские дела. Первое время он только оговаривался, что воевать Франция из-за этих дел непосредственно все же не станет, но и этот остаток былой осторожности скоро исчез. Радикалы всячески старались избегать острых конфликтов с Германией, и когда последняя, в ответ на саботаж французским правительством прежних соглашений по поводу Марокко, послала летом 1911 года свое военное судно в одну из мароккских гаваней, тогдашний радикальный премьер Кайо не поднял перчатки и, несмотря на открытую поддержку Англии, добился

улажения конфликта. Пуанкаре, оправдывая свое будущее прозвище («Пуанкаре—Война»), искал конфликтов. Когда сфабрикованный Россией сербско-болгарский договор дал свои плоды, когда началась война балканских славян и Греции против Турции и после никем не ожидавшихся блестящих побед сербов обеспокоенная Австрия начала вмешиваться в дело, угрожая своей маленькой, но быстро росшей сопернице, Сербии,—французское правительство оказалось воинственнее русского. Извольский писал из Парижа: «Тогда как до сих пор Франция заявляла нам, что местные, так сказать, чисто балканские, события могут вызвать с ее стороны лишь дипломатические, а отнюдь не активные действия, ныне она как бы признает, что территориальный захват со стороны Австрии затрагивает общее европейское равновесие, а потому—и собственные интересы Франции. Я не преминул заметить г. Пуанкаре, что, предлагая обсудить совместно с нами и Англией способы предотвратить подобный захват, он этим самым ставит вопрос о практических последствиях предполагаемого им соглашения; из его ответа я мог заключить, что он вполне отдает себе отчет в том, что Франция может быть вовлечена на этой почве в военные действия» (письмо от 25 октября—7 ноября 1912 г.). А французский военный министр Мильеран спрашивал русского военного агента—неужели Россия в ответ на австрийскую мобилизацию не предпримет никаких решительных действий? Россия же в эту минуту больше всего была занята мыслью—как бы болгары, блестящих побед которых тоже никто не ожидал, не завладели Константинополем. А так как Германия во-время удержала Австрию от дальнейших выступлений, то конфликт разрешился мирно, к некоторому разочарованию французских реакционеров.

Воинственный задор последних, по крайней мере отчасти, несомненно подстрекался резким обострением англо-германских отношений в том же 1912 году. В феврале этого года Германия выступила с самой грандиозной из своих морских программ. Последний раз была сделана попытка добиться англо-германского соглашения по вопросу о флотах (соглашение о Багдадской дороге уже состоялось в 1911 году). Английский военный министр Хольден приехал в Берлин, по приглашению Вильгельма, но торг кончился ничем—англичане стояли на своей традиционной формуле: «два киля против одного», немцы предлагали соотношение 2:3. Соглашение не было достигнуто, и в Англии господствовало такое раздражение против Германии, как никогда. Осенью 1912 года русский министр иностранных дел Сазонов был в Англии, и Грей говорил ему о готовности английского правительства «употребить все усилия, чтобы нанести

самый чувствительный удар германскому морскому могуществу», а Георг V пообещал даже «пускать ко дну всякое германское торговое судно, которое попадетя в руки англичан». При этом, англичане, со своей стороны, посвятили Сазонова в секрет своей военной конвенции с Францией, о чем Сазонов уже знал от Пуанкаре.

Это доверие ясно показывало, что Россия окончательно принята в Антанту и что на нее возлагаются большие надежды. Антанта была вполне готова, и «старшие» ее члены спешили оборудовать «младшего» для предстоявшей ему роли. При этом, совершенно естественно, Франция заботилась о сухопутном театре предстоящей войны, Англия же о морском. Когда России понадобился новый заем и она обратилась, по обыкновению, в Париж, оттуда заговорили таким же твердым тоном, как в 1905 году, но содержание слов было иное. Соглашались, в течение 3 лет, дать еще 1½ миллиарда франков, под двумя непеременимыми условиями: 1) усиления численного состава русской армии и 2) постройки в России сети стратегических железных дорог. На том же усиленно настаивал и приехавший в Россию генерал Жоффри, будущий главнокомандующий империалистской войны, требовавший в особенности, чтобы стратегические дороги строились возможно скорее. Приехавшего в Париж за займом русского премьера Коковцева шантажировали слухами, что иначе Франция даст денег кому угодно—Сербии, Румынии, Турции, Болгарии и даже Австрии, но не России. Сербию, впрочем, и фактически субсидировали весьма щедро—повидимому, роль, которую должно было сыграть это маленькое государство в качестве непосредственного зачинщика войны, была уже предусмотрена (первый проект убийства Франца-Фердинанда относится еще к декабрю 1913 года). Русское официальное правительство, в лице Коковцева, было настроено миролюбиво и наивно искало признаков такого же миролюбия у французов. Но военная партия, в лице Сазонова и Сухомлинова, была уже вполне готова, и дни Коковцева, как премьера, были сочтены. С апреля 1914 года, при посредстве Франции, начинаются переговоры об англо-русской военноморской конвенции. В Петербурге очень боялись появления грозного германского флота перед Кронштадтом и германской высадки на русских берегах—английский флот брал на себя задачу оттянуть германские морские силы к Северному морю. На заговаривания о непосредственной помощи английского флота русскому в Балтийском море еще Грей в 1912 году разъяснил Сазонову, что если английскому флоту и нетрудно было бы войти в Балтийское море, то зато почти невозможно оттуда выйти. Зато русские настаивали на сосредоточении в русских портах Балтийского моря большого

количества английских торговых пароходов, что дало бы возможность угрожать Германии высадкой в Померании. Англо-русскую морскую конвенцию не удалось подписать, так как вспыхнула война, по инициативе, несомненно, Антанты, но было ли это результатом обдуманного плана, или же случайно раньше времени взорвалась мина, подготовленная на более долгий срок, при теперешнем состоянии нашей осведомленности сказать трудно. Некоторые разоблачения из английских источников делают более правдоподобным первое предположение, но данные слишком отрывочны.

Война превратила Антанту в форменный союз: сентябрьским соглашением 1914 года страны Антанты обязались вести войну до конца вместе и отнюдь не заключать сепаратного мира (слухи об оговорках по этому пункту никакими документами пока не подтверждены). Соглашение было вызвано попыткой Германии заключить мир через посредство Соединенных Штатов, к чему категорически отрицательно отнеслись Англия и Россия и более «мягко» Франция, военное положение которой в это время было наиболее критическим. Это была не первая и не последняя трещина в Антанте уже военного времени. Россия вступила в войну, не имея формальной гарантии по наиболее интересовавшему ее вопросу—о проливах. Ей пришлось добиваться этой гарантии уже в процессе войны, опираясь на Францию против Англии, до конца относившейся крайне несочувственно к мысли о занятии русскими Константинополя. Мартовское соглашение 1915 года о проливах было подписано Англией со столь явной неохотой, что в реальность этого соглашения русские дипломаты никогда вполне не верили: отсюда попытки закрепить его сепаратной сделкой с Францией, гарантируя последней левый берег Рейна в обмен за Дарданеллы. Последнее такое соглашение имело место почти накануне Февральской революции. Русская революция нанесла первый формальный удар «Тройственному Соглашению»: благодаря выходу России из войны оно перестало быть «тройственным». Фактически соглашения европейских участников антигерманской коалиции уже с февраля 1917 года отошли на второй план, поскольку в войну вступили Соединенные Штаты, очень скоро ставшие настоящим хозяином положения. С этого момента, а особенно со времени разгрома Германии и Версальского мира, державы ориентируются по линии: с Америкой или против нее, старые же антантовские связи настолько ослабевают, что Англия почти открыто поддерживает на Ближнем Востоке восстания туземного населения против Франции, которая, в свою очередь, пользуясь покровительством Америки, позволяет себе шаги, явно враждебные Англии (на-

пример, занятие Рурского бассейна в 1923 году). Поэтому, хотя у нас и в этот период продолжают говорить, по старой памяти, об Антанте, но это слово становится просто символом для обозначения капиталистического окружения Советского Союза.

*БСЭ, т. I.*



## ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ



## ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ

Вступление России в войну было предметом многих и разнообразных рассказов и исследований. Самым последним, с огромным опозданием, выступил на арену наиболее непосредственный «виновник», с русской стороны,—бывший министр иностранных дел Николая II Сазонов<sup>1</sup>. Безнадежно устаревшая общая концепция (вплоть до уверений в «совершенной непричастности» сербского правительства к убийству Франца-Фердинанда. — то-то, вероятно, смеются в Сербии, читая теперь такую чепуху!) не мешает тому, что кое-какой новый свет на события июля 1914 г. проливает и Сазонов. Чрезвычайно интересны его «дипломатические» намеки на провокаторскую роль, какую играла во всем деле Англия, которой, как правильно указывает Сазонов, ничего не стоило остановить Вильгельма в начале конфликта. Ему намеренно дали «зарваться», чтобы у Германии были отрезаны всякие пути к отступлению. Но это лишь новые штришки к картине, давно написанной,—притом штришки, не ослабляющие, а усиливающие основной колорит картины. Можно с уверенностью сказать, что в этой области, в области начала войны, с русской стороны никаких больших разоблачений более ждать нельзя. В основном, что можно знать, мы уже знаем.

Совсем иначе обстоит дело с концом войны для России. Здесь никаких исследований, собственно говоря, пока нет. Основные документы напечатаны в крайне неполном виде, притом с совершенно невероятными ошибками и опечатками<sup>2</sup>. Когда недавно пришлось поручить соста-

<sup>1</sup> См. «Современные записки», т. XXXII, 1927 г.

<sup>2</sup> Приведем два примера: 16-й тезис Ленина о мире читается в Собрании сочинений так: «Беднейшее крестьянство в России в состоянии поддержать социалистическую революцию, руководимую рабочим классом; оно в состоянии немедленно, в данный момент пойти на серьезную революционную войну» (т. XV, стр. 68). Что за чепуха, скажет читатель: когда Ленин мог написать такое? Маленькая „опечатка“, дорогой читатель: во второй фразе пропущено и е. Другой пример: на стр. 623 того же тома суммы голосов при голосованиях ЦК 22 (9) января дают в одном случае 14, в другом — 13, в третьем — 18. Сколько же членов ЦК голосовало на самом деле?

вление статьи о Брестском мире одному очень талантливому молодому историку, он не смог дать даже внешне правильной во всех подробностях картины события: ряду товарищей пришлось дополнять и поправлять «по личным воспоминаниям». Не смог не потому, чтобы не умел, — повторяю: это очень талантливый человек. Но участником переговоров он не был, близко к «центрам» в ту пору не стоял, а документы, которыми он мог пользоваться, крайне несовершенно и неполно отразили происходившее.

В результате, если не говорить о нашей внутривнутрипартийной дискуссии, связанной с Брестом, о чисто объективной, конкретно-исторической стороне кризиса больше можно узнать из иностранных, чем из наших источников. Людендорф, Чернин, Гофман, с одной стороны, Садуль, Робинс, Бьюкенен — с другой, дают хотя весьма бессвязный, но очень богатый фактами комментарий к официальным нотам и стенограммам. Обстоятельный анализ этих и многих иных аналогичных источников, наряду с более широким, чем это было и могло быть до сих пор, использованием наших собственных архивов, только и могут восстановить картину Бреста с внешней стороны такой, какова она действительно была. Настоящий очерк представляет собою только самый первоначальный приступ к такой работе, но уже и это начало позволяет — таково, по крайней мере, субъективное впечатление автора — лучше понять даже и нашу партийную линию в этом вопросе. Автор должен прибавить, что он пользовался исключительно печатными источниками.

Это — в области фактов. В области же исследования до сих пор не вполне разрешенным остается вопрос: из какой войны мы выходили в 1917 году? Ни у кого не было и нет спора, что это не была война национальная, что это была война империалистическая. Не была ли эта война для России империалистической точно в таком же смысле, как для Англии или Германии? Или для России термин «империалистический» следует понимать с некоторыми ограничениями? Мы знаем от Ленина, что смешно было бы ждать «чистой» социалистической революции; не так же ли обстоит дело с «чистой» империалистической войной? На этот счет, как мы увидим, есть вполне определенные указания и у Ленина. Но прежде чем к ним перейти, коснемся в двух словах этого вопроса, как он стоял и стоит в специальной литературе.

«Общее мнение» в наших кругах во время войны сводилось к тому, что война и для России должна быть империалистической в обычном, «капиталистическом» понимании слова «империализм», потому, что иначе как же в России возможна социалистическая революция? Я не буду разби-

рать вопроса, сознательно или бессознательно здесь отражалась троцкистская точка зрения, согласно которой Россия в период войны стояла непосредственно перед социалистической революцией. Для нашей задачи важнее отметить, что в новейшей литературе от этой точки зрения, под влиянием изучения фактов, главным образом фактов экономических, начали отходить. Ряд исследований в области истории русского финансового капитала (Ванаг, Ронин и т. д.) привел к выводу, который лучше всего передать словами самого авторитетного представителя этого течения, Л. Н. Крицмана: «В итоге—вместо системы русского финансового капитала мы имели на территории России части трех могущественных систем финансового капитализма—французской, германской и английской (из которых две, французская и английская, стали, как известно, ко времени войны частями мощной коалиции «Согласия»)»<sup>1</sup>.

Итак, «русский империализм» не может быть обозначен иначе, как при помощи скобок, кавычек или иных вспомогательных типографских знаков. Это не есть империализм в том «чистом» его понимании, какое относится к империализму французскому или английскому. Мы увидим, что типографские знаки в применении к русскому империализму начали употреблять задолго до появления в свет первых произведений «школы Крицмана». Но, не взирая на имеющихся у школы весьма авторитетных предшественников, «школа» сейчас же встретила отпор, и в этом отпоре явственно слышатся отзвуки той теории, которая господствовала в широких кругах во время войны. Произведения критиков т. Крицмана и его учеников не все еще опубликованы: два из них—работа т. А. Сидорова (в первом томе «Очерков истории Октябрьской революции», изд. Института красной профессуры), и вторая—статья т. Грановского, долженствующая появиться в одном из изданий Коммунистической академии,—выйдут в свет, вероятно, одновременно с этой статьей или даже несколько позже ее<sup>2</sup>. Я не буду поэтому цитировать их здесь. Нет никакого сомнения, что т. т. Крицман, Ванаг и Ронин будут им возражать, когда эти труды появятся в свет. Я остановлюсь только на некоторых данных, приводимых автором, принадлежащим, до известной степени, к тому же направлению, что и т. т. Сидоров и Грановский, хотя подходящим к вопросу с другой стороны и, нужно заметить, писавшим одновременно с Ванагом и Рониным, хотя его книга и вышла позже. Это—т. И. Ф. Гиндин, выпустивший в нынешнем году свою работу «Банки и промышленность в России». Теоретическое

<sup>1</sup> Ронин, Иностраный капитал и русские банки, предисл., стр. V.

<sup>2</sup> Теперь и та и другая уже напечатаны.

«новшество» автора, выразившееся в попытке обосновать две формы финансового капитала, промышленную и банковскую, нас мало здесь интересует. Интереснее другое: т. Гиндин склонен весьма скептически относиться к «засилью» иностранного капитала над русскими банками, а через них и над русской промышленностью. Ему кажется, что «национальный» капитал играл в экономике России перед войной гораздо более серьезную роль, чем это приписывает ему крицмановская школа.

И, однако же, вот к какому результату приходит Гиндин относительно основной промышленности современной индустрии, металлургии, в России перед 1914 г.: «Подводя общие итоги, можно указать, что в отраслях, обрабатывающих железо, из 125 предприятий, с капиталом в 370 млн. руб., 39 крупнейших предприятий, с капиталом в 233 млн. руб. (более 60%), находились в той или иной форме под сильным влиянием русских банков (к этому надо прибавить еще два смешанных предприятия с капиталом в 19 млн. руб.). 37 иностранных предприятий имели только 89 млн. руб. капитала (менее 25%), наконец, на 47 русских обществ падало всего 29,1 млн., или менее 10% капитала, вложенного в акционерные общества данной отрасли. Эта картина несколько изменится в пользу иностранного капитала, если мы будем суммировать цифры, относящиеся к железодельной и обрабатывающей железо промышленности!».

Для полноты картины нужно посмотреть, что же представляли собою эти «русские» банки, которые командовали над русской, уже безо всяких кавычек, металлургией. И на этот счет Гиндин дает исчерпывающие указания, особенно ценные в связи с его общей точкой зрения. «В нескольких крупнейших предприятиях русские банки сделались естественными представителями дружественных иностранных банков, при чем «дружба» в этом случае нашла свое выражение в совместных финансовых транзакциях с бумагами этих предприятий. Их акции, популярные как на петербургской, так и на парижской биржах, становятся любимым объектом фондового арбитража. Так обстояло дело в четырех из пяти близких банкам предприятиях Юга. Однако, нужно пойти еще дальше и отметить, что по степени влияния русских банков отношения в указанных 4 предприятиях были не вполне схожи. Два из них при значительном участии иностранных капиталов — при наличии, во всяком случае, в одном сильной иностранной предпринимательской группы — обнаруживали значительное влияние на них политики русских банков. Наоборот, в двух других представительная роль русских банков сказывалась весьма сильно, — количество представляемых ими на собраниях акций весьма уступало тому, которое значилось за французскими кредитными

учреждениями, число мест в правлении было также крайне незначительно. Наконец, в синдикатных операциях они выступали как представители иностранных кредитных учреждений, и само руководство русской группой в этом случае зависело, повидимому, не от близости русских банков к предприятию непосредственно, а к руководящему французскому учреждению»<sup>1</sup>.

В общем и целом, таким образом, утверждение т. Гиндина очень мало колеблет тот тезис т. Крицмана, который мы привели вначале. В конце концов, предвосхищая до некоторой степени полемику с не окончательно еще родившимися на свет работами тт. А. Сидорова и Грановского, можно сказать, что спор идет на очень узкой полосе, в пределах одного-двух десятков процентов, выражающих зависимость русской индустрии от иностранного капитала. По Ванагу выходит процентов 70—75, по А. Сидорову—не более 60. Но что русский капитал перед войной в очень значительной степени был филиалом антантовского,—это положение можно считать непоколебленным, и в этом смысле «русский империализм» приходится брать в кавычки.

Спрашивается: является ли это теоретически в нашей русской литературе какой-нибудь новостью? Ни в малейшей степени. Возьмите ленинские «Письма издавека», письмо 4, «Как добиться мира», и вы там прочтете: «Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал есть участник англо-французского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, Галицию. Гучков, Львов, Миллюков, наши теперешние министры,—не случайные люди. Они — представители и вожди всего класса помещиков и капиталистов. Они связаны интересами капитала. Капиталисты не могут отказаться от своих интересов, как не может человек сам себя поднять за волосы. Во-вторых, Гучков-Миллюков и К<sup>о</sup> связаны англо-французским капиталом. Они на чужие деньги вели и ведут войну. Они обещали за занятые миллиарды платить ежегодно процентов сотни миллионов и выколачивать эту дань с русских рабочих и русских крестьян».

Слова Ленина вносят лишь ту поправку в картину гегемонии антантовского капитала над русским, что эта гегемония достигла своих максимальных размеров именно во время войны. То есть в 1917 г. была еще больше, чем в 1914. Но своеобразия русского империализма, его неполного сходства с империализмом Англии или Германии слова Ленина ни в малейшей степени не отрицают. И не могут отрицать, так как и вообще Ленин не мог писать о «русском» империализме без помощи тех типографских знаков, к ка-

<sup>1</sup> Гиндин, назв. соч., стр. 148 и 149.

ким вынуждены постоянно прибегать мы. Вот две цитаты из всем известной статьи Ленина «О двух линиях революции», напечатанной еще в ноябре 1915 г. Возражая Троцкому (мы видели, что «общепринятая» в дни войны концепция была, по существу, троцкистской), Ленин говорит: «Вот забавный пример «игры в словечко»: империализм. Если в России уже противостоит пролетариат «буржуазной нации», тогда, значит, Россия стоит прямо перед социалистической революцией, тогда неверен лозунг «конфискация помещичьих земель» (повторяемый Троцким в 1915 г. вслед за январской конференцией 1912 г.), тогда надо говорить не о «революционном рабочем», а о «рабочем социалистическом правительстве»!! До каких пределов доходит путаница у Троцкого, — видно из его фразы, что решительностью пролетариат увлечет и «не пролетарские (!) народные массы» (№ 217)!! Троцкий не подумал, что если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель и свергнет монархию, то это и будет завершением «национальной буржуазной революции» в России, это и будет революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства!» И далее: «Пролетариат борется и будет беззаветно бороться за завоевание власти, за республику, за конфискацию земель, то есть за привлечение крестьянства, за исчерпание его революционных сил, за участие «не пролетарских народных масс» в освобождении буржуазной России от военно-феодального «империализма» (=царизма). И этим освобождением буржуазной России от царизма, от земельной власти помещиков пролетариат воспользуется немедленно не для помощи зажиточным крестьянам в их борьбе с сельским рабочим, а для совершения социалистической революции в союзе с пролетариями Европы».

Видите, сколько понадобилось вспомогательных типографских средств Ленину, когда он заговорил о русском империализме. «Военно-феодальный» он подчеркнул, империализм взял в кавычки, да еще рядом в скобках поставил «царизм». Очень большое своеобразие той роли, какую играла Россия в империалистических комбинациях, было установлено, таким образом, задолго до Л. Н. Крицмана. Его постановка ни в чем не противоречит ленинскому пониманию русского империализма. Безусловно, для России война ни в каком случае не была национальной войной, как для Германии 1870—71 г.г. Но она не была и такой империалистической войной, как для Германии война 1914 г. Совершенно вразрез с метафизическим, твердым, как дерево, пониманием слова «империализм», но в полном согласии с диалектическим пониманием империализма, война



1914 г. для России была переходом от «военно-феодального империализма» (=внешней политике торгово-феодального государства) к империализму периода капиталистических монополий (=внешней политике финансового капитала). Именно сама война и должна была быть той ступенью, пройдя которую, русский финансовый капитал из вассала должен был превратиться в сюзерена. Смысл «победного конца» именно в этом и должен был заключаться. Разгром России в 1915 г. спустил вассала, однако же, еще на одну ступеньку ниже — сделал его, продолжая сравнение, «арьер-вассалом». Отсюда—Россия после февраля 1917 г. была в большей степени империалистической страной, чем в 1914 г., но еще в меньшей степени самостоятельно-империалистической страной, чем до войны.

В самой войне не было и не могло быть, таким образом, ничего национального. Но в известном смысле «национальное» присутствовало в нашем выходе из войны. Ленин с чрезвычайной меткостью подчеркнул в одном из своих тезисов, что если бы Россия в феврале 1918 г. пошла на революционную войну, она вела бы, в сущности, войну национальную, только за национальные интересы не самого великорусского племени. В 21-м тезисе он пишет: «Действительно революционной войной в настоящий момент была бы война социалистической республики против буржуазных стран с ясно выраженной и вполне одобренной со стороны социалистической армии целью свержения буржуазии в других странах. Между тем этой цели в данный момент мы себе заведомо не можем еще поставить. Мы воевали бы теперь, объективно, из-за освобождения Польши, Литвы и Курляндии. Но ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы прав наций на самоопределение. Наша социалистическая республика сделала все, что могла, и продолжает делать для осуществления права на самоопределение Финляндии, Украины и пр. Но если конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики подвергается опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение нескольких наций (Польша, Литва, Курляндия и пр.), то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше».

Та война, чисто классовая война, о которой говорил здесь Ленин, началась фактически в мае 1918 г., когда французская, английская и американская буржуазии наняли сначала чехословаков, потом Колчака, затем Деникина, Юденича и Врангеля, чтобы сбросить власть утвердившегося в России пролетариата. Наша гражданская война была именно той классовой войной, о которой говорил Ленин. Брест же,

заканчивая переходную для России «империалистическую» войну, неизбежно должен был заключать в себе известный, «национальный» момент, хотя на национально-революционную войну мы и не пошли. Этим национальным моментом было освобождение русской народной массы от обязательства платить долги, заключенные царской властью для того, чтобы подавить революцию и вести войну. Этим Россия, как Россия, как определенная страна, стряхнула с себя то иго Антанты, которое обусловило вхождение России в войну. Нужно сказать, что и эта сторона Брестского мира была предвидена Лениным еще в марте 1917 г. В том же, цитированном выше 4-м «письме издалека» («Как добиться мира»), набрасывая программу мира, который должна была бы заключить советская республика, Ленин писал (п. 6-й): «...он («Всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов») заявил бы, что миллиардные долги, заключенные буржуазными правительствами на ведение этой преступной, разбойничьей войны, могут уплачивать сами господа капиталисты, а рабочие и крестьяне этих долгов не признают. Платить проценты по этим займам—значит платить долгие годы дань капиталистам за то, что они милостиво разрешили рабочим убивать друг друга из-за дележа капиталистической добычи».

Могут возразить, что теперь, через десять лет, мы все-таки соглашаемся платить эти долги. Ничего подобного: ведущиеся теперь переговоры об уплате не большой части заключенных царской Россией долгов именно и свидетельствуют, что с основным фактом неплатежа примирились даже и бывшие державы Антанты. Правило признано,—но у нас спрашивают: а не будет ли из правила маленького исключения? Мы отвечаем, что, если исключение выгодно для нас, то мы согласны. Но исключения лишь подтверждают правила. И национальный смысл Бреста—то, что Октябрьская революция положила конец гегемонии западноевропейского империализма над нашей страной.—остается в полной силе.

Суть Бреста была, таким образом, не столько в мире с Германией, сколько в разрыве с Антантой. Как раз то, по поводу чего слышались лицемерные вопли русской буржуазии, та «измена», тот «позор», о котором так буржуазия кричала, и было основным национальным содержанием выхода России из войны. Что вопли буржуазии были именно лицемерные,—это великолепно понимал Ленин, говоривший, между прочим, на заседании Центрального исполнительного комитета 8 марта (23 февраля): «Не поддавайтесь провокации, которая исходит из буржуазных газет, противников советской власти: да, у них нет иного слова.

как «похабный мир» и криков «позор!» по поводу этого мира, а на самом деле эта буржуазия встречает с восторгом немецких завоевателей. Они говорят: «вот немцы, наконец, придут и дадут нам порядок»,— вот чего они хотят и травят криками «похабный мир, позорный мир». Они хотят, чтобы советская власть дала бой, неслыханный бой, зная, что у нас нет сил, и тащат в полное порабощение к немецким империалистам, чтобы устроить сделку с немецкими полицейскими».

Это прикрытое лохмотьями антантовской лояльности германофильство русской буржуазии мог заметить даже гораздо менее проницательный взгляд, чем взгляд Ленина. Американский полковник Томсон, предшественник Робинса во главе американского Красного креста в России, говорил Робинсу: «Робинс, я деловой человек, петроградские деловые люди—люди, которых я понимаю. Я бы хотел иметь с ними дело. Но это невозможно. Я с ними разговаривал. Я их прощупывал, Робинс: они за немцев».

Лживые вопли об «измене» были последней «военной ложью», которую успела пустить в ход перед своим концом русская империалистическая буржуазия. Стоит остановиться на минуту на тех причинах, которые обусловили прогерманскую позицию этой буржуазии перед Октябрем, — тем более, что на этой стороне в нашей литературе мало оставались. Нет никакого сомнения, что, взяв, несколько неожиданно для самих себя, власть в руки в марте 1917 г., наши империалисты впервые почувствовали у себя руки развязанными. Первым министром иностранных дел, который повел империалистскую политику, не стесняемый никакими династическими соображениями, никакими романовскими традициями, был Милюков. Нет надобности говорить, что это была отнюдь не менее, а, напротив, более империалистская политика, чем политика Сазонова. В статье т. Рубинштейна, которая появится в том же сборнике трудов Института красной профессуры, где и статья т. А. Сидорова<sup>1</sup>, читатели найдут интереснейшие подробности об империалистической политике Милюкова, о его ярких империалистических выступлениях в Персии и т. д. Но все это имело лишь последствием, что Милюков сразу утратил симпатии своих недавних английских почитателей. Они вдруг начинают замечать, что Милюков «плачевно слаб», что он «настолько одержим одной идеей—Константинополя,—которая для специалистов олицетворяет империалистическую политику старого режима, что он никогда не выражал взглядов правительства как целого». Поразительным образом эта внезапная непопулярность Милюкова распро-

<sup>1</sup> Сборник этот уже вышел в свет.

странилась и на других империалистов. «Гучков страдает слабостью сердца и едва ли стоит на высоте положения. Его взгляды на дисциплину в армии очень здоровые, но он не способен внушить их своим коллегам. Сверх того, он не имеет никакой опоры в массах, а это самое главное,—так как он не обладает даром личного магнетизма Керенского». Совсем другое дело—Керенский. «Керенский был единственным министром, личностью которого, хотя и не вполне симпатичная, заключала в себе нечто останавливающее внимание и импонирующее. В качестве оратора он обладал гипнотизирующей силой, очаровывавшей аудиторию, и в первые дни революции он непрерывно старался сообщить рабочим и солдатам частицу своего собственного патриотического пыла. Однако, защищая продолжение войны до конца, он отвергал всякую мысль о завоеваниях, и тогда как Милюков говорил о приобретении Константинополя, как об одной из целей России в войне, он энергично отрекался от солидарности с ним. Благодаря своему уменью владеть массами, личному влиянию на товарищей по правительству и отсутствию сколько-нибудь способных соперников, Керенский был единственным человеком, от которого могли ожидать, что он сумеет удержать Россию в войне»<sup>1</sup>.

Те «щели» между империализмом, о которых говорил Бухарин на VII съезде партии—Ленин, по словам Бухарина, хотел пролезть в одну из них,—эти щели начали образовываться задолго до начала брестских переговоров, и первой из них была щель между русским и английским империализмом. Керенский был выдвинут не только потому, что он «умел владеть массами», но и потому, что он был менее сознательным и далеко менее умелым империалистом, чем Милюков и Гучков. А когда оказалось, что неумелость Керенского имеет и свою обратную сторону и что его попытки «сообщить рабочим и солдатам частицу своего собственного патриотического пыла» потерпели неудачу, Бьюкенен ставит ставку на Корнилова, который казался более умелым, чем Керенский, в деле усмирения революции, но у которого нельзя было найти даже и следов хотя бы понимания того, что понимал Милюков. А субсидирование Керенского перешло к американцам. И тот же Томсон, который так был опечален германофильством русской буржуазии, из своего собственного кармана пожертвовал миллион долларов специально на усиление «гипнотизирующей силы» Керенского. Деньги эти были вручены

<sup>1</sup> Бьюкенен, Мемуары дипломата, стр. 209 и 221. Разрядка моя. М. П.

особому комитету, во главе которого стояли «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская и дедушка той же революции Чайковский, недавно умерший за границей, позже глава архангельского белого правительства, и где Керенский был представлен своим личным секретарем Соскисом. Томсон просил для этой почтенной компании, вдобавок к своему собственному миллиону, еще четыре миллиона от американского правительства, но Вильсон их не дал<sup>1</sup>.

В конце концов, таким образом, и американцам официальный Керенский оказался не нужен, и томсоновский миллион остался приятным воспоминанием, которое, впрочем, кажется, и поднесь кое-кого питает и обогревает. А российской буржуазии на минуту оказалась не нужна, и даже весьма противна, Антанта. Только на минуту,—ибо с момента чехословацкого восстания Антанта снова стала мила и любезна, и к ее стопам стали припадать еще более горячо, чем раньше. Вождений насчет самостоятельного империализма более не было —приходилось шкуру спасать.

Противоположение германского и антигерманского империализма лежало в плоскости буржуазной идеологии: пролетариату нужно было именно «пролезть в щель», т.-е. сманеврировать так, чтобы остаться вне пределов достижения как для того, так и для другого. С точки зрения этого маневра особенно неудачным приемом была бы революционная война, которая —говорил Ленин (тезис 10-й).— «в данный момент сделала бы нас объективно агентами англо-французского империализма, давая ему подсобные его целям силы... Если мы ни копейки не возьмем от англо-французов, мы все же объективно будем помогать им, отвлекая часть немецких войск». Пролетариату в данный момент нужен был мир, как таковой, выход из войны, тогда как буржуазии нужен был союз с тем или другим империализмом: не с тем, так с другим. И не потому совсем нужен был мир, что «крестьянство устало»,—этот аргумент Ленин приводил лишь между прочим, иллюстрируя материальную невозможность воевать. Но с этого конца мир был приемлем и для мелкобуржуазных партий, стоявших до Октября на оборонческой позиции. Бьюкенен в своем дневнике рассказывает прелестный и недостаточный у нас популярный —меньше, чем он того заслуживает — анекдот из этой области. «Московский городской голова Руднев, Гоц, принадлежавший к левому крылу социалистов-революционеров, и петроградский городской голова на днях сообщили мне, что они хотят меня видеть и предлагали мне встретиться с ними в Летнем саду, чтобы не привлекать внимания. Я отказался от такого рода тайной

<sup>1</sup> Raymond Robins Own Story, by William Hard, стр. 36 — 37.

встречи с ними, но сказал, что если они явятся в посольство, то я буду рад их видеть. Руднев и Гоц пришли сегодня поздно вечером, повидимому, приняв всяческие меры предосторожности к тому, чтобы не быть прослеженными. Весьма симптоматично для времени, в которое мы живем, что социалист с крайними взглядами, каков Гоц, должен приходиться в посольство тайком из опасения быть арестованным как контрреволюционер. Они сказали, что они явились спросить меня, каково было бы наше отношение, если бы Учредительное собрание пригласило нас превратить настоящие переговоры о сепаратном мире в переговоры о всеобщем мире. Затем они обратились ко мне со следующим вопросом: если России, которая не может продолжать войны, придется заключить сепаратный мир, то не можем ли мы чем-нибудь помочь ей в том отношении, чтобы она не была вынуждена принять условия, вредные для интересов союзников? В заключение они пожелали узнать, является ли серьезным или представляет собою блеф по отношению к германцам заявление г. Ллойд-Джорджа о том, что Англия намерена продолжать войну до конца. Я дал необязывающие ответы на все эти вопросы, и, после того как я объяснил основания, вынуждающие нас продолжать войну, они заверили меня, что социалисты-революционеры считают не Англию, но Германию ответственной за продолжение войны. Когда они уходили, то Руднев сказал мне, что мое кресло в зале городской думы всегда в моем распоряжении, так как московская дума не большевистская. Однако, меня не очень соблазняет занимать его при настоящих обстоятельствах».

Этот разговор происходил 23 (10) декабря—как раз в разгаре первой стадии брестских переговоров уже о мире, а не о перемирии (первое заседание «мирной» конференции происходило 9-го по старому стилю). Уже тогда и эсеры—и меньшевики—готовы были заключить мир, и об этом широко было известно в союзнических кругах. «В частных разговорах я изо всех сил борюсь с мнением, общераспространенным среди с.-р. и с.-д., что, в случае разрыва брестских переговоров, Учредительное собрание должно немедленно предпринять новую попытку»,—записал Садуль десять дней спустя. «Все, кого я вижу, гораздо больше склонны к капитуляции, чем большевики,—больше расположены уступать на вопросах о Курляндии, Литве, Польше и т. д., о праве народов на самоопределение, о разоружении и прочем»<sup>1</sup>.

Просто положить оружие — это опять была не большевистская, не пролетарская тактика. Что мы должны были

<sup>1</sup> Бьюкенен, русск. изд., стр. 289—290; Садуль, стр. 81.

подписать в конце-концов именно такой мир, — это была неудача нашей тактики. Ленин и на это пошел, ибо даже и такой мир, с точки зрения интересов социалистической революции, был лучше, чем возвращение в войну. Но основная ленинская схема была не такова. Нет ничего ошибочнее, как представлять себе Ленина каким-то своеобразным большевистским пацифистом: это почти то же, что считать его противником марксовой теории перманентной революции. И в том и в другом случае Ленин был непримиримым противником извращения марксизма — в данном, брестском случае, непримиримым противником мелкобуржуазного извращения идеи революционной войны. Напомним его соответствующий тезис (12-й): «Говорят, что мы прямо «обещали» в ряде партийных заявлений революционную войну и что заключение сепаратного мира будет изменой нашему слову. Это неверно. Мы говорили о необходимости «подготавливать и вести» революционную войну для социалистического правительства в эпоху империализма; мы говорили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с теорией полного отрицания «защиты отечества» в эпоху империализма, наконец, с чисто шкурными инстинктами части солдат, но мы не брали на себя обязательства начинать революционную войну без учета того, насколько возможно вести ее в тот или иной момент. Мы и сейчас, безусловно, должны готовить революционную войну. Мы выполняем это свое обещание, как выполняли вообще все наши обещания, которые можно было сразу выполнить: расторгли тайные договоры, предложили всем народам справедливый мир, оттягивали всячески и несколько раз мирные переговоры, чтобы дать время присоединиться другим народам. Но вопрос о том, можно ли сейчас, немедленно вести революционную войну, следует решить, учитывая исключительно материальные условия осуществимости этого и интересы социалистической революции, которая уже началась».

Ленин не только говорил, но, как всегда, и делал то, что говорил. «Подготовка к войне» в его устах была всего менее революционной фразой. Дневник Садуля, воспоминания Робинса служат непререкаемым свидетельством, что Ленин искал всюду, где можно было надеяться найти, оружия, денег, с'естных припасов, технического руководства — всего, что для войны нужно. Теория «передышки» сложилась вовсе не в период немецких ультиматумов, она имеется целиком в тезисах, которые были лишь напечатаны после ультиматума, а оглашены (в ЦК) за три недели до него, задуманы же и писались, конечно, еще раньше (вероятно, в течение декабря). А там стоит (тезис

20-й): «Заклячая сепаратный мир, мы в наибольшей возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, затрудняющую их сделку против нас, используем известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции. Реорганизация России на основе диктатуры пролетариата, на основе национализации банков и крупной промышленности, при натуральном продуктообмене города с деревенскими потребительными обществами мелких крестьян экономически вполне возможна, при условии обеспечения нескольких месяцев мирной работы. А такая реорганизация сделает социализм непобедимым и в России и во всем мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-крестьянской Красной армии».

Но, нужно говорить это со всею откровенностью, ленинская точка зрения до конца февраля была в партии в меньшинстве. В партии были не только нереволюционные мелкие буржуа, протестовавшие против октябрьского выступления, — в партии были и революционные мелкие буржуа готовые на выступление всегда и всюду, где нужно и не нужно, где возможно и невозможно. Этих мелких буржуа отнюдь не следует огульно смешивать с «левым коммунизмом» февраля-марта. «Левый коммунизм» (включавший в себя, конечно, и эти элементы) был очень сложным явлением. Люди, на сто процентов согласные с ленинской тактикой, впадали в «левый коммунизм» просто с отчаяния, когда, благодаря тактике антиленинской, ничего не осталось, как стать на колени перед немцами. и притом стать на колени, может быть, даром, поскольку немцы уже увидали, что мы беззащитны, и все равно возьмут все, что захотят. Стоит ли штаны пачкать? Лучше ж помереть в чистых. Тут была, конечно, психология отчаяния, и Ленин был прав, что бичевал за нее, ибо отчаяние революционеру, а особливо марксисту, совершенно и крайне неприлично. Но тут не было еще мелкобуржуазной тактики, тут не было вообще никакой тактики, поскольку не может идти речь о «тактике» человека, выскакивающего из шестого этажа горящего дома, предпочитая разбиться о мостовую, чем сгореть заживо. О тактике можно говорить для предшествующего периода, когда еще был выбор: заключить мир или вести войну. И тут, действительно, рядом с ленинской намечалась другая тактика.

Ее формулу, по свежим следам, записал Садуль, которого едва ли есть какие-нибудь разумные основания заподозрить в клевете, ибо он стоял совершенно вне нашей внутривластной борьбы (был в то время социалистом-оборонцем, только не русским, а французским) и о после-



дней, по всей вероятности, просто ничего не знал. Притом же, составляя деловую информацию для своего друга Альбера Тома — информацию, которая должна была во французских министерских кругах конкурировать с официальной информацией Нуланса и Ниесселя, — должен был заботиться о максимальной точности. И вот 21 (8) ноября, до начала переговоров даже о перемирии (первое «перемирие» заседание состоялось 3 декабря (20 ноября), Садуть записал: «Троцкий убежден, что германское правительство, несмотря на давление со стороны социал-демократии, не примет предложения перемирия, основанного на принципах мира, провозглашенных русской революцией: ни аннексий, ни контрибуций, право народов на самоопределение. Гогенцоллерны не решатся, в самом деле, подписать свой собственный смертный приговор.

Итак, если Германия откажет? Тогда мы декретируем революционную войну, священную войну, не на основах национальной обороны и уважения к существующему порядку, но на основах интернациональной обороны пролетариата и социалистической революции. То напряжение сил, которого русские правительства, считая и царизм, не могли добиться от своей армии, — мы его получим от наших солдат, когда мы докажем, получив от союзников пересмотр целей войны, попытавшись честно и энергично открыть переговоры о мире на основах, принятых всеми социалистами, — докажем им, что они будут сражаться не за английский или французский империализм, но против германского империализма и за всеобщий мир»<sup>1</sup>.

Как будто совсем по ленинскому письму «Как добиться мира», — и Троцкий субъективно, нет сомнения, был убежден, что он рассуждает совсем «по-ленински», и когда услышал потом от Ленина, что это совсем не то, что нужно, был убежден, что это Ленин опять «перевозвооружился» после немецкого ультиматума, а он, Троцкий, остался верен истинно ленинской тактике (см. речь Троцкого на VII съезде партии). На деле же это было чисто метафизическое понимание ленинской формулы, взятой вне времени и пространства, на деле это было типично-мелкобуржуазной переоценкой формальной стороны дела (мир непременно на «принципах, принятых всеми социалистами») и психологический подход к массе: солдаты, если им разъяснить, поймут и т. д. Перечитайте как будто похожее четвертое ленинское «письмо издавека» — вы увидите, что там и следа нет намерения «доказать» солдатам, что они сидят теперь в окопах не за империализм, а за социализм. У Ленина речь идет о войне советской республики «против любого о

<sup>1</sup> Sadoul, Notes sur la Révolution bolchevique, p. 16.

буржуазного правительства и против всех буржуазных правительств мира», а вовсе не о продолжении войны с Германией,—войны, ставшей справедливой потому, что немцы отвергли принципы, «принятые всеми социалистами». С немцами нужно было заключить мир, чтобы готовиться к той классовой войне, которую имел в виду Ленин. Что Ленин при этом обманывал германских империалистов,—это само собою разумеется: во все времена все революционеры обманывали правительства, которые они собирались свергнуть, и только плохие революционеры могли допустить, чтобы и их обманули, как это случилось с нами в Бресте. Но человек, который за это бросил бы в Ленина камень, был бы столь же смешон, как человек, который, лет шестьдесят назад, с пафосом обрушился бы на «коварного» Гарибальди, среди полного мира (никакой войны не объявлялось!) «напавшего» со своею «тысячью» на бедного короля Франческо.

Но вся эта серьезная подготовка настоящей революционной войны была для Троцкого такою же книгой за семью печатями, как и настоящая марксовская теория перманентной революции. Его понимание положения было даже еще упрощеннее, чем это изображает Садуль. «К мирным переговорам мы подходили с надеждой раскатать рабочие массы как Германию и Австро-Венгрии, так и стран Антанты,—пишет Троцкий в своих воспоминаниях о Ленине.—С этою целью нужно было как можно дольше затягивать переговоры, чтобы дать европейским рабочим время воспринять, как следует быть, самый факт советской революции и, в частности, ее политику мира»<sup>1</sup>. Тщетно Ленин пытался ему втолковать, что «сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция», что высвободить из-под власти какого бы то ни было империализма одну седьмую часть суши и создать на этом огромном районе базу для построения социализма бесконечно важнее, чем произвести то или другое впечатление на рабочих Германии и Австро-Венгрии. Психологизм Троцкого был неумолим. «Ну, а если немцы все-таки возобновят войну?» (дело было после применения на практике знаменитой формулы: «ни мир, ни война»),—спрашивал Ленин. «Тогда мы вынуждены будем подписать мир, и тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гогенцоллерном»<sup>2</sup>.

Пишущий эти строки разрушил на своем веку бесчисленное множество всяких легенд, но должен сказать, что

<sup>1</sup> «О Ленине», стр. 78.

<sup>2</sup> Там же, стр. 81. Разрядка моя. М. П.

это занятие более прилично книжному червю, каким он себя считает, нежели вождю революции, каким себя считает Троцкий. О чем заботился человек! После того как мы взяли власть в руки чуть ли не на всей территории старой России, после того как мы благополучно разогнали Учредительное собрание, — хлопотать о разрушении клевет Алексинского и К<sup>о</sup>, когда даже американцы и французы уже давно признали, что главные прогерманцы в России — это русская буржуазия. Одолела, можно сказать, психология... Самое грустное во всем этом, повторяю, что большинство ЦК было в это время (ноябрь — январь) ближе к Троцкому, чем к Ленину. Никак нельзя сказать, что это большинство было всецело на троцкистской позиции. Но оно разделяло мнение, что нужно «затягивать», не уясняя себе, что это затягивание с каждой неделей становится опаснее и что уже к началу января «для искусственного затягивания переговоров мы уже сделали все возможное и невозможное» (8-й тезис Ленина от 20 (7) января). Эта «затягивательная» тенденция была настолько сильна, что ей уступал и Ленин, на заседании ЦК 22 (9) января не настаивавший на своей формуле. Так как троцкистский психологизм большинству ЦК был чужд, то приходится искать других объяснений «затягивательной» тактики. Коротко это объяснение можно формулировать так: у нас были убеждены, что немцы сами близки к капитуляции. И, хотя это убеждение было ошибочно, для него были кое-какие объективные основания.

Троцкий, мы видели, был убежден, что Германия не подпишет мира, сколько-нибудь для нас приемлемого. В этом смысле он находил возможным высказываться даже перед иностранцами, т. е. в полуофициальных разговорах. В разговорах частных, между собою, шли дальше: немцы просто не станут с нами разговаривать. Убеждение это было так широко распространено, что проникло даже в кое-какие популярные повествования о Бресте — там можно прочесть о необыкновенной грубости и заносчивости якобы немецкой военщины при переговорах о перемирии и т. д. Так это до сих пор казалось и кажется «естественным» и «само собою разумеющимся». Можно себе представить приятное разочарование наших товарищей, когда Советскую Россию в Бресте стали трактовать как настоящую великую державу, потерпевшую, правда, поражение, но не выпавшую из ранга великих держав. Это впечатление лучше всего передать словами Садуля, писавшего под свежим впечатлением разговоров с вернувшимися из Бреста делегатами. 8 декабря (25 ноября) (меньше чем через неделю после открытия переговоров о перемирии) он записывал в своем дневнике: «Я видел сегодня вечером Каменева и Сокольников, вернувшихся из Брест-Литовска. Я еще вернусь к тому, что в их рассказах

относилось к самой сущности русско-германских переговоров. Будет опубликован очень точный протокол. Но стоит познакомиться и с обстановкой этих переговоров. Прежде всего, сердечный прием, оказанный большевистским делегатам. Прусские офицеры, обыкновенно надменные, принимали с любезностью, граничившей с низкопоклонством, представителей русской демократии, к которым они должны бы чувствовать глубокое отвращение, и среди которых были солдат, рабочий, крестьянин и женщина. Очевидно, что генерал Гофман и его австро-германские товарищи получили очень точные инструкции о том, как себя держать, и о том, что нужно сохранять хладнокровие»<sup>1</sup>.

Столь практичные люди, как мы, большевики, не могли не задаться вопросом, который сейчас же пришел и Садуло: что за этим стоит? Почему немцы так распинаются? Ясно, им нужен мир до зарезу. Ясно, топор революции уже висит над их головой, и, чтобы отсрочить удар хотя на минуту, они спешат удовлетворить народные массы хотя чем-нибудь, хотя бы миром с большевиками. Если они спешат, — нам нужно тянуть как можно дольше; если они хотят заключить мир, чтобы отвратить удар, — нам нужно дожидаться удара, чтобы мириться уже не с германским империализмом, а со спартаковцами, взявшими власть в руки. Схема нашей политики — точнее, политики Троцкого — была готова: затягивать как можно дольше. И это казалось теперь столь же «естественным и само собою разумеющимся», как раньше то, что немцы не захотят с нами разговаривать.

Было ли за этой формулой «немцам мир нужен до зарезу» что-нибудь реальное? Кое-что, несомненно, было. Прежде всего, общеизвестный факт: продовольственное положение союзников Германии было отчаянное. Оглядываясь назад, Чернин писал в своем дневнике: «Мир с Украиной состоялся под давлением начинающегося форменного голода. Он носит на себе все признаки своего происхождения. Это правда. Но не менее справедливо и то, что, хотя мы и получили из Украины гораздо меньше того, на что рассчитывали, без этой поддержки мы и вовсе не могли бы продержаться до нового урожая. Статистика показывает, что весной и летом 1918 г. из Украины прибыло 42.000 вагонов. Это продовольствие больше неоткуда было получить. Пусть те, кто осуждают мир, помнят, что эти припасы спасли миллионы людей от голодной смерти»<sup>2</sup>.

В этой обстановке Австрия снова доходила до угроз сепаратным миром (первые попытки сепаратных перегово-

<sup>1</sup> Цит. соч., стр. 62.

<sup>2</sup> Чернин, В дни мировой войны, русск. пер., стр. 269.

ров были еще зимою 1916/17 г.). И хотя Гофман, делая хорошую мину в плохой игре, и пытается изобразить дело так, что сепаратный мир Австрии был бы даже выгоден для немцев в стратегическом отношении, сокращая их фронт<sup>1</sup>, но это—явный блеф: переход Австрии в состояние нейтралитета отрезывал Германию от Турции и от Болгарии, вел неизбежно к сепаратному миру и этих последних, освобождая все силы Антанты, занятые в Азии и на Балканах. У самой Германии только что прошла волна больших забастовок—первых больших забастовок с начала войны—и еще свежее было совсем грозное напоминание: восстание во флоте. Трем четвертям германской коалиции мир был действительно нужен до зарезу, а самой Германии он был очень нужен. «В общем и целом необходимые условия были выработаны верховным командованием заранее и сообщены командующему восточным фронтом, — пишет Гофман о заключении перемирия. — Они сводились к тому, что с восточным фронтом необходимо покончить во что бы то ни стало, и не содержали ничего несправедливого или оскорбительного для русских. Враждебные действия должны были прекратиться, и каждая сторона сохраняла свои прежние позиции»<sup>2</sup>.

Обе стороны хитрили. Нам нужен был мир, чтобы получить «передышку» для начала социалистического строительства и подготовки к революционной войне. Германии нужен был мир, чтобы получить передышку для подготовки решительного наступления на западном фронте—наступления, которое должно было дать Германии «почетный», в буржуазном понимании, мир. О большем Германия уже не мечтала, и дипломатические ее круги не очень надеялись и на наступление. «Русское предложение говорило о мире без аннексий,—пишет Гофман,—статс-секретарь Кюльман стоял на той точке зрения, что Германия может принять это предложение, если этим самым ей удастся воздействовать на государство Антанты, чтобы они также приступили к мирным переговорам»<sup>3</sup>.

У «правого» (в смысле меньшего военного радикализма) крыла германцев была, как видим, даже мысль: через большевиков завязать немедленно переговоры с Антантой, не дожидаясь сомнительного по своему исходу наступления на Западе. Для нашей дипломатической игры открывались исключительно блестящие возможности. Но мы никакой дипломатической игры в Бресте не вели. Я не знаю, хорошо

<sup>1</sup> «Война упущенных возможностей», стр. 173.

<sup>2</sup> Там же, стр. 161. Разрядка моя. М. П.

<sup>3</sup> «Война упущенных возможностей», стр. 169. Разрядка моя. М. П.

это или дурно, — это просто факт. В Бресте велась агитация, блестящие качества которой были оценены даже такими наблюдателями, как граф Чернин<sup>1</sup>, но, к большому удивлению собравшихся туда дипломатов четырех держав, «дипломатией» там не занимались. Немцы с украинцами за нашей спиной занимались весьма успешно. Наши же делегаты, уезжая на переговоры, получали напутствие «отнюдь не увлекаться реальной политикой». Ибо—предполагалось—все эти Кюльманы и Чернины одна декорация, которая уже шатается и скоро рухнет.

Как относился к этой недипломатической игре Ленин? Тут пробелы наших документов становятся особенно тягостны. Их серия начинается с тезисов 20 (7) января. Но тезисы так детально продуманы и так отчеканены, что невозможно предположить, чтобы они были написаны в одну ночь. Они подготовлялись неделями, — это несомненно. Несомненно также, что, не имея на своей стороне большинства ЦК, Ленин, с отличавшей его всегда во внутрипартийных делах лойяльностью, ничего похожего на свои тезисы не давал почувствовать рядовым членам партии, с которыми ему приходилось обмениваться мнениями о брестских переговорах. Фразу «не увлекайтесь реальной политикой» я слышал именно из его уст. Отправляясь в Брест, — правда, в поразившей меня тогда еще чересчур уж «объективной» форме (буквально было сказано: «Говорят, что Каменев увлекается реальной политикой; надо бы его в этом отношении сдерживать», — записываю слова, конечно, приблизительно, но за содержание ручаюсь). И от Ленина же я слышал сожаление, что нельзя вместо меня послать какого-нибудь «нахала, который в два счета добился бы разрыва с немцами» (но опять это звучало так, как будто Ленин сожалел лишь о технической непригодности выбранного для игры инструмента, а одобряется ли самая игра,—не чувствовалось). Разрыв—временный—с немцами считался необходимым как один из элементов затягивания: это нужно было для того, чтобы германские рабочие видели, убедились и т. д. Нужно было для создания соответствующего настроения в Германии и Австро-Венгрии. В своих воспоминаниях Троцкий идет даже дальше—вплоть до того, что «нужно (было) дать Гофману перейти в фактическое наступление». «Нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский—с другой». На такую лошадиную дозу психологии Ленин, однако, уже не пошел и категорически

<sup>1</sup> См. его книгу, русск. пер., стр. 253.

заявил, что «откладывать (с принятием германского ультиматума) нельзя»<sup>1</sup>.

Для одной стороны — стороны, господствовавшей до конца февраля (даже накануне окончательного германского наступления предложение Ленина возобновить переговоры еще не собрало большинства в ЦК) — цель заключалась в том, чтобы, используя переговоры исключительно как средство агитации, путем их толкнуть революцию на Западе. Для другой — использовать хотя бы кратковременный мир с Германией для спасения революции в России. По существу дела вопрос о строительстве социализма в одной стране был поставлен именно тогда — и в ближайшие последующие годы разрешен историей совершенно определенно. Споры наших дней представляют собою лишь все новые и новые попытки спасти теорию, не выдержавшую фактической проверки уже в 1918 г.

*Журн. „Пролетарская революция“ № 10, 1927 г.*

<sup>1</sup> «О Ленине», стр. 85.

## ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Всем известна фраза Ленина, в одном из его «Писем издалека», что русская буржуазия вела войну не на свои деньги,—что русский капитализм был участником (партнером) англо-французского. Как очень часто бывало с брошенными налету ленинскими характеристиками, весь глубочайший реализм этого определения стал нам понятен только теперь, после целого ряда длительных детальных изысканий. Изыскания эти с несомненностью установили, что русская крупная промышленность и русские банки накануне войны были форменными подданными заграничного капитала, и что различные группы иностранных капиталистов вели между собою борьбу на русской территории задолго до того, как эти группы сплелись в смертельной схватке мировой войны. Победе в России антантовской ориентации точно соответствовало постепенное вытеснение из русского хозяйства германского капитала, господствовавшего или уверенным шагом шедшего к господству до 1910 года. Эту борьбу мы можем проследить до мельчайших деталей: до того, например, как один завод, изготовлявший различные принадлежности для миноносцев под эгидой крупнейшей англо-французской фирмы, моментально прекратил это занятие, как только его акции очутились в портфеле одного из берлинских банков. Банковские действия весьма аккуратно, хотя и бескровно, отвечали операционным линиям будущей войны.

К 1914 году зависимость России именно от англо-французского, антантовского капитализма обозначилась уже вполне. Выбора больше не было. Характерно, до какой степени рабски российский империализм слушался своих «старших». Как всякому империализму, российскому в перспективе, был нужен выход на океан—потому что, только владея океанскими путями, можно серьезно говорить о разделе мира. Всем известно, что англо-германское столкновение было прежде всего другого столкновением в области морских интересов и морских вооружений. Русский империализм перед 1914 годом ставил себе также «морские»



цели. Но почему его привлекало такое узенькое море, как то, которое лежит между Черным и Средиземным и которое вело русский империализм, в конечном счете, даже не к океану, а только к одному из замкнутых морей, только в несколько раз большему, чем наше Черное? Почему, родился естественный вопрос, царская Россия не попробовала выйти на прямую океанскую дорогу через Мурман, который пришлось все же в конце концов использовать, но после уже того, как война за Дарданеллы началась? Теперь мы знаем, что это было вовсе не пустое мечтание досужих любителей географии—что в последнее десятилетие перед войной существовал определенный план использовать Мурманское побережье как базу для русского военного и торгового флота. Но проект этот никакого «дальнейшего движения» не получил: и Мурманскую дорогу построили, как известно, только во время войны. Совершенно ясно, почему так было: на Мурмане, т. е. на Атлантическом океане (так называемый Ледовитый океан есть, в сущности лишь залив Атлантического), Россия могла столкнуться только с Англией, и англо-французскому империализму, который командовал империалистской Россией, это было совсем не нужно. А на Босфоре и в Дарданеллах русские империалисты сталкивались с германскими и их грандиозным планом железной дороги от Берлина до Багдада. Поэтому «ключей от собственного дома» и надо было искать на берегах Золотого Рога, а не на берегах Варангер-фиорда. Остается только добавить, что «мурманский» проект принадлежал никому другому, как Витте, германофильство которого всем хорошо известно. И на этом участке мы имеем, таким образом, победу антантовского капитализма над германским.

Во время войны зависимость от Антанты превратилась в иго. Английский посланник в Петербурге был вторым императором, и когда первый император его не послушался, второй принял меры к тому, чтобы его ссадить. И если этого не удалось осуществить, то только благодаря «совершенно непредвиденным событиям»—в образе выступления на сцену рабочего класса. А, избавившись от императора, Антанта начала возводить и низводить министров. Дневники Бьюкенена и Палеолога не оставляют никакого сомнения в том, что Керенский был выбран и одоброван Антантой несравненно раньше, чем его «избрали» меньшевики и эсеры, в этом случае на нашей территории игравшие ту же роль, какую этого сорта люди играли и играют всюду по отношению ко всем империалистам. Менее известно—а стоит об этом упомянуть—что и Милоков был низведен так легко потому, что он не угодил Антанте, слишком надоедливо напоминая о Дарданеллах, при каковом напоминании Ан-

глия всегда морщилась. Бестактного слугу не то что прогнали — прогнали его массы, — но его не стали защищать, «отдали на жертву». А 4 месяца спустя, когда разочаровались и в Керенском, на его место выдвинули Корнилова — дневник Бьюкенена не оставляет никаких сомнений насчет того, кто именно это сделал. В это самое время американский капитализм, более склонный к «экономическому» давлению, чем к военным заговорам, взял эсеровскую верхушку прямо на жалованье, притом, что особенно пикантно и любопытно, на частное жалованье, на личный кошт одного американского миллионера. Дальше этого «услужение» уже не могло итти.

И надо было видеть переполох в этом лагере, когда массы, подлинные массы, а не статисты Керенского, стали у власти. Теперь перед нами налицо документальные остатки этого переполоха. Это вздор, будто большевики заключили тогда мир против решительного протеста вчерашних «союзников», напоминавших России о «чести», совести» и т. п., при чем окаянные большевики, разумеется, не обратили на эти протесты никакого внимания. На самом деле рядом с этими официальными протестами шло неофициально шушуканье англичан, американцев и прочих антантовцев с низвергнутыми Октябрьской революцией мелкобуржуазными партиями — шушуканье, смысл которого вкратце можно выразить так: что ж вы, дураки, во-время не догадались мир-то заключить? Ведь теперь большевики этим козырем вас без остатка покроют! И вот, начинается хождение спустя лето по малину. Английский посланник Бьюкенен, вчерашний некоронованный император, а теперь поднадзорный «нежелательный элемент» в Петрограде, телеграфирует своему министру, что было бы куда как благоразумнее «освободить Россию от данного слова», раз она воевать не хочет. Не хочет — так не хочет, ничего с ней не поделаешь. А как силой загоняли русских солдат обратно в бой при Керенском, об этом позабыли! В том же роде начали шевелиться мысли и в тугом мозгу американского полпреда, Френсиса. А на фронте в это время потерявшие власть керенщички, почесывая всей пятерней в затылке, придумывали, как бы это устроить, чтобы заключение мира досталось в руки не Ленина, а... Чернова. И додумались наконец: вскоре по фронту гуляла глупейшая и подлейшая прокламация, с неслышанным бесстыдством утверждавшая, что главным препятствием к заключению мира являются именно большевики: их же, ведь никто не признает, — кто с ними будет вести переговоры? А вот если поставить во главе государства правительство «из социалистических партий», с Виктором Михайловичем Черновым во главе, — тогда совсем другая будет музыка. С этим почтенным человеком

и с его почтенными коллегами всякий за честь почтет разговаривать, и мир, которого «страна ждет-не дожидается три года» (как будто в счет этих трех лет керенщина с ее попытками удержать Россию в войне совсем и не входила!), будет заключен в два счета. А генерал Духонин, отказавшийся вести переговоры с немцами по приказу Совета Народных Комиссаров, в частных беседах заявлял, что он миру вовсе не противник и не прочь вести переговоры с кем угодно, — но чтобы не от имени большевиков, конечно. Иностранцы же военные представители, в первую минуту грозным окриком ответившие на приказ Совнаркома о переговорах, вдруг потом смягчились, стали говорить, что они, собственно, не против мира, — а против беспорядка, сиречь, опять-таки, против большевиков. А уж совсем по душе (но, однако же, с помощью телеграфа) заявляли, что они, и их правительства даже советуют поскорее заключить мир. Потом, конечно, когда выяснилось, что генерала Духонина и его помощников на всем фронте слушают только две роты ударников, да три эскадрона польских улан, и что главнокомандующий Западного фронта сколько-нибудь безопасно себя чувствует лишь в ставке польского генерала Довбор-Мусницкого, — телеграмма была объявлена подложной.

А тем временем в Смольный начали ходить «соблазнитель». Люди без официального звания, имена которых официальные дипломаты старались даже не упоминать, они были неофициально связаны с самыми верхушками антантовской коалиции и сулили большевикам золотые горы, если большевики выпустят из рук тот козырь, которого никто покрыть не мог, — откажутся от заключения мира. Среди соблазнителей были люди всякого сорта: был и наивный французский оборонец. Садуль, позже ставший коммунистом, был и до крайности сомнительный американский человек Робинс, совмещавший в себе самые разнообразные качества: шахтера, полковника и попа; был и форменный английский шпион Локкарт; был и французский монархист граф де-Люберсак, «злыми глазами» смотревший на Ленина, но признававшийся, что заключить сейчас мир — самое умное дело. Со всей этой пестрой публикой разговаривали, надеясь выжать из нее то, что было до зарезу необходимо новорожденной рабочей республике для того, чтобы в будущем, близком будущем, повести отчаянную борьбу со всем буржуазным миром: локомотивы и аэропланы, снаряды и пулеметы, с'естные припасы и военных техников. Некоторые из этих людей так и остались в убеждении, что кабы вот та-то телеграмма пришла неделей раньше, так наверно Россия вернулась бы в войну на стороне Антанты. А Ленин лукаво прищуривал глаз и готовил

войну не против какого-нибудь одного империализма, а против империализма вообще.

Вся эта антантовская возня около заключения мира с Германией лишний раз нам напоминает, до чего важен и нужен был мир в эту минуту не большевикам, как об этом кричала подкупленная буржуазная пресса, а стране, всей стране, всей России. Реакция для России в этот момент выразилась бы в возвращении в войну: вот отчего, прежде всего другого, реакция была невозможна. В этом отношении Россия 1917—1918 годов и Германия следующей зимы были в диаметрально-противоположном положении. Германская буржуазия оказалась чуточку похитрее Керенского с компанией и заключила мир сама, не дожидаясь пока его придется заключить победоносному пролетарскому правительству. И это подсекало под корень германское революционное движение: революция не только не давала мира, а, наоборот, ставила под угрозу немедленной интервенции со стороны победившей Антанты. Интервенция была и у нас, но у нас, в разгаре последней схватки двух боровшихся империалистов, антантовского и германского, она не могла принять сколько-нибудь серьезных размеров. Армии Антанты были «заняты», а перед германской революцией стояла «освободившаяся» Антанта.

Но то обстоятельство, что пролетарская революция означала для России выход из войны, продолжало действовать и долго после того, как мир был заключен, в известном смысле, продолжает действовать и до сих пор. Ибо в Брестском мире, это не все тогда уловили, был не столько важен мир с германцами, сколько разрыв с Антантой. Буржуазия вопила, что мир «похабный» и «презренный», а на самом деле мир выводил Россию из самого презренного состояния, какое можно себе представить в какой бы то ни было стране, когда иностранный посланник является в этой стране некоронованным императором. Игу Антанты над Россией был положен конец, и это ярче всего выразилось не в том даже, что мы заключили мир, сколько в том, что мы отказались платить всякие и, военные и довоенные, долги. Мы перестали быть «участниками», партнерами какого бы то ни было капитализма и империализма, и в это рабское состояние нас никому уже не загнать. Если в 1917 году «реакция» обозначала «войну», то теперь реакция обозначает дань в сотни миллионов, наложенную на рабочих и крестьян Советского Союза. И недаром умные белогвардейцы давно заметили, что самой трудной стороной «реставрации» является именно вопрос о долгах. Если бы российский буржуа мог явиться домой с грамотой, которой все иностранные буржуа великодушно освобождали бы наследников покойной Российской империи от

всех и всяческих долговых обязательств, заключенных этою последней! Но буржуа на то и буржуа, чтобы никому не прощать никогда и ни одной копейки долга. А пока «реакция» обозначает «дань», до тех пор никакой реакции, не облеченной в форму вооруженного нашествия извне, быть не может.

Таково было международное условие, определившее, что наша революция, в отличие от всех своих предшественниц, будет революцией без реакции.

*Журн. „Коммунистическая революция“ № 20, 1927 г.*

## ОПУБЛИКОВАНИЕ ТАЙНЫХ ДОГОВОРОВ

(10 — 22 ноября 1917 г.)

Буржуазная демократия хвастается, что только демократические, буржуазного типа, учреждения дают народу возможность «располагать своей судьбой». Десятки миллионов людей до сих пор склонны этому верить.

Между тем нет более наивного заблуждения. Современем на эти утверждения буржуазных демократов будут смотреть так же, как на сказки о леших и домовых. Подданный буржуазной демократии властен над тем, кто будет «представлять» его в парламенте, — говорить во имя его более или менее красноречивые слова. До известной степени он властен даже над тем, кто будет «стоять во главе» государства, — будет говорить речи и принимать послов от имени всей страны. Подданный буржуазной демократии не властен в одном, самом маленьком деле: в своей жизни и смерти. Ни он, ни даже его красноречивый представитель в парламенте не знают, когда им придется взвалить на спину ранец, взять в руки винтовку и идти умирать — за что? Этого они тоже не знают. И то и другое знают иногда несколько человек во всей стране.

В буржуазной демократии полная свобода печати, слова, собраний. Но в этой печати и в этих собраниях не говорят о двух вещах: о финансовых сделках банкиров и спекулянтов, от которых зависят дороговизна или дешевая жизнь, голод или изобилие, да о международных сделках, от которых зависит самая жизнь, сытая или голодная, все равно. Не говорят не оттого, чтобы это было запрещено, — боже сохрани. Не говорят оттого, что не знают. Тайная дипломатия есть такая же необходимая принадлежность буржуазной демократии, как коммерческая тайна или тайная подача голосов.

Только-что возникла, при всеобщем ликовании германского народа, Германская империя. Флаги, которыми были украшены улицы по сему случаю, наверное не успели еще политься,—были во всей свежести. И никто из ликовавших не знал, что его жизнь уже продана русскому царю Александру II, которому только-что коронованный германский кайзер предоставил в распоряжение «двести тысяч человек боеспособного войска»,—германского войска. О военной конвенции 6 мая 1873 года знали во всем мире только шесть человек: Вильгельм I, Бисмарк и Мольтке с германской стороны, Александр II, канцлер Горчаков и фельдмаршал Берг (рукою которого написана конвенция) — с русской. Россия то была тогда самодержавной монархией—с нее взятки гладки, но в Германии была всеобщая и тайная подача голосов и многие буржуазные свободы, соблазнявшие многих россиян не только 1870 годов, а и гораздо позже, и не было даже еще исключительного закона против социалистов: он издан шесть лет спустя, когда от конвенции уже ничего не осталось, кроме исписанного листа бумаги.

«Тревога» 1875 года, когда чуть-чуть не возобновилась франко-прусская война, показала Бисмарку, что на помощь России в случае войны с Францией рассчитывать не приходится, — а опасность французского реванша была главным, чего боялся Бисмарк. Когда Александр II после этого обратился в Берлин с просьбой о помощи против Австрии, стоявшей русским попереk дороги в Константинополь, Бисмарк сделал удивленные глаза: с Австрией? Никогда в жизни не собирался воевать. Тут какое-то недоразумение. У Александра не хватило духу опубликовать конвенцию,—да это было бы и ни к чему: только весь мир смеялся бы, как русского царя околпачили. Скрежеща зубами от ярости, поехал Александр в Австрию—и заключил там новую тайную сделку. Война, которую он хотел вести, называлась войною «за освобождение славян». Так вот по этому случаю половину славянского, сербского народа, ту, что живет в Боснии и Герцеговине, Александр отдал Австрии. Надо сказать, что это была в тот момент (1876 год) единственная часть балканских славян, которая вела активную борьбу за свою свободу. Сделка могла быть только сугубо тайной,—и Александр II не посвятил в нее не только своего посла в Константинополе—Игнатьева, главного, по существу, руководителя русской внешней политики в те дни, но и своего собственного сына, будущего Александра III. Так-то надежнее было.

Остается прибавить, что 10 лет спустя Бисмарк нашел выгодным продать и Австрию, с которой тем временем Германия заключила форменный союз (в 1879 году). 18 июня 1877 года Бисмарк заключил договор, уже с Александром III,

направленный против Австрии. На простом русском языке такие вещи называются жульничеством. Но дипломаты называли это «перестраховкой», под именем «договора о перестраховке» (или еще иначе: «трактата с двойным дном» — ради особой его секретности) эта дипломатическая операция и известна в истории.

Двадцатый век принес то усовершенствование, что наиболее секретные договоры перестали доверять столь ненадежному материалу, как бумага. И сделка Александра II с Австрией за счет сербов, и трактат «с двойным дном» просочились таки в печать и были разболтаны газетами, хотя и в перевернутом виде и несколько лет спустя. В XX столетии наиболее «серьезные» сделки стали заключаться устно. Так, военная конвенция Англии и Франции, предопределившая в сущности войну 1914 года (предопределившая со всеми подробностями — такой, например, как то, что война начнется в Бельгии: многие еще помнят, каким ударом грома из ясного неба было «неожиданно» для всех «честных людей» нарушение бельгийского нейтралитета германцами), не была вовсе облечена в письменную форму. — было только «устное соглашение» между английским и французским штабами. Повидимому, в таком же порядке было заключено и несколько более раннее соглашение Франции с Италией. Последняя принадлежала к «Тройственному Союзу», Германии, Австрии и Италии, направленному против Франции и России. Итальянская армия во всех расчетах входила в состав враждебных последним сил, а на деле Италия еще в 1903 году связалась секретным договором с Францией о взаимном нейтралитете в случае войны. В ноябре 1909 года Италия заключила договор и с Россией: Николай II гарантировал Виктору-Эммануилу Триполи, а тот ему — Константинополь и проливы.

С приближением империалистской войны сеть тайных договоров становилась все гуще, а во время самой войны они начали сыпаться, как из рога изобилия. Самым известным из них является договор России с Англией и Францией все о том же Константинополе (март 1915 г.), но этот секрет в сущности был «открытой тайной»; об этом так легко было догадаться, что наши публицисты (в парижском «Нашем Слове», например) писали об этой сделке как о факте, не имея ни малейшего понятия о тексте соглашения. А Ленин шел гораздо дальше и ставил вопрос о будущих, после войны, отношениях царской России и империалистской Англии. Но самым гнусным образчиком тайной дипломатии был, конечно, срыв мирных переговоров, начинавшихся Германией (через посредство Соед. Штатов) уже в сентябре 1914 года. Сорваны они были дружными усилиями и Георга V и Николая II: первый не разгромил еще германского фло-



та, второй—не получил еще Константинополя: им «рано» было мириться с Вильгельмом. Подумать только, что война могла бы кончиться уже в 1914 году и стоить вместо десяти миллионов жизней полмиллиона.

Нельзя себе представить «мировой войны» без тайной дипломатии: такого ее разгула не знала еще ни одна эпоха. В это именно время Америка сделала новый шаг вперед в технике этого дела. Она не заключала соглашений, даже и изустных. Просто по воюющей Европе ездил «личный друг» президента Вильсона полковник Хаус—так себе, частный человек, без всяких полномочий, разумеется. Приезжал этот «частный человек» в Берлин и распространялся там, как Вильсон любит немцев. После этого Вильгельм поднимал нос кверху на 120 градусов, начинал мечтать о союзе с Соединенными Штатами и решал, разумеется, воевать «до победного конца». А потом «частный человек» Хаус ехал в Лондон и там рассказывал, как президент Вильсон уважает Антанту и сочувствует ее справедливой войне. Антантовские дипломаты смотрели после этого друг на друга сияющими глазами и весело хлопали друг друга по плечу, приговаривая: «Что, ведь Америка-то наша». А их правительства тоже, разумеется, решали держаться «до победного конца». И чем больше текло крови на полях Европы, тем больше текло заказов к американским заводчикам. Этот образчик тайной дипломатии, когда внешняя политика «величайшей демократии мира» вершилась лицом, ни перед кем, кроме своего «личного друга», президента, не ответственным, составляет, кажется, высшее достижение «демократических» нравов в этой области.

Разоблачение всей этой мерзости, опубликование тайных договоров во время империалистской войны составляло, таким образом, неразрывную часть всей системы разоблачения «демократического обмана» — неразрывную часть социалистической революции. Набрасывая, еще из-за границы, «программу мира» всероссийского совета рабочих депутатов, Ленин писал: «1) Всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (или заменяющий его временно Петербургский совет) заявил бы тотчас, что никакими договорами ни царской монархии, ни буржуазных правительств он не связан. 2) Он опубликовал бы тотчас все эти договоры, чтобы предать публичному опозорению разбойничьи цели царской монархии и всех без исключения буржуазных правительств<sup>1</sup>.

В противоположность Каутскому, который разоблачил только германское императорское правительство, Ленин, таким образом, имел в виду разоблачить «все без исключе-

<sup>1</sup> Четвертое «Письмо из далека» — «Как добиться мира».

ния буржуазные правительства» обеих воюющих сторон. Ибо для Ленина, повторяем, «взрыв» тайной дипломатии был неразрывной составной частью социалистической революции. И до известной степени эта крайне дерзкая для 1917 г. цель была достигнута. Конечно, тайная дипломатия не перестала существовать — сейчас, наверное, существует не меньше, чем 10 лет назад, но тайны своей предвоенной политики империалисты должны были приоткрыть: и не только германские империалисты, но и английские, собираются, кажется, и французские. А толчком к этому, толчком непреодолимым, послужили именно начатые нами в России публикации. «Факты, разоблаченные русской «Черной книгой» относительно европейской войны и планов подготовки к ней Извольского и Пуанкаре, никоим образом не опровергнуты публикациями, вышедшими после 1924 г.», пишет известный специалист по вопросу о «виновниках войны» американец Бэрнс; а этот автор, то ли по незнанию русского языка, то ли страха ради американской буржуазии перед большевиками (он буржуазный пацифист, само собою разумеется), крайне неохотно цитирует наши издания и редко даже упоминает о них. Но, делая общий обзор вопроса, не начать с этих изданий он не мог.

А между тем как скромно все это начиналось. В своем дневнике 22 ноября 1917 г. Садуль записал о том, что завтра собираются начать публикацию дипломатических документов. «Так как архивы, предшествующие 1914 г., почти совершенно исчезли (!), большевики не нашли еще никаких следов переговоров, которые должны были вестись в Потсдаме и в других местах....». Итак, в нашем Наркоминделе в первые дни его существования не знали даже о том, что довоенные архивы (кроме «секретного архива министра») Керенский эвакуировал в Кириллово-Белозерский монастырь. Во главе дела публикации стала личность, до-нельзя странная для всякого не-революционера и чрезвычайно близкая и своя для всякого революционера. Это был матрос—простой матрос, из тех, что брали Зимний дворец, товарищ Маркин. Более необыкновенного редактора не имело, конечно, ни одно издание дипломатических документов. И представьте себе, уважаемые буржуазные коллеги, редактор был недурной. Для матроса архив должен был представляться столь же загадочной вещью, как для архивиста броненосец: наверное ни один архивист не сумел бы извлечь из броненосца ни малейшей пользы, а вот матрос, хотя и хаотически, извлек из архива между всяким хламом такие ценнейшие вещи, как сербо-болгарская военная конвенция 1912 года, и по мнению теперешних специалистов (того же Бэрнса) являющаяся одним из исходных пунктов катастрофы 1914 года. Во всяком случае, агитационное впе-

чатление «разоблачений» получилось от публикаций Маркина полное. Конечно, он не сам все делал, но каково было в хаосе первых дней революции подобрать только необходимый персонал, начиная даже с машинисток, продолжая переводчиками и техническими редакторами. Теперь, когда мы имеем не только полный подбор предвоенных германских и австрийских документов, но и претендующий на такую же полноту подбор документов английский, можно оценить, какой гигантский сдвиг был произведен в свое время рукою революционного матроса. А он смотрел на свое дело, как на всякое другое революционное дело, и, кончив его, влился снова в матросскую массу, чтобы найти в ее рядах геройскую смерть, как и подобает революционному матросу<sup>1</sup>.

Я не могу лучше закончить свою статью, как приведу то «воззвание» — иначе не назовешь, — которое было напечатано на первой странице первого выпуска «Сборника секретных документов из архива бывшего министерства иностранных дел»: «Долой тайную дипломатию. Да здравствует открытое честное соглашение. Целью настоящего сборника является ознакомление широких масс с содержанием документов, хранившихся в бронированных комнатах и нескораемых шкафах бывшего министерства иностранных дел, как одного из филиальных отделений буржуазии всех стран. Каждый документ есть предательство народа. Каждый документ есть позорное клеймо угнетателям. Все на свет божий. Все наружу. Пусть знают трудящиеся всего мира, как за их спинами дипломаты в кабинетах продавали их жизнь. Аннексировали земли. Бесцеремонно поработали мелкие нации. Давили, угнетали политически и экономически. Заключали позорные договоры. Пусть знает всякий, как империалисты росчерком пера отхватывали целые области. Орошали поля человеческой кровью. Каждый открытый документ есть острейшее оружие против буржуазии».

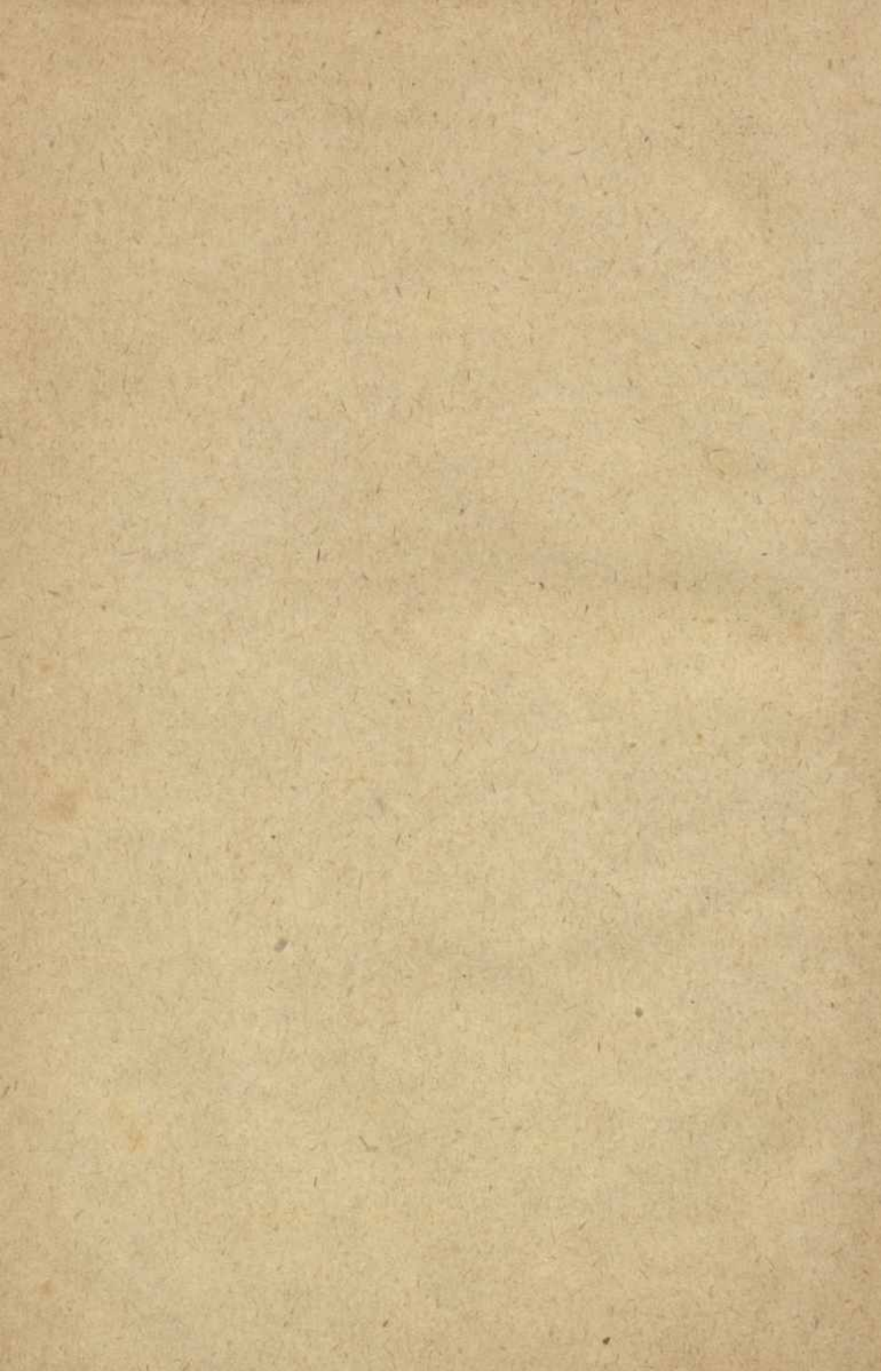
Прошло десять лет — и как мало мы еще использовали это «острейшее оружие». Но надо научиться владеть им так же хорошо, как покойный Маркин владел пулеметом. Не я один, оказывается, помню, как он пробовал пулемет (любил это оружие!) в коридорах бывшего министерства иностранных дел. Пулеметом наша Красная армия овладела достаточно. А вот тайники наших архивов — до сих пор тайники для очень многих, кто не может в них непосредственно работать. Мы опубликовали много, очень много, но систематического собрания документов тайной дипломатии империалистской войны у нас еще нет. А между тем, как раз

<sup>1</sup> Описание его гибели см. у Лариссы Рейснер, «Сочинения», т. I, стр. 63—68.

здесь мы еще раз могли бы сказать новое слово: предвоенные документы уже настолько хорошо известны, что тут нельзя ожидать больших разоблачений. Но военную дипломатию буржуазия еще тщательно прячет в своих тайниках, прекрасно понимая, что это оружие еще неизмеримо более острое. Пора нам и его вынуть из ножен, и пусть десятилетний юбилей первого опубликования тайных договоров послужит напоминанием об этом.

„Правда“ 28 ноября 1927 г.





2000+

2



B0000000386724